

Перекрёстки N 2-4 / 2008

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПОГРАНИЧЬЯ



Европейский гуманитарный университет
Центр перспективных научных исследований и образования (CASE), проект «Социальные транс-
формации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова»

Перекрестки № 2–4/2008
Журнал исследований восточноевропейского Пограничья
ISSN 1822-5136

Редакционная коллегия:
Владимир Фурс (Минск)
Светлана Наумова (главный редактор) (Минск)
Павел Терешкович (Минск)
Татьяна Журженко (Харьков)
Людмила Кожокари (Кишинев)

Научный совет:
Анатолий Михайлов (Беларусь), доктор филос. наук
Ярослав Грицак (Украина), доктор ист. наук
Виржилию Бырлэдяну (Молдова), доктор ист. наук
Геннадий Саганович (Беларусь), кандидат ист. наук
Димитру Молдован (Молдова), доктор экон. наук

Журнал выходит с 2001 г.
Периодичность: ежеквартально

Адрес редакции и издателя:
Европейский гуманитарный университет
Tauro str. 12, LT-01108
Vilnius Lithuania
E-mail: publish@ehu.lt

Формат 70x108 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,2. Тираж 300 экз.
Отпечатано: «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Авторы статей несут ответственность за предоставленную в статьях точку зрения.

ЕГУ выражает глубокую признательность за помощь и финансовую поддержку проекта
Корпорации Карнеги, Нью-Йорк.

СОДЕРЖАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

<i>Ольга Бреская</i>	
КОРПОРАЦИЯ: ИНВЕРСИЯ ВООБРАЖАЕМОГО	5
<i>Оксана Даниленко</i>	
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ПОГРАНИЧЬЯ.....	35
<i>Милана Николко, Елена Грищай</i>	
МАРКИРУЯ ДРУГОГО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ УКРАИНЦЕВ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ	48
<i>Живиле Адвилонене</i>	
ПРОБЛЕМАТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ПОНЯТИЯ «ПОГРАНИЧЬЕ»	57
<i>Оксана Кись</i>	
ГРАНИЦЫ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА: СОВЕТСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРСЫ В АВТОБИОГРАФИЯХ ЖЕНЩИН УКРАИНЫ	90
<i>Тамара Злобина</i>	
«ЖЕНСКОЕ ИСКУССТВО» В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАЦИИ	110
<i>Татьяна Журженко</i>	
ВПИСЫВАЯ(СЬ) В ДИСКУРС «НАЦИОНАЛЬНОГО»: УКРАИНСКИЙ ФЕМИНИЗМ ИЛИ ФЕМИНИЗМ В УКРАИНЕ?.....	122
<i>Алёна Макарова</i>	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В ПОЛЬШЕ 1989–2000 гг.	154
<i>Татьяна Нетбаева</i>	
БЕЛАРУСЬ: ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.....	184

<i>Анатолий Паньковский</i>	
КАНВА (БЕЛОРУССКОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ	193
<i>Сергей Пролеев, Виктория Шамрай</i>	
ФЕНОМЕН КЛАНОВО-КОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕСТВА	219
<i>Андрей Артеменко</i>	
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ПОГРАНИЧЬЯ: УКРАИНСКИЙ ВАРИАНТ ИДЕИ ФЕДЕРАЛИЗМА	234
<i>Виталий Кириченко</i>	
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (на примере анализа образа Запада в речах президентов Украины и Беларуси)	251
<i>Чжан Лун-си</i>	
МИФ ДРУГОГО: КИТАЙ В ГЛАЗАХ ЗАПАДА	271
РЕЦЕНЗИИ	
<i>Дмитрий Шевелёв</i>	
МИР, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ..	295
<i>Елена Трубина</i>	
СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ И МЕТАФОРА: МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ УКРАИНЫ.....	300
НАШИ АВТОРЫ	305

КОРПОРАЦИЯ: ИНВЕРСИЯ ВООБРАЖАЕМОГО

*...The corporation, as we know it –
and we know it from every aspect of
our lives – was invented; it did not
come to be of itself¹.*

Oscar Handlin

«The Development of the Corporation»

В 2003 г. Марком Фостером был снят фильм под названием «Finding Neverland»². Два главных действующих персонажа – Джеймс М. Барри, писатель и автор известной сказки «Питер Пэн», а также мальчик по имени Питер Дэвис, который и стал прообразом будущего сказочного героя, – ведут нескончаемый диалог. Их «разговор» о соотношении реального и воображаемого, фантазии и поступка, репрезентации и мысли первоначально носит непринужденный и легкий характер. Они играют и пишут об этой игре, каждый свою историю. Жизненные события семьи Дэвисов (а это реальная история) ставят Питера в тупик. Он сталкивается с «самым реальным» – со смертью близкого человека, и единственное, что он может сделать, то чему научил его Дж. Барри, – возыметь надежду на то, что реальное и воображаемое всегда вместе, они соединяются в человеке. Для этого Питеру требуются мужество и вера. Именно то, чего у него не было, когда они играли, появляется через эту игру тогда, когда игра заканчивается. Но об этом Питер уже не помнит.

В истории человеческой мысли и общежития довольно часто события складываются согласно подобным «сюжетам», когда социальная реальность по мере собственного взросления отчуждается от первоначально породивших ее идей и отношений. Забывается и отходит на второй план то самое личное и воображаемое, что породило тот или иной социальный фе-

номен, теряется связь между субъектом и его репрезентацией, исчезает понимание целей социальных действий³. Когда притупляется такая зоркость, алмаз превращается в простой камень, мысль в выдумку, вера в религию, а социальные феномены – лишь в объект социальной науки.

При рассмотрении соотношения репрезентации и первоначального замысла может появиться и другой вопрос: насколько точно происходит выстраивание реальности согласно такому воображаемому? Может быть, что-то оказалось утерянным, невоплощенным? Или, напротив, новые, первоначально незапланированные свойства обрели свои формы в реальном феномене?

Взаимодействие воображаемого и реального происходит в процессе коммуникации и только благодаря человеческим усилиям. «Питер, а ты не против, если твоим именем я назову главного героя моей книги?» – вопрос, который задает Дж. Барри Питеру, вопрос, с которого происходит рождение сказочного героя: во всем мире каждый знает Питера Пэна, но мало кто догадывается, что за ним скрывается Питер Дэвис. Кто же становится более реальным? Появление образа Питера Пэна означает, что здесь уже не один, а как минимум трое. «Так это ты Питер», – указывает восхищенная публика после премьеры спектакля на Питера Дэвиса. «Это не я, это – он», – отвечает Питер Дэвис, указывая на Джеймса Барри.

Очень похожая история приключилась и с корпорацией. В этой статье нам хотелось бы оживить корпорацию в ее первоначальном значении и понять, насколько то, что мы знаем сегодня под именем «корпорация», соответствует тем замыслам и устремлениям, которые породили такую форму социальной организации? Насколько современная гуманитарная наука успевает следить за игрой воображаемого и реального в корпорации. Как используется понятие «корпорация» в научных дискурсах Западной и Восточной Европы? Существует ли проблематика корпорации в социологическом, историческом и политологическом измерениях или это чисто экономический феномен, о чем свидетельствуют названия большинства публикаций на русском, украинском и молдавском языках? Каково соотношение индивидуальных и коллективных интересов и целей в корпоративном начале?

Настоящая статья посвящена определению и пониманию природы корпорации в Восточной и Западной Европе и США, однако нам необходимо определиться с основным понятием уже в начале работы. Разделяя позицию У. Дж. Баруди⁴, под корпорацией мы будем понимать институт «*уникальный в современной истории... Организована ли корпорация из интересов бизнеса и прибыли или по другим причинам (профсоюзы, университеты и гражданские организации) – это тип живой посреднической структуры, часть системы социальных и политических противовесов и балансов, которые стоят между индивидом и государством*»⁵. Возможно, это определение не является распространенным в Восточной Европе, однако оно четко указывает на главную функцию, которую выполняют корпорации вне зависимости от того, где они находятся и какой термин используется для их названия, – быть *посредниками между индивидом и государством*.

Такое определение указывает, во-первых, на то, что при отсутствии корпораций в обществе и государстве индивид оказывается наедине с публичным порядком. Если не существуют структуры, которые могли бы представлять индивидуальные интересы в публичном пространстве, происходит рассогласование индивидуальных и публичных целей, что в свою очередь вредит как обществу в целом, так и отдельной личности. В этом случае происходит огосударствление различных сфер жизни человека, замещение государственными функциями тех функций, которые выстраиваются как самоорганизующиеся в обществе.

С другой стороны, при отсутствии корпораций не могут быть гарантированы индивидуальные свободы личности. Хотя, по-видимому, корпорации сами по себе несколько не обеспечивают свободы личности. Однако, поскольку индивидуальные свободы всегда реализуются через социальные структуры, сами эти структуры являются неотъемлемой частью процесса осуществления индивидуальных свобод. Например, право собственности, которое является в первую очередь индивидуальным правом, максимально может быть реализовано не только через обладание личным имуществом, но и при объединении капиталов, создании предпринимательских структур. Индивидуальные религиозные свободы реализуются через участие в религиозных практиках и создание религиозных организаций. Поэтому, когда сминаются корпоративные структуры, сужаются и индивидуальные свободы личности.

Такой двусторонний аспект взаимодействия «Индивид – Корпорация» наименее представлен в современных социальных и гуманитарных исследованиях региона Беларусь – Украина – Молдова. Тематика «Индивид – Корпорация» в советский и постсоветский периоды подменяется проблемами «личность – общество», «гражданин – государство», «личность в истории», причем в каждом случае такой анализ имеет несколько иной от запланированного нами характер исследования. Социальные институты, организации и учреждения предстают в них не как посреднические структуры, но как иерархии и тотальные институции, почти всегда находящиеся в противоречии с индивидом.

Сама по себе корпорация как предмет анализа может иметь множество аспектов изучения:

- 1) она может представлять собой определенную *структуру* и *форму*, появившуюся в результате функциональной дифференциации общества;
- 2) корпорация может быть рассмотрена как *человеческое усилие* по созданию совместных форм деятельности индивидов в историческом аспекте;
- 3) корпорация может являться *агентом социализации* индивида, предлагая ему модели и образцы поведения, которые могут конкурировать с семейной, религиозной системой ценностей;
- 4) корпорация может представлять *альтернативу национальному и локальному* порядкам, создавать альтернативный бодер-порядок, становясь более значимым образованием для индивида, предлагая свой тип культуры;

5) корпорация может быть рассмотрена как универсальная структура, вырастающая *на границе индивидуальных и коллективных* целей и интересов.

Исходя из такого понимания, очевидным является, что человек сталкивается с корпорацией постоянно. История и личная биография каждого индивида описываются через его пребывание в определенных корпоративных структурах, жизнь обществ и государств в целом также описывается через эволюцию корпоративных форм. Именно через соотношение индивида с корпоративным началом открывается история Запада. Насколько присутствует в Восточной Европе судьба человека в контексте корпоративного действия и как эти истории развиваются в Восточной Европе?

Изучая корпорацию в Восточной Европе

Приступая к изучению феномена корпорации в Восточной Европе, нужно осознавать, что она имеет дискретную историю в этом регионе, а понимание значения корпорации в конце XX – начале XXI в. в Беларуси, Украине, Молдове носит односторонний характер. Связано это в первую очередь с тем, что корпорация как факт и как теоретическое понятие лишена здесь своего непрерывного исторического контекста. Этот контекст можно условно разбить на:

- контекст *хронологический*, включающий в себя эволюцию корпорации в ее временном измерении;
- контекст *научно-теоретический*, что означает осмысление корпорации в теории права, экономической, политической, социальной, теологической теориях;
- контекст современной корпоративной *практики*, в которой корпорация реализует характер своих взаимодействий с другими социальными субъектами. Без выстраивания трех адекватных контекстов изучение института корпорации в этом регионе представляется затруднительным.

Дискуссия о корпорации в российской и белорусской социологической литературе как таковая не ведется⁶. Анализ библиографии на русском, украинском, молдавском языках по тематике изучения корпорации показывает, что корпорация в этих странах в наибольшей степени изучается с позиции экономической теории.

Если провести сравнительный анализ электронного каталога Президентской библиотеки Республики Беларусь (одной из наиболее обеспеченных литературой по тематике исследования корпорации в Беларуси) и Американской электронной библиотеки Questia⁷, то можно обнаружить различие в тематической направленности исследований, посвященных анализу феномена корпорации в Восточной и Западной Европе, а также США. Отобрав по 20 источников в каждой библиотеке и проанализировав библиотечные аннотации, можно составить таблицу тематических вопросов, которые поднимают эти издания. В нижеследующей таблице приведены данные, указывающие количество упоминаний данных категорий в аннотациях к русскоязычным и англоязычным книгам.

Сравнительный анализ категорий

Категории аннотаций к 20 выбранным изданиям по теме «Корпорация»	Президентская библиотека РБ	Электронная библиотека Questia
Предпринимательство	13	2
Экономика	18	5
Управление	9	5
Государство	2	1
Финансирование	2	2
Акционирование	6	-
Непроизводственная сфера	8	-
Инвестирование	2	-
Социология	2	1
Транснациональные корпорации	3	2
Фирма	3	-
Хозяйственная деятельность	6	2
Маркетинг	2	-
Корпоративный контроль	1	-
Право	2	3
Законодательство	2	1
Правительство	-	5
Социальные аспекты	-	2
Религиозные аспекты	-	1
Сообщества	-	2
Политические аспекты	-	3
Благотворительность	-	1
Налоги	-	1
Мораль, этика	-	5
История	-	3
Корпоративная власть	-	3
Коммуникация	-	1
Организация	-	5
Окружающая среда	-	2
Образование	-	2
Семья	-	1
Общественные организации	-	1

Такой беглый выборочный анализ еще раз подтверждает тот факт, что изучение корпорации в Беларуси и России в первую очередь ведется в области экономической науки. Та же тенденция наблюдается и в Западной Европе и США, однако экономическая тематика активно дополняется политологическими, теологическими, историческими, правовыми, социокультурными исследованиями. Западные исследования при анализе корпораций выделяют аспекты «Корпорация – Общество», «Корпорация – Индивид» акцентируя внимание на посреднической функции корпорации, параллельно выделяя экономическую функцию в качестве приоритетной.

Корпорация выступает в первую очередь как структура, имеющая собственные интересы и цели. Она определяется двумя границами. Первая граница – это *border*-граница корпорации, которая указывает на ее положение в качестве организации в публичном порядке, тем самым подчеркивая ее взаимосвязь с общим политическим порядком. Вторая граница корпорации – это ее *boundary*-граница, которая может иметь два измерения: внутреннее и внешнее. Внутренняя *boundary*-граница может быть концептуализирована через характер отношений внутри корпорации и мотивацию к созданию корпорации как таковой, тем самым указывая на характер ее взаимодействия с интересами отдельных людей внутри этой организации. Внешняя *boundary*-граница показывает, как корпорация может выступать в качестве коллективного субъекта, насколько она способна к ответственному действию, согласовывающему свои собственные интересы с целями и интересами других субъектов гражданского общества и публичной сферы.

Сходство тематики научной литературы в Восточной и Западной Европе, а также США касается анализа корпорации с позиции ее структуры, управления и финансирования. Главные различия лежат в области этических, нормативных, социальных, философских вопросов, в области взаимодействия корпорации с другими субъектами гражданского общества, а также в сфере согласования корпоративной культуры с правовыми, культурными, религиозными, гражданскими нормами и этическими системами. Обратившись к литературе о корпорации в Западной Европе и США, можно обнаружить, что корпорация представляет сегодня одно из ключевых понятий социальной, экономической и политической теорий. Ее активно изучают гуманитарные и социальные исследователи в силу того, что с середины XX в. корпорация, в первую очередь в экономической сфере, становится крупнейшим социальным субъектом, от деятельности которого зависят другие субъекты гражданского общества⁸. Ресурсы многих современных корпораций сегодня превосходят ресурсы некоторых средних государств⁹.

Важно отметить также, что исследование корпорации велось в Западной Европе и США на протяжении всего XX в.¹⁰, в то время как в Восточной Европе в чистом виде корпорации даже не существовали до 90-х гг. XX в. Можно утверждать с оговоркой, что корпоративной формой, например, в СССР обладали крупные промышленные предприятия, однако в них отсутствовало главное качество корпорации – быть *посреднической структурой* между государством и индивидом. Также в СССР

совершенно не развивались столь важные в эволюции корпорации акционерные формы корпоративного капитала. Однако многие корпоративные формы на территориях современной Беларуси, Украины и Молдовы существовали в тесном взаимодействии с традицией корпоративного развития Западной Европы: внутреннее управление, развитая бюрократическая структура, взаимодействие с локальными сообществами, создание корпоративной культуры и т.д. Основное различие, скорее всего, лежит в области практической субъектоспособности индивидов и коллективных субъектов – корпораций – выстраивать собственные презентации в экономическом и публичном пространстве¹¹, а также в наличии самого пространства¹². Чтобы составить объективное представление о характере отношений «индивид и корпорация», эволюции исторических форм корпорации, нужно обратиться к пониманию и развитию корпорации в тех странах и тех научных областях, где она впервые появилась.

Корпорация в праве

Именно в правовой сфере необходимо искать начала современной корпорации. Право Древнего Рима как самостоятельная рефлексивная система впервые сделало корпорацию предметом своего рассмотрения. Этимология понятия «корпорация» восходит к латинскому термину *corpus* (тело), обозначая «социальное тело», т.е. группу людей. Его синонимами были термины *universitas* или *collegium*, также употреблявшиеся для обозначения ассоциации в Древнем Риме¹³. Однако эти термины употреблялись не только в применении к союзам лиц, но и в отношении собирательных вещей, объединенных в одно целое, например: стадо рабочего скота, табун лошадей, дом, корабль. Корпорация появляется как необходимая форма социальной организации индивидов в результате интенсификации хозяйственной активности и общественных связей индивидов. Российский исследователь Н.С. Суворов в работе «Об юридических лицах по римскому праву» следующим образом объясняет необходимость появления корпорации в правовой сфере:

«...Ни римская юридическая жизнь не могла обойтись без признания особого рода субъектов гражданского права, не совпадающих с естественными лицами, ни римская юридическая наука не могла игнорировать действительного существования таких субъектов. Для обозначения их римские юристы обыкновенно пользовались выражением: “PERSONAE fungi vice”, или “PRIVATORUM haberi loco”, желая этим сказать, что нечто, не будучи естественным человеческим лицом, *persona*, функционирует в гражданской жизни вместо такового лица, обслуживается как таковое лицо. Впрочем, иногда римские юристы, косвенно или даже прямо, называли и лицом подобного субъекта, не совпадающего с личностью естественного человека».

Однако римляне не считали корпорацию самостоятельным юридическим лицом, поскольку римское право еще просто не создало подробной и разработанной теории юридического лица. Главным субъектом правоотношений, согласно римскому праву, признавалось физическое лицо, индивид (*persona*). Не давала единого понимания этой категории и правовая практика, основанная на римской юридической культуре. В связи с этим не существовало однозначной трактовки понятия «корпорация». Преимущественно в Древнем Риме корпорацией называлось объединение, состоящее не менее чем из трех членов – полноправных римских граждан: *tres faciunt collegium*. Иногда это число уменьшалось до двух субъектов. Цель корпорации не должна была наносить вреда «публичным делам», противоречить законам Рима. Обязательным элементом корпорации для ее создания являлось наличие имущества и доверенного лица (*actor*) или синдик, действующего от имени корпорации. Корпорация сама по себе не обладала дееспособностью. Только *actor* имел право выступать от имени корпорации, предъявлять иски, совершать сделки, причем во всех этих случаях его положение и права были наравне с правами частного лица и идентичны им. Высшим органом корпорации считалось общее собрание всех членов объединения, на котором решения принимались простым большинством голосов. Наличие устава – статута не было обязательным, т.е. корпорация не рассматривалась как организация, учреждающая собственную нормативную систему.

Важно отметить, что в Риме существовало два вида юридических субъектов – это физические лица и субъекты частного права. Разделение в праве на юридическое и физическое лицо произошло значительно позже. «Когда явились в римском праве юридические субъекты, которые не суть физические лица? На этот вопрос исследователи отвечают неодинаково: то говорят, что государство, *civitas romana*, *populus romanus*, есть древнейший и первоначальный юридический субъект, по примеру которого образовались все другие союзные формации как юридические лица, то утверждают, что понятие юридического лица как субъекта гражданских прав, равноправного с физическими лицами, развилось в применении к муниципиям, а с последних перенесено на все другие корпорации и, наконец, на само государство»¹⁴.

В Риме корпорация обладала имуществом, отдельным от имущества своих членов, и члены ее не могли иметь никаких претензий на это имущество. Это характеризует как сферу частного права, так и публично-правовой порядок, «где отправными категориями были индивидуальное право гражданства и абстрактное понятие народного суверенитета. В ряде случаев правоспособность признавалась за объединением граждан, за общественными учреждениями, общинами и т.д. Так формировалось понятие о субъекте правовых действий, близкое к тому, что сейчас именуется юридическим лицом (абстрактного субъекта права, идентифицируемого в своих полномочиях и статусе с индивидом). Ни единого законченного понятия, сходного с позднейшим юридическим лицом, ни обобщающего термина соответствующего содержания классическое римское право не знало. Только в период рецепции постгlossаторами сконструировано обобщающее понятие – *persona fictiva*»¹⁵.

В римском праве выделялись следующие типы корпораций:

1) муниципия – объединение граждан первоначально случайного характера, затем из числа жителей данной местности;

2) популюс романус (римский народ) – объединение, способное коллективно приобретать собственность, заключать договоры или быть назначенным наследником;

3) коллегия – частное объединение со специализированными функциями, такими как ремесло или торговые гильдии, похоронные общества либо общества, предназначенные для отправления религиозного культа (императоры отнеслись к коллегиям с подозрительностью, и поэтому ни одна коллегия не могла появиться без государственного одобрения);

4) благотворительные организации – они становятся предметом заботы и регулирования в постклассический период, когда развивалась практика пожертвований в пользу церкви с какой-либо благотворительной целью и обязанностью, причем церковь со временем получила право и обязанность надзирать за ними.

Наиболее распространенным видом объединения в Риме были общины и разного рода *collegia*. С началом монархического строя объединения могли создаваться «только с разрешения закона, или сенататус-консульта, или постановления государя», а также с законного позволения на деятельность тех или других *collegia* с соответствующими задачами и правами.

Гарольд Берман в фундаментальной работе «Западная традиция права» анализирует природу корпорации в средние века и показывает последовательность развития этого института в Западной Европе. Берман одновременно указывает на четкие различия в понимании корпорации в Риме и средневековой Европе. С XII в. «нормы корпоративного права были перенесены церковью в германские сообщества Западной Европы. Однако им там пришлось конкурировать с христианскими понятиями о корпоративной природе ассоциаций вообще»¹⁶. Отто фон Гирке, один из крупнейших историков германского права, пытался объяснить природу корпорации через понятие «*corpus mysticum*», «одного лица», которое напоминало христианские концепции церкви. «Согласно Гирке, такое “*Genossenschaft*” (товарищество) черпало свое единство и свою цель не из какой-то высшей власти, божественной или человеческой, а исключительно из себя самого, то есть исключительно из добровольного объединения членов для достижения поставленной перед собой цели»¹⁷. Как считает П.В. Дафф в работе «Личность в частном римском праве», Гирке излишне «подчеркивал зависимость римских корпораций от государства, чтобы резче обозначить контраст со свободным немецким товариществом»¹⁸. Идея союза и в то же время идея *свободы* как его основания и контролирующего элемента являются ключевыми для понимания природы корпорации в представлениях О. Гирке:

«Вся жизнь интеллекта, все совершенное в человеке атрофировалось бы и исчезло бы, если бы идея союза была единственной и исключавшей все другие.

Противоположный принцип пробивает себе дорогу с равной силой и необходимостью, идея многообразия, которая сохраняется в любом всеобъемлющем союзе, как особенное среди общего, принцип прав и независимости всех меньших союзов, которые составляют единый общий союз, вплоть до отдельного индивида, – это принцип свободы»¹⁹.

В итоге римские, германские и христианские представления о природе и функциях корпорации в XII в. были объединены сводом канонического права и использованы церковью для построения собственной границы в средневековом публичном пространстве. В первую очередь, необходимость гармонизации этих теоретических построений возникла из-за практических вопросов, правовых конфликтов, «возникших на волне Папской революции²⁰: конфликтом между церковью и светскими политиями и конфликтом внутри церкви»²¹.

Корпорация как форма социального взаимодействия, которая не имела определенного статуса в государстве, таким образом, во многом повлияла на формирование светского права и создание концепции «юридического лица». В конце XI, на протяжении XII, XIII вв. в католической церкви формируется свод корпоративного права, которую Берман характеризует как подсистему канонического права. Ее важнейшими положениями стали следующие:

«Во-первых, церковь отвергла точку зрения римского права, что помимо публичных корпораций (государственное казначейство, города, церкви) только коллегии, признанные в качестве корпораций императорской властью, могут иметь привилегии и свободы корпораций. По каноническому праву, напротив, любая группа лиц, имевшая требуемую организацию и цель – богадельня, госпиталь, студенческое общество, а также и епархия, да и сама Вселенская церковь, – составляла корпорацию, не нуждаясь для этого в специальном разрешении вышестоящей власти.

Во-вторых, церковь не согласилась с римлянами, что только публичная корпорация может создать новое право для своих членов и осуществлять судебную власть над ними. По каноническому праву любая корпорация может иметь законодательную и судебную «юрисдикцию» над своими членами.

В-третьих, церковь отвергла точку зрения римского права, что корпорация может действовать только через своих представителей, но не через совокупность членов. Вместо этого каноническое право требовало в ряде ситуаций согласия членов корпорации.

В-четвертых, церковь отвергла римскую максиму: «Что относится к корпорации, не относится к ее членам». По каноническому праву собственность корпорации является общей собственностью ее членов, и корпорация может обложить налогом своих членов, если не имеет иных средств для уплаты долга»²².

Таким образом, два первых положения подчеркивают, что каноническое право дало возможность выстраивать и обретать корпорации собственный правовой статус в государстве. Система права в средние века выступила тем институтом, который легитимировал корпорацию в качестве союза, ассоциации, а не отдельного индивида. Уже не отдельный человек становится правоспособным, а корпорация. Н.Л. Дювернуа писал, что быт средних веков можно «охарактеризовать чертой, противоположной римскому, чертой безличности, где известный и постоянный характер правоотношений определяется принадлежностью человека к союзу, преемственному из поколения в поколение»²³. В этих условиях задачи юриспруденции и законодательства заключаются в том, чтобы определить скорее права союзов и отношение к ним прав отдельных входящих в них лиц, чем права отдельных лиц как самостоятельных единиц в общежитии.

В дальнейшем такое различие права ассоциации и индивида во взаимодействии со средневековой идеей «персонализма» привело к созданию правовой категории «юридического лица», при этом понятия «лицо» и «человек» разграничивались. Развитие идеи персонализма в средние века, способствовавшее новому пониманию значения «личности», а также формирование института церкви привели к иному осмыслению «корпорации». Современное европейское и американское право наследовало традиции канонического права, которое рассматривает корпорацию преимущественно как фиктивную персону (*fictional person*), легальное и моральное лицо (*moral person*) в противовес физическому (*natural person*).

Г. Дж. Берман неоднократно показывает, что именно каноническое право легло в основу светских правовых систем, в нем были разработаны основы всех современных отраслей права: от права собственности, брачно-семейного права до права договорного, конституционного и корпоративного. Каноническое право, сделав возможным выделение границ церкви в государстве, способствовало появлению других типов корпораций. Светское право к концу XI–XII вв. стало постепенно восприниматься как правовая система, ограниченная определенными мирскими делами, она «вырастала из обычая, была несовершенна, но направляема Богом и подлежала исправлению в свете разума и совести»²⁴. Идея такого согласования поднималась и Максом Вебером, который считал, что Западная Европа именно благодаря христианству имела в своей основе идею экономического и политического прогресса, поскольку христианство не противопоставляет себя миру, а воспринимает его на условиях преобразования согласно Божественному замыслу.

Корпорация в Древнем Риме не являлась самостоятельным субъектом права. Это означает, что она обладала потенциальной субъектоспособностью, поскольку *boundary*-граница была нелегитимированной. Корпорация как форма получила свое существование, но правового статуса она в полной мере не обрела. Этот статус корпорация получила только в средние века в связи с развитием канонического права, существованием крупной корпорации – церкви и активизацией социально-экономических отношений.

	Статус	Не-статус
Субъект	Реальная субъектоспособность Легитимированная <i>boundary</i> -граница Пограничье	Потенциальная субъектоспособность Нелегитимированная <i>boundary</i> -граница Пограничье
Не-субъект	Фиктивная субъектоспособность Доминирование <i>border</i> -пространства, псевдо- <i>boundary</i> -граница Не-Пограничье	Не-субъектоспособность Тотальное <i>border</i> -пространство Не-Пограничье

Каноническое право дало возможность выстраивать и обретать корпорации *border*-границы. Оно сделало возможным выделение *border*-границы церкви в государстве, а также способствовало появлению других типов корпораций.

Граница корпорации, исходя из исторического анализа правовой сферы, называется двусторонней. Первоначально идея корпорации была связана с *boundary*-границей, созданием союза, призванного организовывать цели и интересы отдельных людей в единое целое. Такая форма организации в Риме не имела до конца оформленной *border*-границы в публичном порядке. Однако тот факт, что корпорации могли действовать через ее представителей в публичном пространстве, тем не менее означал, что в Риме существовали достаточные публичные свободы и правовая система, способствующие деятельности различных субъектов. Корпорация, зародившись как ассоциативная структура, в свою очередь привела в действие новые правовые механизмы. Причем нужно иметь в виду, что правовая система не складывается только лишь из правовых норм, но активно взаимодействует с нормами иной природы. Появление крупной социальной структуры церкви, отделившейся от государственной юрисдикции, способствовало появлению других корпораций, которые, однако, еще долго могли создаваться только с разрешения государства и монархов. Каноническое право способствовало дальнейшей функциональной дифференциации общества, что впоследствии привело к процессу радикального изменения социальной структуры и даже полному отделению светского от церковного. Однако такое разделение было неизбежным, поскольку церковь сама предлагала основания свободного действия субъекта. Не удивительно ли, что церковь стала первой корпорацией, которая сама начала процесс секуляризации. Секуляризация, понимаемая как вымещение религиозного в сферу частного и отделение религиозного от публичного, имеет, таким образом, свои корни в самом процессе отделения церкви от государства еще в XI в.

В монографии «От транзитологии к теории Пограничья»²⁵ было введено два понимания свободы – свобода в публичном порядке и свобода индивидуального действия – вольность. Церковь способствовала развитию как первой, так и второй. Такое усердие привело к тому, что современные общества, пройдя через процесс секуляризации²⁶, вынуждены по-новому выстраивать отношения церковь – общество, церковь – государство, церковь – личность. Современное право, полностью отделившись от канонического, предлагает теперь отдельной личности набор прав и свобод, на основе которых гражданин может выстраивать свои личные отношения с церковью и религиозными организациями.

Церковь стала первой корпорацией, которая предложила модель «трансграничной корпорации», ее «*border*-границы» стали первыми границами, которые объявили войну границам государства, вернее, подвергли сомнению их абсолютный характер. Право также явилось универсальным коммуникативным элементом, способствующим преодолению таких границ. Последующая эволюция корпорации была связана не столько с развитием права, сколько с ростом и дифференциацией экономических и политических структур общества.

Природа корпорации

В каждый новый исторический период корпорация видоизменяла свои формы и функции, но ее природа оставалась неизменной. Корпорация в своей основе функциональна, она несет в себе целерациональное начало – усиление эффективности деятельности. Одновременно она содержит в себе и сущностные черты человеческой природы – стремление к объединению. Можно сказать, что корпорация – это наилучшая иллюстрация социальной природы человека. Однако одного стремления к совместной деятельности недостаточно. Чтобы организация могла быть корпорацией в обществе, нужна специальная форма, легальное оформление организации, т.е. нужна система права, которая могла бы легитимировать корпорацию в публичной сфере. В истории есть много примеров, когда корпорации существовали в значении ассоциации, выполняя важные социальные функции, но они не признавались в качестве таковых действующей системой права. Происходило это либо в силу неразвитости правовой системы, либо в силу контроля со стороны государства над деятельностью корпораций, который сознательно препятствовал их развитию. Именно от характера взаимодействия трех элементов «индивид – система права – государство» зависела форма корпораций в Западной Европе. Эти три элемента, составляя различные конфигурации на протяжении почти 2000 лет, реализовывались в разных корпоративных формах. Усилия индивидуальные, оформленные правовой сферой при активной роли государства, приводили каждый раз к все более автономному типу корпораций, способствовали появлению современной экономической корпорации. История корпорации, таким образом, представляет собой историю взаимодействия индивида и государства.

Корпорация, как уже говорилось выше, – это средневековое изобретение, имеющее римские корни. В XII–XIII вв. появилось понятие и феномен «*body politic and corporate*», которое относилось к государству. В Великобритании и Ирландии исторически термин *corporation* также использовался для названия местных органов власти, управляющих небольшими городами. Этот термин в большинстве случаев был заменен понятием Совет (*council*). Это произошло в Великобритании в 1973 г., в Ирландии – в 2001 г. Единственным исключением современности является словосочетание *Corporation of London*, которое до сегодняшнего дня используется в английском языке.

Еще одно значение, которое присоединялось к феномену корпорации в досовременный период наряду со значением союза, ассоциировалось с монополией или привилегиями, которые получали ее члены. После V в. привилегированными корпоративными формами были гильдии, которые являлись «своеобразными экономическими институтами с сильной примесью правительственных полномочий. Членство в соответствующей профессиональной гильдии, как правило, было принудительным для каждого свободного горожанина; высшие должностные лица гильдии имели широкие права проводить расследования, проверки и наказывать. До XVI столетия английское правительство использовало также гильдии как удобный инструмент сбора налогов»²⁷.

В Англии в средние века получили развитие города – *borough (incorporated town)*, наделяемые особыми привилегиями. Этим термином также обозначались территориальные образования, которые имели права выбирать членов парламента. Средневековый английский *borough* был городским центром, идентифицируемым как учреждение (*charter*), получившее привилегии, автономию, а позже целостность организации. Как автономные корпорации *borough* функционировали вне общей административной иерархии графства или сотни. С XVI в. необходимость в *boroughs* как органов местного самоуправления снизилась, но они получили значимость в качестве парламентских округов. К концу XVII в. около 200 английских *boroughs* выбирали по 5–6 членов палаты общин.

«Начиная с XV в., несмотря на сохранение феодальной системы обязательств в деревне и всеобъемлющей власти гильдий в области хозяйственной деятельности в городах, личная свобода выбора сферы и вида хозяйственной деятельности возрастала. Но одного этого было мало. Значительная часть хозяйственной активности осуществлялась не отдельными людьми, а группами, с появлением же в XVIII столетии фабрик производство превращалось в дело все более многочисленных групп. Чтобы хозяйственная деятельность в западных обществах стала относительно автономной, а принятие решений было децентрализовано и распределено между многочисленными центрами хозяйственной власти, требовались иные условия – помимо возможности отдельных людей или малых групп свободно выбирать направление и вид хозяйственной

деятельности. С возникновением развитого транспорта, торговли и производства стали нужны условия для формирования и деятельности крупных групп. К концу XIX в. западные общества нуждались в институтах, которые позволяли бы большим коммерческим группам организовываться для участия в экономической деятельности с одновременным сохранением относительной свободы от политического контроля. Изобретение публичной корпорации было принципиальным ответом Запада на эту институциональную потребность»²⁸.

Параллельно западноевропейским процессам формирования гильдий и цехов, самоуправляющихся городов-корпораций на территории современной Беларуси происходили очень схожие процессы.

«Рамесная вытворчасць у гарадах развівалася ў выглядзе карпаратыўнай, цэхавай арганізацыі. Барацьба супраць уціску феадалаў і іх чыноўнікаў, нарастанне канкурэнцыі з боку прыгонных, што ўцякалі ў гарады і займаліся рамяством, вымушалі рамеснікаў ствараць цэхі (спачатку называліся брацтвамі) – закрытыя карпаратыўныя арганізацыі, якія аб'ядноўвалі рамеснікаў адной ці некалькіх, звычайна блізкіх, прафесій. Стварэнне рамесных цэхаў было таксама абумоўлена агульнасцю інтарэсаў дробных вытворцаў-уласнікаў, вузкасцю мясцовага рынку, сумесным выкарастаннем складскіх і гандлёвых памяшканняў. Цэхі ўзніклі ў дзяржаўных гарадах Беларусі ў сярэдзіне 16 ст., у прыватнаўладальніцкіх гарадах – у 2-й палове 16 ст. Яны былі заснаваны на аснове магдэбургскага права з гарадскім самакіраваннем у вялікакняжакскіх (дзяржаўных) гарадах... Такім чынам, цэхавая арганізацыя была ўласціва мяшчанскаму саслоўю, як і ў еўрапейскіх краінах. Спачатку ствараліся цэхі рамеснікаў традыцыйных гарадскіх прафесій. Цэхі мелі свае статуты, якія дэталёва рэгламентавалі ўсё ўнутранае жыццё карпаратыўнай арганізацыі, давалі рамеснікам пэўную гарантыю свабоды дзейнасці, замацоўвалі правы і карпаратыўную адасобленасць. У невялікіх гарадах у адзін цэх аб'ядноўваліся рамеснікі розных спецыяльнасцей, звычайна блізкіх па дзейнасці. Цэхі займалі пэўнае месца і ў сістэме гарадскога самакіравання»²⁹.

Белорусские советские историки³⁰ подробно рассматривали такие виды корпораций как цеха, частновладельческие города, причем указывали, что «окончательное оформление городов как центров ремесла и торговли относится ко времени не ранее X и не позднее XI в. В них были развиты различные ремесла (кузнечное, камнетесное, деревообрабатывающее, косторезное, кожевенное, гончарное, ювелирное и др.). Важнейший вывод, сделанный на основе обстоятельного исследования, заключается в том, что по уровню своего развития города Белоруссии в древности не уступали городам Восточной и Западной Европы». Безусловно, сам процесс формирования городов как центров торговли еще не является показателем

развития корпоративных форм в Беларуси, однако он указывал на рождение субъектов публичного пространства, которые впоследствии, получая правовой статус (наделение городов магдебургским правом), оформлялись в корпорации. Возникновение городов в период между X и XI вв. свидетельствует о рождении субъекта и его *boundary*-границы, которая впоследствии приобрела форму бодера – самоуправляющегося города-корпорации.

«Стремясь избавиться от феодальной зависимости, жители городов боролись за магдебургское право – право на самоуправление, которое получило свое название от немецкого города Магдебург – первого, который в XII в. его получил. Оно соответствовало старинным традициям самоуправления, которые существовали, например, в Полоцке, Витебске и других старинных городах. Получало развитие и соединение давних традиций самоуправления с нормами магдебургского права. Первым на территории Беларуси магдебургское право получил Брест в 1390 г., потом Гродно в 1391 г., Слуцк – в 1441 г., Полоцк – в 1498 г., Минск – в 1499 г., Витебск – в 1597 г. и т.д. – всего более 40 городов и местечек. До второй половины XVI в. магдебургское право получили почти что все более или менее значительные города Беларуси, поскольку Великое княжество Литовское постоянно подвергалось нападкам со всех сторон и государство было заинтересовано в превращении городов в форпосты своей обороны. Получая магдебургское право, граждане в случае войны выходили оборонять не только государство, но и свою “городскую независимость”, свою свободу (вольность). Отметим, что городское сословие в России никогда не имело прав на самоуправление по типу магдебургского»³¹.

Для сравнения можно привести данные польских городов – Вроцлав получил магдебургское право в 1242 г., Познань – в 1253 г., Краков в 1257 г. В Беларуси город-корпорация свидетельствует о существовании живой посреднической структуры, которая выступала как *border*-граница, презентирующая себя в публичном пространстве, и одновременно как структура, которая поддерживала интересы индивида в экономической и политической сферах. Такие города представляли собой одновременно *border*- и *boundary*-границы, поскольку они способствовали освобождению их жителей от власти воевод, панов, старост, судей и подсудков, наместников и других урядников; горожане не обязаны были отвечать перед ними в чем-либо. Самоуправляющиеся города связывали воедино интересы индивида и корпорации, представляя интересы первого во втором. В городах устанавливался свой собственный суд. Город представлял альтернативу феодальному праву, он способствовал развитию торговли и ремесел.

Город с магдебургским правом в Беларуси представлял собой аналогию церковной корпорации в Западной Европе. Такой город одновременно выступал как локальность и как корпорация. Отмена магдебургского права в Беларуси по при-

казу Екатерины II было осуществлено в Могилевской губернии в ноябре 1775 г., в Минской – в мае 1795 г., в Западной губернии Беларуси – в декабре 1795 г. Такая ситуация привела к исчезновению публичного пространства, которое могло бы предоставлять Беларуси возможность для дальнейшего эффективного развития корпоративных структур.

Возвращаясь к истории привилегированных корпораций в Европе, можно отметить, что следующей ее формой были *декретированные компании*, которые с XVI в. существовали в Англии, Франции и Голландии. При отсутствии четкого разграничения политических и экономических функций корпораций декретированные компании служили и для колониальных проектов, например Ост-Индской компании (учреждена в 1600 г.) в завоевании Индии. Одной из первых крупнейших декретированных компаний, как утверждает Розенберг, была компания торговцев главным товаром (*The Merchants of the Staple*), на которую был возложен экспорт шерсти (включая сбор экспортных пошлин), главным образом в Нидерланды. Привилегированные компании отличало то, что они вели торговлю на собственные средства, не было у них и акций, которые могли бы переходить в руки тех, кто не входил в компанию. Адам Смит отмечал, что многие европейские города создавали сходные корпорации для ведения торговли. Такой вид корпораций способствовал развитию новых отраслей торговли, однако в итоге препятствовал ее эффективному развитию³².

Следующим видом привилегированных корпораций стали так называемые *лицензированные корпорации*, появившиеся в первые десятилетия XIX в., которые представляли собой первый вид компании, в которых экономическая и политическая составляющие начали разделяться. Лицензированные компании все же имели в себе элемент привилегированных декретированных компаний, но создавались они в сфере наиболее необходимых для экономического развития общества. Строительство дорог, каналов, связь, управление банками, электроснабжение – сфера компетенции лицензированных корпораций. Лицензированные компании были последним видом корпораций перед современной акционерной корпорацией. Лицензированная корпорация указывала на особую роль государства в наиболее важных для развития промышленности областях.

«Лицензированные корпорации не обязательно являлись монополиями, но многие из них (как водопроводные и первые трамвайные) были монополиями по уставу или на деле. До сих пор корпорации в этих сферах не могут быть созданы на основе простой регистрации. Некие регулирующие агентства должны высказать суждение по каждому предложению о создании лицензированной компании, хотя практика принятия по этому поводу особых законодательных актов отмерла. Несомненно, что экономической причиной для использования корпоративных форм при строительстве каналов и железных дорог была по-

требность в аккумуляции очень большого капитала, но экономические соображения оказываются сравнительно малосущественными в свете того факта, что большая часть такого рода корпораций просто не могла бы действовать, не имея права на принудительное отчуждение земли, а для приобретения этого права необходим правительственный декрет. К примеру, ни железнодорожные, ни водоканальные компании не смогли бы начать работ, если бы каждый землевладелец, участок которого оказался на трассе сооружения, имел право отказать от продажи своей земли или заломить несусветную цену. Принципиально важным было наличие права на принудительный выкуп земли»³³.

Лицензированная корпорация первых десятилетий XIX в. сильно напоминает современную модель «корпоративного государства» в Беларуси, с той оговоркой, что лицензированная корпорация в США создавалась по инициативе отдельных индивидов, а в Беларуси такой корпорацией объявляет себя само государство. В. Литвинец и А. Тур в монографии «Экономическая модель корпоративного государства» подчеркивают, что в Беларуси сегодня невозможно существование самостоятельных концернов, холдингов, акционерных обществ, поскольку они обостряют проблему антимонопольного законодательства. «Корпоративное государство является основной формой существования эффективного государства... оно предполагает наличие корпоративного интереса собственника»³⁴. Таким образом, предлагается некий один абстрактный собственник, который уже не является просто медиатором *между индивидом и государством*, а представляет собой самую крупную монополию, саму себя наделяющую привилегиями во всех сферах экономических и других отношений. При этом авторы ссылаются на П. Друкера как классика современного менеджмента, который считал, что «важным проявлением новой политики Рузвельта стало особое внимание к научным методам руководства и значительное усилие государственного регулирования экономики». Однако П. Друкер наряду с вышесказанным посвятил все свои труды эффективному управлению в современных корпорациях, никак не связанных с монополией государства. К тому же особую роль П. Друкер отводил предпринимательскому духу, который, по его мнению, необходимо было всеми средствами поддерживать и развивать государством в послевоенные годы в США. Об этом авторы не упоминают.

Параллельно с лицензированными корпорациями развивались акционерные компании, которые первыми начали создавать английские торговцы с XVII в. Основное отличие акционерных компаний заключалось в том, что

«...для ее создания не требовалось королевского декрета и, в отличие от товарищества, долевое участие в правах собственности, представленное сертификатом акции, можно было свободно продавать и покупать. В отличие от партнеров в товариществе держатели акций не принимали на себя обязательств действовать в интересах друг друга и представлять друг друга; на ведение дел от

лица компании были уполномочены только менеджеры. Этим акционерным компаниям, не получавшим преимуществ по королевским декретам, изначально были присущи три основные слабости. Первая была связана с тем, что обычное право разделяло коммерческие ассоциации на товарищества и корпорации; поскольку акционерные компании возникали без правительственных повелений, они могли рассматриваться только как товарищества, а значит, участники несли неограниченную ответственность по долгам компании. Это не имело большого значения для процветающих компаний, но было чрезвычайно существенно в противном случае. Источником второй слабости было то, что суды не признавали их законными юридическими лицами, а из-за этого им приходилось использовать довольно сложные правовые приемы, чтобы добиваться по суду соблюдения своих прав собственности и выполнения контрактов. Третья слабость – наследие римского права, усиленное интересами короны и парламента в получении доходов от декретирования корпораций. В римском праве действовало представление, что любая ассоциация граждан потенциально представляет собой заговор против государства; поэтому никакая частная ассоциация не признавалась законной до тех пор, пока ее существование не получало должной санкции имперских властей. Роберт Нисбет формулирует это следующим образом: “...примечательна доктрина римского права о концессии, согласно которой никакая группа или ассоциация, сколь бы глубоко она ни была укоренена в истории и традиции и независимо от человеческой верности и преданности ее членов, не могла претендовать на правовой статус, на правовое существование до тех пор, пока этот статус и это существование не получали признание монарха”³⁵.

Дальнейшее развитие корпорации было связано с усложнением дифференциации общества. Теперь не только корпорация нуждалась в правовом статусе, но и требовалось отделение права от политики и государственного вмешательства в создание корпораций.

«Представление о корпорации как о правовой фикции, создаваемой исключительно политическим актом государства, всегда препятствовало развитию корпораций как экономических институтов. Сэр Фредерик Поллок также связывал это представление с доктриной концессии: “...по всему континенту публичное право предполагает, что никакие ассоциации не должны создаваться без санкции государства” [Sir Frederick Pollock, *A First Book of Jurisprudence*, 5th ed. (London: Macmillan & Co., 1923), p. 115–116]. Только когда ассоциации в форме политических партий, церквей, общественных клубов и других добровольных объединений, так же как в форме акционерных обществ, стали обычным делом, стало легче видеть в образовании корпорации не столько акт

создания, сколько акт правового признания существования группы, возникшей за пределами сферы политики»³⁶.

Наиболее ярким примером такого рода борьбы между государством как органом, легитимирующим создание корпорации, и ассоциацией индивидов, которые желали создания совместных форм деятельности, стало развитие корпорации в Америке. Во многом в результате такой борьбы появилась современная корпорация.

Корпорация как автономия

Оскар Хандлин в своей статье «Развитие корпорации», вошедшей в книгу М. Новака «Корпорация: теологический взгляд»³⁷, дает исчерпывающее представление о природе современной корпорации. Причем появление корпорации в том виде, в котором она знакома современному человеку, как показывает автор, было бы невозможно без ее 150-летнего развития в Северной Америке. Иллюстрируя социальную историю корпорации, О. Хандлин разделяет ее на два периода – до 1800 г. и после 1800 г. Этот рубеж Хандлин определяет как границу зарождения современной акционерной корпорации.

«Несмотря на тот факт, что население США в 1800 г. составляло 4–5 млн человек, расселенных преимущественно по Атлантическому побережью, экономический уклад страны преимущественно был аграрным, а в политическом измерении Америка только начинала свою историю независимой нации, к этому периоду в США уже насчитывалось больше корпораций, чем во всей Европе, вместе взятой»³⁸.

Ситуация с корпорацией в Америке была уникальным опровержением одностороннего толкования этого института как способа накопления капитала в производственных целях. В 1800 г. Великобритания, Франция, даже Германия, были далеко впереди США в производстве, торговле и банковском деле – во всех областях, в которых традиционно появилась корпорация. Они занимали такие позиции до первой половины XIX ст. В течение этого периода количество американских корпораций увеличивалось, тогда как корпорации в Европе оставались достаточно редкой и специализированной формой предприятия. Хандлин задается вопросом, *каким образом менее благоприятные экономические условия привели в США к формированию корпораций в таком количестве и в такой форме?*

Характеризуя период до 1800 г., Хандлин пишет, что начиная с XVII в. Вирджиния, Массачусетс и другие колонии были основаны как чартерные компании государством (*by bodies politic and corporate*) в тех же правовых формах, что и в Европе. Эти компании состояли из инвесторов, которые вкладывали капитал и действовали в рамках, очень схожих с традиционной средневековой декретированной компанией (*chartered companies*). Однако в Америке такого типа корпорации просуще-

существовали недолго. *Virginia Company* просуществовала с 1607 по 1625 г., а компания *Massachusetts Bay Company* разваливалась в течение десятилетия. Так или иначе, корпорации, учрежденные европейскими государствами, быстро прекращали свое существование и не приживались в отдаленных поселениях Северной Америки, несмотря на тот факт, что в другой части мира Ост-Индийская компания сохраняла контроль над Британской Индией вплоть до XIX в. столетия. Британская компания *British Muscovy Company* торговала с Россией, а компания *Turkey Company* – с Турцией. Эти предприятия продолжали действовать в рамках установленных форм. Однако те же формы не работали в Северной Америке, где переселенцы настаивали на принятии решений, которые не могли согласовываться с политикой Лондона. Из-за географической отдаленности от Старого Света, а также относительной разбросанности население Америки приобретало много полномочий, которые корпорации традиционно осуществляли из единого центра. Поселенцы начали принимать решения, которые не могли более контролироваться Лондоном.

Еще в XVII–XVIII вв. в Америке негативное отношение к корпорации было достаточно сильным. Корпорация воспринималась как враждебное и чужое учреждение, управляемое из Лондона. Все же колонисты использовали корпорацию как форму совместной деятельности. Так, в 1636 г. в Массачусетсе было решено создать Гарвардский университет³⁹. Эти действия вызвали негодование со стороны Лондона, поскольку король и парламент хотели полностью контролировать вопросы создания корпораций. Именно после этого случая американским колониям было запрещено самим учреждать корпорации без разрешения короля или парламента. Практически 150 лет такая ситуация просуществовала в США, когда корпорации создавались только по разрешению королевской власти. В течение этого времени ни банки, ни университеты не могли получать разрешения на то, чтобы легально существовать как корпорация. Тем не менее при отсутствии самой правовой формы корпорации все же существовали как ассоциации, поскольку невозможно было полностью их запретить.

Переселенцы, прибывшие на «*Mayflower*», знали о том, что им нельзя иметь самоуправление, однако между собой они договорились действовать согласно тем правилам, которые содержались в ковенанте (конституции), и создать нечто похожее на свое государство. С XVIII в. в Америке спонтанно начали создаваться многочисленные центры самоуправления. В Англии ко времени революции существовало два университета, в Америке – шесть. Они были самоучрежденными. Их нельзя было назвать товариществами или индивидуальными предприятиями, они более походили на трастовые компании; их численность увеличивалась, несмотря на отсутствие легальной формы существования.

За первые два года Освободительной революции 1774–1783 гг. американцам удалось убедить политических лидеров в необходимости изменить существующее положение дел с корпорациями. Однако помимо борьбы за свою автономию корпорация в Америке столкнулась еще с двумя проблемами.

Первая касалась уровня образования. В 1781 г. на территории Америки был учрежден первый Английский банк. Он был декретирован, но не работал. Получив разрешение на создание банка, владельцы попросту не знали, как им управлять.

«Когда был получен этот лист бумаги, они не имели представлений, как им управлять, как начать его работу, так же как любой торговец не знал, как работает банк. Около 50 лет продолжался этот процесс, пока не появился образованный банкир. Невежество коснулось и права, юристы были самоучками. Они не знали, как заключать договора, как разрешать проблемы взаимодействия корпорации и государства»⁴⁰.

Второй сложностью явилось политическое устройство США, а именно федерализм. Не было ясности в том, кто должен был обладать исключительным правом создавать законы и давать разрешения учреждать корпорации. В отличие от Америки в Англии этим правом обладал король в парламенте. В США было создано 14 суверенных субъектов, каждый из которых хотел иметь собственный банк. Одновременно сосуществовали суверенная власть и суверенные штаты. Сложность двойственной природы государства США – одна власть и много субъектов означала, что власть учреждать корпорации никогда не может быть централизованной, тотально контролируемой и регулируемой. Каждый штат желал иметь собственный банк и университет, но не было централизованной политической силы, которая могла бы достаточно эффективно действовать как одна государственная корпорация, контролирующая этот процесс.

В результате в США в 1800 г. появилось больше корпораций, чем во всей Европе: это были церкви, университеты, мануфактуры, каналы, железная дорога, магистрали. Примером эффективного развития корпораций в США без жесткого государственного контроля было строительство железных дорог. Через десять лет после того, как первые дороги появились в Англии, в США их стало больше, чем во всей Европе⁴¹.

В итоге корпорации трансформировались из привилегированного института (лицензированной корпорации) в инструмент, который служит интересам своих собственных членов, а также тех, кому они оказывают услуги. Таким образом, в истории США повторилась очень похожая ситуация с Римской корпорацией, только в несколько ином варианте. Если Рим просто не имел готовой правовой формы для закрепления корпорации как самостоятельного субъекта права, то в Америке корпорации не могли получать эту правовую форму в силу длительного политического контроля со стороны Англии. С развитием экономических корпораций (делегированной и лицензированной) начинает происходить дифференциация экономической и политической сфер общественной жизни. Как в первом, так и во втором случае наличествует «*boundary*-граница», существует потребность в совместной деятельности, в построении собственной границы в публичном пространстве, однако

«*border*-граница» не создается. В Риме она еще не могла быть создана, в Северной Америке ее создавать запрещали. Как первый, так и второй случай указывает на потенциальную субъектоспособность индивидов.

Выводы

В каждой исторической эпохе положение корпорации становилось все более автономным, *border*-границы корпорации с помощью права, которое также становилось самостоятельной системой, все больше начинали конкурировать с границами публичного порядка. Право одновременно являлось и является фронтиром – механизмом продвижения *boundary*-границ. Если попытаться перечислить на основе нашего краткого анализа, как появилась современная корпорация, то мы обнаружим, что корпорация последовательно прошла через все *border*-границы жизни человека и общества: «индивид – право – церковь – экономика – политика – государство». Корпорация преодолевала различные границы, добавляя каждый раз новый элемент к уже существующей системе.

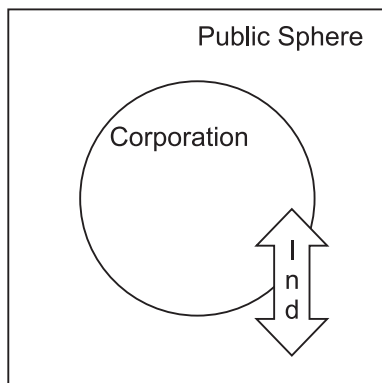


Рис. 1. Взаимодействие индивида и корпорации в пространстве публичного в период античности

История *border* и *boundary*-границ корпорации в публичном пространстве заставляла переосмысливать положение индивидов и их соотношение с государством на протяжении всего времени существования социума. Индивидуальные интересы встречались с государственными, и каждый раз корпорация в долгосрочной перспективе одерживала победу, ей удавалось выстроить альтернативный *border*-порядок. Корпорация выступает действительно уникальным институтом, развитие которого невозможно описать логикой одной науки или одной сферой жизни общества. Таким образом, изменяющиеся функции и формы корпорации в каждую новую эпоху переопределяют ее собственные границы в публичной сфере, а также и характер ее отношений с индивидом. Мы можем обнаружить последовательную

смену форм взаимодействия «индивид – корпорация», используя проделанный нами анализ.

I в. до н.э. – возникновение корпораций в Риме. Индивид инициирует создание различного рода союзов. Индивид представляет корпорацию в публичном порядке. Корпорация носит форму *boundary*-границы, поскольку не разработана ее правовая форма, а ее *border*-границы четко не сформированы. Она представлена в публичной сфере через отдельного индивида – *actor*. Не существует четкого разделения экономических и политических функций корпораций. Имущество корпорации отделено от имущества ее членов. Корпорации не наделяются в полной мере функциями субъектов публичного порядка.

V–XV вв. – институционализация церкви, гильдий, городов, муниципалитетов, развитие канонического права, отдельного от права государства. Формирование

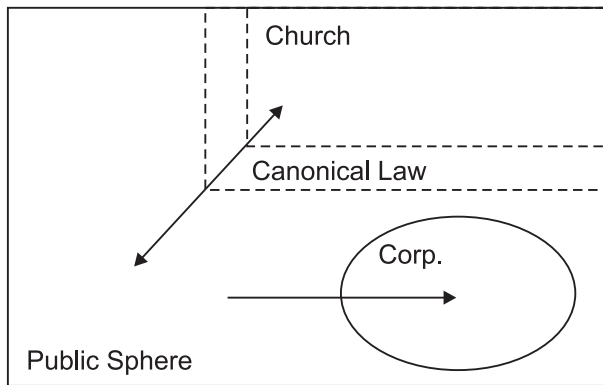


Рис. 2. Взаимодействие индивида и корпорации в пространстве публичного в средние века

светской системы права. Согласовывание разных нормативных систем (на примере Беларуси – феодальное право с магдебургским правом). Корпорации представляли собой в публичном порядке самостоятельную форму. Гильдии были своеобразными экономическими институтами с сильной примесью правительственных полномочий. Имущество корпорации начало являться имуществом ее членов, она получила способность сохранять право на корпоративную собственность независимо от смерти отдельных членов и от принятия в нее новых. Развитие личной свободы выбора сферы и вида хозяйственной деятельности, рост активности осуществлялся не отдельными людьми, а группами.

В XVI – начале XVII в. корпорации в экономической сфере стали наделяться привилегиями для осуществления хозяйственной деятельности в отличие от ее регулирования. Появляются лицензированные корпорации, которым правительственный декрет предоставлял монопольное право ведения торговли. Компания имела подкреплённую декретом монополию. Государство участвовало в создании

корпораций для развития наиболее важных сфер жизнедеятельности общества, наделяя ее привилегиями. Имеются существенные правительственные полномочия.

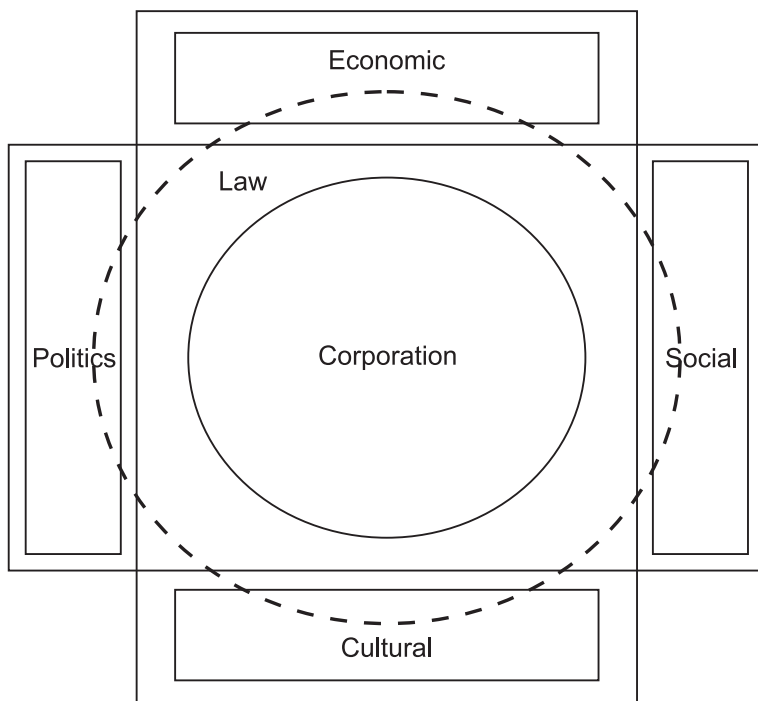


Рис. 3. Взаимодействие индивида и корпорации в пространстве публичного в Новое время

Не заручаясь королевскими декретами, не имея политических полномочий или исключительных прав, корпорации развиваются в Старом и Новом Свете. Правовой статус этих новых предприятий не был урегулирован вплоть до XIX в., когда уставные документы корпораций перестали быть предметом королевских декретов о даровании политических полномочий и возникла практика простой регистрации и сообщения публике того факта, что группа людей намерена заниматься хозяйственной деятельностью, выступая при этом как некое единое образование и действуя через своих представителей, не получавших преимуществ по королевским декретам. Корпорация становится автономным участником публичных отношений с сохранением относительной свободы от политического контроля. От товариществ корпорации отличала легкость передачи долевых прав собственности.

Право балансирует между правом локальных сообществ, корпораций и правовых систем государства. В контексте современной истории корпорация находится не просто в публичном пространстве и порядке, она находится еще и в локальном порядке, который связан с жизнью отдельных индивидов. Локальность, в

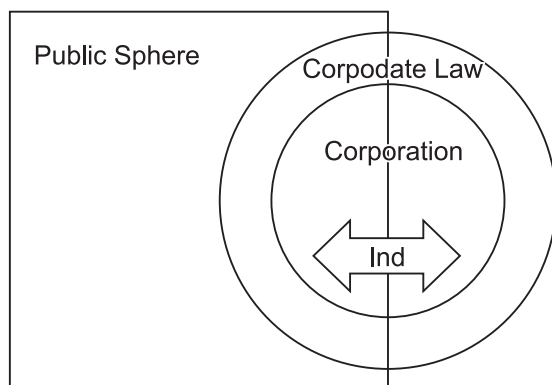


Рис. 4. Взаимодействие индивида и корпорации в пространстве публичного в XVIII в.

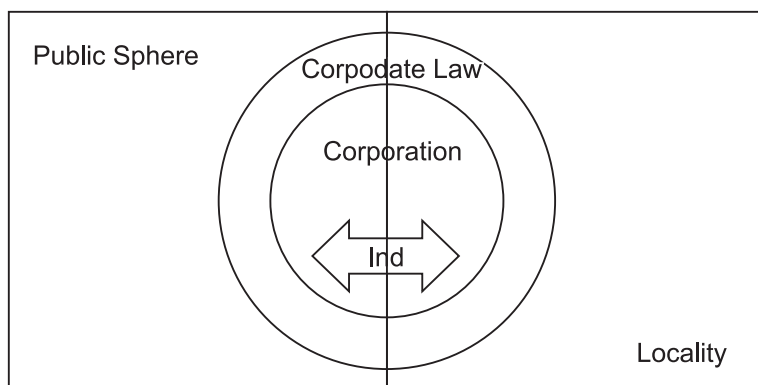


Рис. 5. Взаимодействие индивида и корпорации в пространстве публичного в XX в.

которой находится корпорация, – это концепция корпоративной ответственности, появившаяся в конце XX в. и служащая ныне эталоном для эффективного развития самой корпорации. Это означает, что в границы государств и публичной власти нужно добавить только один элемент – индивида.

Коуз приводит очень простой пример: фабрика дымит и мешает дышать местной общине, местному *community*. Что делать в этих условиях? Какой первый позыв? Надо запретить фабрике дымить. Но тогда мы наносим ущерб фабрике, и не только ее владельцу. Мы лишаем прав тех людей, которые там работают, тех людей, которые вкладывали туда деньги. Поэтому фактически вопрос в том, кому принадлежит право, – право фабрике дымить или право населению дышать? Коуз утверждает, что вообще-то несущественно, за кем вы закрепите это право. Важно, чтобы вы его закрепили, потому что дальше произойдет

самое важное: если вы закрепили за фабрикой право дымить, а значит, работать, получать доходы, то местное сообщество будет платить фабрике за установку очистных сооружений и договариваться о чем-то. Процесс пошел. Если вы местному сообществу предоставите абсолютное право дышать свежим воздухом, значит, владельцы фабрики будут платить. При этом есть тысяча всяких вариантов, например сделать членов этого *community* акционерами этого предприятия, поэтому они будут кашлять, но получать доходы. Так вот, вопрос о том, какие права надо устанавливать и как этими правами обмениваться, – это вопрос компетенции гражданского общества. Собственно, обилие вариантов решения этих вопросов и есть предмет деятельности в той сфере, где нет монополии власти, где есть разные группы интересов, где есть разные субъекты, способные свои права присваивать, отчуждать, обменивать, реализовывать и так далее⁴².

На основе нашего анализа можно заключить, что, будучи по преимуществу функциональной структурой, корпорация является реальным посредником, осуществляющим взаимосвязь индивида и публичного порядка. Можно добавить, что корпорация всегда создает альтернативу существующему порядку, не даром еще со времен Древнего Рима за их учреждением велось строгое наблюдение. Мы также убедились, на большом временном периоде, что характер взаимосвязи четырех элементов «индивид – корпорация – право – публичный порядок» принимал различные формы и комбинации, причем состояние каждого элемента этой цепи зависело от соотношений других элементов и характера их связи между собой. Корпорация может абсолютизировать свои *border*-границы, и в таком случае она становится закрытой для внешнего взаимодействия – замыкаясь в максимизации прибыли и преследовании своих интересов. Граница корпорации может быть эффективной *boundary*-границей, и в таком случае корпорация в истории предстает перед нами в виде самоуправляющихся городов, церквей, акционерных обществ, университетов. Мы также убедились, что связь этих элементов настолько неразрывна, что при выпадении одного элемента сразу же рушится вся система равноправных отношений. Важно добавить только, что всю эту систему держит человеческое усилие – усилие мысли и действия.

Примечания

- ¹ «Корпорация, как мы ее знаем, а сталкиваемся с ней мы в любой жизненной ситуации, была изобретена, она не появилась сама по себе» (Handlin. O. The Development of the Corporation // Michael Novak and John W. Cooper. The Corporation: A Theological Inquiry. American Enterprise Institute, 1981).
- ² На русском языке название фильма звучит как «Волшебная страна», в то время как английский вариант – «Обнаружение Небыландии».

- ³ Российский социолог Батыгин в своих «Лекциях по методологии социологических исследований» писал об этой проблеме следующим образом: «К. Маркс говорил о том, что самый плохой архитектор отличается от хорошей пчелы тем, что создает свой объект сначала идеально, в представлении. Если применить эту аллегорию к социологической работе, многих социологов можно назвать пчелами – они не любят кабинетной рутин и летят в поле без каких-либо определенных представлений об ожидаемых результатах».
- ⁴ Директор Института предпринимательства США.
- ⁵ Baroody W. Foreword // Jr. Michael Novak and John W. Cooper. *The Corporation: A Theological Inquiry*, American Enterprise Institute, 1981.
- ⁶ Среди последних работ можно выделить монографию Н.Л. Поляковой «XX век в социологических теориях общества» 2004 г., в которой автор посвятила целый раздел анализу теории корпоративного общества, сборник «К философии корпоративного развития» (сост. О. Алексеев, О. Генисаретский. М., 2006), монографию С.П. Перегудова. «Корпорации, общество, государство: эволюция отношений» (М., 2003).
- ⁷ Такой анализ, безусловно, нельзя назвать валидным, поскольку электронный каталог Президентской библиотеки на момент анализа (сентябрь 2007 г.) насчитывал 164 источника (включая книги и статьи), связанные с темой корпорации (в том числе переводы и книги на иностранном языке), в то время как Questia предлагала 29 958 книг, 19 987 статей из научных журналов, 11 527 газетных статей, 177 – энциклопедических, в которых есть ссылки на концепт «корпорация». Все же такой выборочный анализ может помочь увидеть различие в осмыслении феномена корпорации в двух научных традициях.
- ⁸ Э.Тоффлер пишет, что в США к 1980 г. действовало около 1 млн 370 тыс. компаний, которые взаимодействуют с более чем 90 тыс. школ и университетов, 330 тыс. церквями и сотнями тысяч ответвлений, 13 тыс. общенациональных организаций плюс бесчисленные строго местные экологические, социальные, религиозные, спортивные, политические, этнические и гражданские группы, каждая со своей повесткой дня и приоритетами. Это порождает около 144 тыс. юридических фирм, необходимых для обслуживания всех этих взаимосвязей (Тоффлер Э. Третья волна / пер. с англ. М., 2002. С. 384).
- ⁹ На 2004 г. финансовые потоки Гарварда составляли 23 млрд долларов, бюджет Республики Беларусь на тот же период – 14 млрд долларов см. <http://www.mmonline.ru/news.php?mid=4839&topic=131,185>
- ¹⁰ См. работы: Dewing A.S. *Corporate Promotions and Reorganizations*. Harvard University Press, 1914; Gordon L. *The Public Corporation in Great Britain*. New York, 1938; Drucker P.F. *The Practice of Management*. Harper & Row, 1954; Blough R.M. *Free Man and the Corporation*. McGraw-Hill, 1959; Ramanadham V. V. *Problems of Public Enterprise: Thoughts on British Experience*. Quadrangle Books, 1959; Warner L.W. *The corporation in the emergent American society*. Harper, 1962; Bock B., Goldschmid H.J., Millstein I.M., Scherer M.F. *The Impact of the Modern Corporation*. Columbia University Press, 1984; Ginzberg E., Vojta G. *Beyond Human Scale: The Large Corporation at Risk*. Basic Books, 1985; Useem M. De Gruyter, A. *Liberal Education and the Corporation: The Hiring and Advancement of College Graduates*. 1989; Frederick R.W., Hoffman M., Petry E.S. Jr. *The Corporation, Ethics and the Environment*. Quorum Books, 1990; Frederick W.C. *Values, Nature and Culture in the American Corporation*. Oxford University Press, 1995; Bowman S.R. *The Modern Corporation and American Political Thought*:

- Law, Power, and Ideology. Pennsylvania State University Press, 1996; Mourdoukoutas P. The Global Corporation: The Decolonization of International Business. Quorum Books, 1999; Hamlin M.A. The New Asian Corporation: Managing for the Future in Post-Crisis Asia. Jossey-Bass, San Francisco, 2000; Galbraith J.R. Designing the Global Corporation. Jossey-Bass, 2000.
- ¹¹ В работе О. Бреского, О. Бреской «От транзитологии к теории Пограничья» это качество было названо «субъектоспособностью».
- ¹² М. Мамардашвили писал, что существование «публичного пространства является условием... мысли. Оно существует не для того, чтобы кому-то досадить, кого-то огорчить или обрадовать. Мысль существует только в исполнении, только в пространстве, не занятом никакими предрассудками, запретами и т.д.». То же самое можно сказать о возможности или невозможности для субъекта выстраивать презентации в публичном пространстве. Механизмами и условиями построения презентаций являются правовая система, свобода и активная, творческая атмосфера гражданского общества. (Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 154).
- ¹³ «Термины, всего чаще встречающиеся в римском праве для обозначения юридических лиц: “CORPUS” и “UNIVERSITAS”, не заключают в сем мысли о чем-либо фиктивном, воображаемом, в противоположность реальному, действительно существующему» (Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000. Режим доступа : <http://civil.consultant.ru/elib/books/8/>).
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Там же.
- ¹⁶ Берман Г. Дж. Ук. соч. С. 211.
- ¹⁷ Там же. С. 211.
- ¹⁸ Duff P.W. Personality in Roman Private Law. Cambridge, 1938. P. 118.
- ¹⁹ Community in Historical Perspective by Otto von Gierke / Ed. Black, A., transl. Fischer, M. Cambridge University Press, 2002. P. 2.
- ²⁰ Папская революция 1075–1122 гг. была направлена на освобождение римской церкви от власти и подчинения императорам, королю и феодальным баронам, проводилась за утверждение независимого, корпоративного, политического, юридического образования церкви под эгидой папства.
- ²¹ Берман Г. Дж. Ук. соч. С. 212.
- ²² Там же. С. 213.
- ²³ Дювернуа Н.Л. Чтение по гражданскому праву. СПб., 1902. С. 268–272.
- ²⁴ Там же. С. 263.
- ²⁵ Бреский О., Бреская О. От транзитологии к теории пограничья: очерки деконструкции концепта «Восточная Европа». Вильнюс: ЕГУ, 2008.
- ²⁶ Питер Бергер, основатель теории секуляризации современного общества, опроверг собственную теорию в 1997 г., которая гласила: «чем быстрее развивается процесс модернизации, тем с большей силой происходит процесс секуляризации». Опираясь на эмпирические данные, Бергер показал, что большая половина современного мира, несмотря на процесс модернизации, остается религиозной (Epistemological Modesty: An Interview with Peter Berger / The Christian Century. Volume: 114. Issue: 30. October 29, 1997).
- ²⁷ Розенберг Н. Как Запад стал богатым: экономическое преобразование индустриального мира / (Н. Розенберг, Л.Е. Бирдселл, мл.; Пер. Б.С. Пинскер. М., 1995. Режим доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_rich0)

- 28 Там же.
- 29 Грыцкевіч А. Рамяство / Вялікае княства Літоўскае. Энциклапедыя ў двух тамах. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2005. С. 82.
- 30 См.: Копыцкий З.Ю., Чепко В.В. Историография БССР (эпоха феодализма): Учебное пособие / Под ред. Я.Н. Марата. Минск: Университетское, 1986. С. 175.
- 31 Эканамічная гісторыя Беларусі. Вучэбны дапаможнік : выд. 2-е, дап. і перепрац. / В.І. Галубовіч, Р.І. Ермашкевіч, Г.П. Бушчык і інш.; пад агульнай рэд. В.І. Галубовіча. Мінск: Экаперспектыва, 1995. С. 102.
- 32 Французы между 1599 и 1789 гг. декретировали создание более чем 70 торговых компаний, включая их собственную Ост-Индскую компанию. В целом французские компании не имели успеха и в конце концов исчезли в ходе реформ, осуществленных во время революции. Датчане также декретировали создание множества компаний, которые они рассматривали как общенациональные предприятия, и оплачивали свои колониальные войны из их доходов (Розенберг Н. Как Запад стал богатым: экономическое преобразование индустриального мира).
- 33 Там же.
- 34 Экономическая модель корпоративного государства: Ресурсы. Системный анализ. Монография. Литвинец В.И., Тур А.Н. / Под научной редакцией П.Г. Никитенко. Минск: Технопринт, 2004. С. 25.
- 35 Розенберг, Н. Как Запад стал богатым: экономическое преобразование индустриального мира.
- 36 Там же.
- 37 Handlin O. The Development of the Corporation // Michael Novak and John W. Cooper. The Corporation: A Theological Inquiry. American Enterprise Institute, 1981.
- 38 Ibid. P. 2
- 39 Университет получил свое название от имени министра Джона Гарварда, передавшего в его пользу личную библиотеку и часть имения.
- 40 Handlin O. Op. cit.
- 41 Ibid. P. 7
- 42 Аузан А. Публичная лекция «Экономические основания гражданских институтов» 19 мая 2004. / А. Аузан. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.polit.ru/lectures/2004/05/19/auzan.html>

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ПОГРАНИЧЬЯ

Постановка проблемы

Актуальность исследования проблемы языка конфликта во взаимосвязи с лингвистическим конструированием реальности связана с общемировыми тенденциями перехода к информационной цивилизации: конфликтологический анализ процессов в современном мировом сообществе позволяет говорить о возрастающей роли слова, текста в возникновении, развитии и решении конфликтов.

Характеристики языка конфликта могут быть использованы в качестве механизмов текстовой манипуляции и провоцирования конфликтности, и это вредит обществу, если провоцируются разрушительные конфликты, и полезно для общества, если создаются возможности создания «институциональных клапанов» для освобождения от разрушительной конфликтной энергии (в контексте теории Л. Козера [1]).

Для регионов Пограничья исследование проблемы управления социальными конфликтами посредством управления дискурсом имеет особое значение, так как эти регионы находятся в зоне влияния различных информационных полей, определяющих преимущественное тяготение к России или к Евросоюзу. Лингвистическое конструирование социальных конфликтов – это вариант управления социальными конфликтами посредством управления дискурсом.

Какие варианты воплощения лингвистического конструирования социальных конфликтов мы наблюдаем сегодня в различных регионах Пограничья? В каких формах проявляются характеристики языка конфликта и как форма при этом отображает содержание или противоречит ему? Основная тенденция трансформации идентичностей во взаимосвязи с линг-

вистическим конструированием конфликтов связана с различными вариантами переживания «культурной травмы» (П. Штомпка) [2], – для одних регионов Пограничья в большей мере связанного с преодолением «коммунистической травмы», для других – «посткоммунистической». Именно эта тенденция была не только выявлена, но и проиллюстрирована через определение доминирующего семантического набора характеристик языка конфликта для различных регионов Пограничья и для различных поколений в рамках проекта «Лингвистическое конструирование социальных конфликтов в условиях Пограничья». Проект был реализован с июля 2006 г. по февраль 2008 г. при поддержке центра CASE (программа «Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова») и завершился подготовкой текста рукописи монографии.

Исследование проблемы лингвистического конструирования конфликтов в условиях Пограничья осуществлено с применением авторской лингвоконфликтологической концепции, которая описана, прежде всего, в работах [3, 4]. Сущность лингвоконфликтологического подхода к исследованию заключается в том, что через текстовые конструкты выявляется и анализируется конфликтный потенциал социальных трансформаций, определяются предпосылки моделирования определенного варианта социальных изменений.

Основными методологическими принципами лингвоконфликтологической концепции являются следующие:

- механизмы формирования конфликтного потенциала рассматриваются через взаимосвязь ценностных и речевых ориентаций;
- в основе методологии – структурно-коммуникативный подход; конфликт рассматривается как система многоуровневых структурных коммуникаций;
- ключевое понятие – язык конфликта;
- язык конфликта рассматривается как средство коммуникации и как средство интерпретации;
- язык конфликта рассматривается как исследовательский код.

Цели статьи – охарактеризовать сущность лингвоконфликтологической концепции и особенности ее применения к проблеме лингвистического конструирования конфликтов, а также представить некоторые из выводов, которые были сделаны в ходе реализации проекта «Лингвистическое конструирование социальных конфликтов в условиях Пограничья».

Сущность лингвоконфликтологического подхода к исследованию и система понятий в контексте проблемы лингвистического конструирования конфликтов

Ключевыми понятиями лингвоконфликтологического подхода, включенными в осмысление процессов лингвистического конструирования конфликтов, являются следующие: язык конфликта, социальный конфликт, динамическая модель кон-

фликта, образ конфликта, текст, конфликтные структуры в тексте, дискурс. Многие из этих понятий имеют различные варианты истолкования. Исследование конфликтов отличается плюрализмом методологических подходов и множественностью вариантов их определения (см., например, [5, 6, 7]). Дискурс также истолковывается по-разному, как и дискурс-анализ. Язык конфликта является специфическим понятием лингвоконфликтологической концепции, которое оперирует и к первому, и ко второму ряду многомерных интерпретаций, поэтому, чтобы избежать разночтений, определим основные понятия, а также проанализируем взаимосвязи между ними в контексте проблемы лингвистического конструирования конфликтов.

Конфликт понимается как межсубъектное взаимодействие, как столкновение, борьба по поводу дефицита определенных ресурсов, а также противоречивых интересов, целей, ценностей. Социальный конфликт – это взаимодействие субъектов, которое является прежде всего социальным взаимодействием и связано с борьбой за определенные социально значимые интересы, цели, ценности или ресурсы.

Социальный конфликт может рассматриваться как система многоуровневых структурных коммуникаций, и в этом смысле конфликт как социальная система всегда оказывается подсистемой к определенным социальным конфликтам и является системой по отношению к другим конфликтам как подсистемам. Взаимосвязь между различными уровнями конфликтного взаимодействия осуществляется благодаря системе ценностей, и одним из индикаторов выявления этих взаимосвязей является язык конфликта (речевые ориентации детерминированы ценностными ориентациями).

Для понимания особенностей взаимодействия между различными социальными системами и подсистемами целесообразно обратиться к определению социальной системы Т. Парсонса: «Социальные системы, в том числе и общества, мы рассматриваем не как конкретную агрегацию взаимодействующих и проявляющих себя в поступках людей, а как получившую аналитическое определение подсистему всей совокупности социальных действий людей, абстрагированную на основе вычленения процессов взаимодействия и структур, образуемых взаимоотношениями между исполняющими свои роли людьми» [8, с. 363]. При этом состояние системы может выступать как конфликтное, так и интегративное, а не только как «интеграция» и «неудавшаяся интеграция», как это предлагает рассматривать Т. Парсонс. Каждая из систем и подсистем имеет свои ценности: соответственно, ценности личности, ценности больших социальных групп, ценности общества. Все они определенным образом соотносятся, и именно в этом соотношении проявляется существенная взаимосвязь социальных систем и подсистем.

Язык конфликта является центральным понятием лингвоконфликтологической концепции. Язык конфликта понимается как определенная семиотическая система, обладающая свойством маркировать и передавать определенный уровень конфликтного потенциала, который может быть оценен по шкале «конфликт – согласие». Эта система отображает определенные нормы и ценности, которые связаны и взаимо-

действуют с нормами и ценностями той социальной системы, применительно к которой рассматривается язык конфликта. Язык конфликта структурирует повседневность, лежит в основе типизации и легитимизации правил и практик, включен в механизмы опривычивания повседневности. И здесь проявляются встречные процессы: со стороны институтов и со стороны повседневных практик.

Почему речь идет именно о характеристиках языка конфликта и в чем познавательное значение исследования характеристик языка конфликта?

Возникновение, развитие и снятие конфликтов всегда сопряжены с функционированием определенных текстов, поскольку, с одной стороны, язык выступает в качестве средства коммуникации в процессе любого взаимодействия, в том числе в процессе конфликтного взаимодействия, а, с другой стороны, возникший конфликт интерпретируется его сторонами и внешними по отношению к конфликту субъектами. Характеристики языка конфликта возникают уже на предконфликтной фазе, сигнализируя о возможном его возникновении, а также на постконфликтной фазе, маркируя нерешенные проблемы, обозначая варианты его продолжения в циклической и иной форме.

Под динамической моделью конфликта понимается модель, отражающая основные характеристики конфликтного взаимодействия: особенности определения понятия «конфликт», его структуры, функций, динамики. Динамическая модель конфликта включает в себя структурно-композиционные элементы, различные варианты реагирования на конфликт, причины конфликта, факторы, влияющие на его развитие и варианты его разрешения и урегулирования, которые рассматриваются в их развитии и изменении, взаимосвязи и взаимозависимости (подробней об этом см. [9]).

Характеристики языка конфликта как факторы управления конфликтной ситуацией включены на каждом из этапов в схему интерпретации и являются одним из элементов формирования образов конфликта как для его участников, так и для внешних сторон.

Наиболее эффективными являются такие текстовые структуры, которые включают ценностные механизмы влияния, т.е. провоцирование конфликта осуществляется тем эффективней, чем более значимые ценности затрагивают тексты, которые включены в процесс управления конфликтной ситуацией.

Как показывает анализ различных вариантов включения текстовых структур в процесс управления социальным конфликтом, наиболее эффективным является управление конфликтами не посредством прямых высказываний, а посредством определенных контекстов, т.е. не столько тексты, сколько контексты являются важнейшим компонентом лингвистического управления конфликтами.

Социальные конфликты являются многоуровневыми, одни из конфликтов как системы (в парсонсовской интерпретации) являются подсистемами по отношению к другим конфликтам. Структурное единство и взаимосвязь различных конфликтов как систем осуществляется в ценностном аспекте. Именно рассмотрение кон-

фликтов как структурных коммуникаций позволяет вывести на первый план лингвистические аспекты анализа конфликта (язык как средство коммуникации при реализации различных моделей конфликта). Кроме того, анализ конфликтов как структурных коммуникаций позволяет выйти на специфические способы управления конфликтными ситуациями через текстовое воздействие.

Включенность текстовых структур в алгоритм управления конфликтами на различных уровнях социального взаимодействия осуществляется через ценностные механизмы интерпретации. Воздействие текстовых структур способно сформировать ценность и антиценность конфликта, формировать определенный контекст восприятия через ценностную интерпретацию событий конфликта, способствовать разрешению конфликтных ситуаций. При этом ценностное воздействие текстовых структур может рассматриваться как один из элементов методик снятия конфликтов. Важным понятием, позволяющим понять функционирование этих механизмов, является понятие «образ конфликта».

Все характеристики языка конфликта связаны, так или иначе, с конфликтом – одни из них с реальными конфликтами, а другие – с конфликтом интерпретаций, и в том и в другом случае отображая различные его образы.

Образ конфликта – это субъективный вариант представления о конфликте, стержнем которого является его ценностная интерпретация. Образ конфликта включает представление о субъектах конфликта, интерпретацию и оценку событий конфликта, осознанную или неосознанную. Различные тексты отображают различные образы конфликта.

Образ конфликта и сопряженные с ним характеристики языка конфликта, а также варианты ценностной интерпретации конфликтной ситуации целесообразно рассматривать как элементы определенного типа дискурса.

Следует заметить, что при исследовании проблем лингвистического конструирования социальных конфликтов в условиях Пограничья характеристики языка конфликта рассматриваются в качестве одного из дискурсивных механизмов, который управляет дискурсом. Это понимание дискурса созвучно интерпретациям Патрика Серио, который отмечает, что «высказывание – это последовательность фраз, заключенных между двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; дискурс – это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсивного механизма, который им управляет. Таким образом, взгляд на текст с позиции его структурирования “в языке” определяет данный текст как высказывание; лингвистическое исследование условий производства текста определяет его как “дискурс”. Кроме разграничения “высказывания и дискурса”, существенным для исследования проблемы лингвистического конструирования конфликтов представляется также следующее из определений дискурса, которое приводит П. Серио в качестве одного из восьми вариантов интерпретации дискурса, систематизируя различные подходы в своей работе “Анализ дискурса во французской школе [дискурс и интердискурс]”: “термин дискурс часто употребляется также для обозначения си-

стемы ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции. Так, когда речь идет о “феминистском дискурсе” или об “административном дискурсе”, рассматривается не отдельный частный корпус, а определенный тип высказывания, который предполагается вообще присущим феминисткам или администрации» [8, с. 549–562]. Для исследования проблемы лингвистического конструирования конфликтов важным является выделение определенного типа дискурса во взаимосвязи с интерпретациями реальных и потенциальных конфликтов.

Лингвоконфликтологическое исследование позволяет приблизиться к условиям формирования конфликтного дискурса, а также выявить предпосылки и особенности включения определенных текстовых конструктов, являющихся элементами того или иного дискурса, в процесс лингвистического конструирования конфликтов.

Лингвистическое конструирование конфликтов понимается не только как провозглашение конфликтов с помощью определенных текстовых конструктов, но и как создание такого дискурса, который дает представление о конфликтах (порой о несуществующих как о реальных), что при определенных условиях может привести к реальному их возникновению. Конструирование конфликтов – это определенный вариант конструирования реальности (в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана [11]), несущий в себе значительный конфликтный потенциал.

Основные характеристики эмпирической базы и проблемное поле исследования лингвистического конструирования конфликтов

В ходе исследования «Лингвистическое конструирование социальных конфликтов в условиях Пограничья» была проведена серия углубленных проблемно-ориентированных интервью в г. Львове и в г. Харькове (24 интервью), а также в Автономной Республике Крым (33 интервью). Во Львове и в Харькове применялась тактика «истории семьи», что позволило сформировать массив из интервью, представляющих 8 семей (4 семьи Харькова и 4 семьи Львова), и проследить на примере этих семей особенности передачи из поколения в поколение определенных устойчивых текстовых конструктов, представляющих собой морфологическую основу восприятия образов конфликтов прошлого, настоящего и будущего.

Эти тексты проанализированы во взаимосвязи с результатами вторичной интерпретации текстовой информации, полученной ранее в ходе исследования «Конструирование истории: от конфликта интерпретаций к формированию новых идентичностей в условиях Пограничья», в ходе которого было проведено:

- 96 углубленных проблемно-ориентированных интервью с экспертами и представителями различных поколений: 33 интервью – Харьков, 33 – Львов,

10 – Киев, 10 – Крым; экспертную группу представляют также 10 «внешних» экспертов, представителей сферы науки и политики (Беларусь – 2 человека, Венгрия – 1, Германия – 1, Литва – 1, Молдова – 2, Польша – 1, Россия – 2 человека). Внутри каждой региональной экспертной группы в Украине были представлены сферы образования, политики и экономики;

- нарратив-конфликтологический контент-анализ текстов около 200 учебников истории, которые были рекомендованы в СССР, Украине, России и Беларуси с 1918 по 2005 г.

Исследования «Конструирование истории: от конфликта интерпретаций – к формированию новых идентичностей Пограничья» и «Лингвистическое конструирование конфликтов в условиях Пограничья» логически взаимосвязаны друг с другом. Оба основываются на лингвоконфликтологическом подходе к исследованию, измерение осуществляется посредством лингвоконфликтологических индикаторов. Отличают исследования следующие моменты. В первом случае преимущественно описываются идентичности через выявление их лингвоконфликтологических характеристик (языка конфликта), во втором случае выявляется, как встроены характеристики языка конфликта в процесс формирования идентичностей, выявляются механизмы их формирования, выстраивается типология характеристик языка конфликта. Этот спектр задач нацелен на выявление различных вариантов лингвистического конструирования конфликтов, реализуемых в различных регионах Пограничья. Особое значение при этом приобретает цепочка взаимосвязей: образ конфликта – типы характеристик языка конфликта – социокультурные идентичности – лингвистическое конструирование конфликтов.

В центре внимания двух взаимосвязанных лингвоконфликтологических исследований – 4 поколения как носители определенных социокультурных характеристик:

- поколение 1 – сегодняшние студенты (преимущественно носители дискурса «Независимой Украины»);
- поколение 2 – «дети перестройки», студенты 1990-х гг., которые в школе изучали еще историю СССР, а в институте уже историю Украины;
- поколение 3 – «советское поколение» – в период получения представителями этого поколения среднего и высшего образования доминировал советский дискурс;
- поколение 4 – старшее поколение, носители воспоминаний о Великой Отечественной войне и других событиях, вызывающих сегодня конфликт интерпретаций, основные носители устной истории.

Применение в качестве исследовательской методологии лингвоконфликтологической концепции определяет специфические способы сбора и анализа текстовой информации. Лингвоконфликтологическое исследование предполагает стимулирование нарративов (чаще всего нарративов о конфликте) вопросом о ситуациях, связанных с конфликтом интерпретаций или реальными социальными конфликтами.

В методику получения информации были включены также специальные лингвоконфликтологические эксперименты «гарфинкелевского рода», позволяющие выявить варианты реагирования на различные ситуации конфликта интерпретаций.

***От образа конфликта к лингвистическому
конструированию социальных конфликтов.
Роль типологизации характеристик языка конфликта
во взаимосвязи с типами дискурса***

Важным моментом осуществления лингвоконфликтологической экспертизы является выявление взаимосвязи между различными образами конфликтов, фиксируемыми в тексте. Ключевыми структурными компонентами, определяющими образ конфликта, являются характеристики языка конфликта. Образ конфликта определяется также особенностями ценностной интерпретации конфликтной ситуации. Основываясь на образе конфликта, который возникает при внесении в информационный поток тех или иных характеристик языка конфликта, могут быть лингвистически спровоцированы (или сконструированы) те или иные конфликты.

Формирование образа конфликта всегда погружено в определенный социальный контекст, поэтому формирование определенных контекстов является также одним из ключевых компонентов лингвистического конструирования конфликтов.

Конфликт в прошлом порождает различные образы конфликта: при рассказе об этом конфликте, например в контексте событий истории определенного государства (в учебниках истории, СМИ и пр.) или истории семьи (воспоминания родных и близких о событиях истории), фигурируют определенные характеристики языка конфликта как средства интерпретации. Сформировавшийся под воздействием различных источников информации образ конфликта содержит характеристики языка конфликта, которые составляют структуру образа конфликта и которые, кроме того, непосредственно связаны с ценностями и ценностными ориентациями. За характеристиками языка конфликта кроются определенные ценности (в этом отображается взаимосвязь ценностных и речевых ориентаций). Эти ценности являются также элементами структуры формирования идентичностей. Именно апеллируя к этой системе ценностей, реализуются «успешные» варианты лингвистического управления социальными конфликтами.

Важным механизмом лингвистического управления конфликтами является также взаимосвязь характеристик языка конфликта с определенным типом дискурса.

Проведение анализа массива текстов углубленных проблемно-ориентированных интервью позволило выстроить несколько типологий языка конфликта, которые могут быть интегрированы в ценностном аспекте.

Прежде всего, можно выделить следующие типы характеристик языка конфликта.

1. Характеристики языка конфликта как маркеры определенного типа дискурса, непосредственно связанные с манифестированием идентичностей.

2. Язык конфликта как средство описания конфликтной ситуации.

3. Язык конфликта как индикатор наличия конфликта интерпретаций, отображающий различия идентичностей. Язык конфликта как текстовые конструкты, сопряженные с конфликтом интерпретации, которые в связи с этим могут привести к возникновению конфликтов (могут быть выявлены при сопоставлении различных источников информации, порой в самом интервью противоречивость суждений позволяет их рассматривать как характеристики языка конфликта).

4. Суждения, которые могут спровоцировать конфликт, например, поскольку могут рассматриваться как дискриминационные практики или «неудобный дискурс».

5. Контекстные характеристики конфликта интерпретации (становятся очевидными при анализе контекста, при сопоставлении различных фрагментов интервью или других текстовых источников информации с основным текстом).

6. Характеристики языка конфликта как результат реагирования на чужой дискурс.

7. Характеристики языка конфликта как результат реагирования на конфликт интерпретаций.

8. Характеристики языка конфликта как показатели солидарностей и разобщенностей (в том числе геополитических ориентаций), связанные с различными вариантами переживания «культурной травмы».

9. Характеристики языка конфликта как объяснение мотивации конфликтного поведения через опривыченные образы конфликтов прошлого.

Конечно, это разграничение условно, и в одном фрагменте характеристики языка конфликта могут одновременно отображать сразу несколько типов одновременно.

Характеристики языка конфликта также могут быть разграничены следующим образом.

1. Явные характеристики языка конфликта, в которых проявляется открытое негативное отношение к определенным субъектам. Это наиболее яркое проявление характеристик языка конфликта, оно может выявляться уже из самого текста без сопоставления с контекстом и конфликтом интерпретаций. Эти характеристики языка конфликта, как правило, представляют собой или содержат семы агрессии, насилия, явные дискриминационные практики и пр. Во многом это тождественно тому, что характеризуется как «язык вражды» [11].

2. Характеристики языка конфликта, содержащие наряду с явными ряд проявлений, которые не могут быть зафиксированы и выявлены сразу, а могут быть обнаружены только при погружении в определенный контекст или при сопоставлении с различными видами текстов. Этот вариант проявления конфликтности в текстах не является достаточно изученным и практически не представлен в современной

социологической литературе, и здесь может быть использован познавательный потенциал лингвоконфликтологической концепции.

Ключевым моментом при анализе предпосылок лингвистического конструирования конфликтов является создание определенного контекста восприятия и образ конфликта. Именно характеристики языка конфликта второго типа – наиболее выраженные предпосылки для лингвистического конструирования конфликтов, поскольку прямое провоцирование конфликтов является слишком очевидным, а потому не всегда эффективным. Гораздо более действенным является способ провоцирования конфликтов с помощью создания определенных контекстов восприятия той или иной информации. В таком случае могут использоваться даже информационные потоки оппонента, противника: например, благодаря предварительно созданным контекстам позитивная информация может восприниматься как негативная. При этом выстраивается цепочка «язык конфликта – образ конфликта – лингвистическое конструирование конфликтов».

Заметим, что некоторые из характеристик языка конфликта проявляются и сами по себе, но некоторые могут быть явно представлены только при сопоставлении либо с другими текстами интервью или текстами учебников, либо с другими фрагментами этого же интервью (понимание контекста, выявление смысловых противоречий по тексту и другие моменты). Это определило необходимость многомерного анализа, неоднократное возвращение к материалу, сопоставление различных фрагментов текстов (кейсов), что и было осуществлено в ходе подготовки рукописи монографии «Лингвистическое конструирование социальных конфликтов», где каждый из типов характеристик языка конфликта проиллюстрирован фрагментами интервью и рассмотрены варианты включенности некоторых из типов характеристик языка конфликта в модели лингвистического конструирования конфликтов в условиях Пограничья.

Лингвоконфликтологический анализ полученного в ходе исследования текстового материала позволил заметить, что образы конфликтов прошлого вплетаются в образы конфликтов будущего, создавая почву для лингвистического конструирования конфликтов, используя доминирующие характеристики языка конфликта.

Как показали результаты реализации лингвоконфликтологических экспериментов, а также лингвоконфликтологическая экспертиза полученных текстов, наибольшая чувствительность к воздействию тех или иных дискурсов проявляется, прежде всего, в двух вариантах. С одной стороны, в том случае, если характеристики языка конфликта, определяющие структуру дискурса совпадают с теми характеристиками языка конфликта, которые были получены на уровне повседневного дискурса в процессе социализации и через сюжеты устной истории. С другой стороны – если это вызывает диссонанс с этими характеристиками. В первом случае конфликт провоцируется через приятие дискурса и в контексте этого дискурса происходит формирование определенных образов солидарности или враждебности, во втором случае это происходит через сопротивление чужому дискурсу, и тогда кон-

фликтная энергия направляется против объектов, представляющихся как носители «враждебного» дискурса. Для юга, запада и востока Украины характерны различные типы наиболее привычных дискурсов, определяющихся различным набором характеристик языка конфликта. Западный дискурс является наиболее однородным и логически непротиворечивым, поскольку для большинства представителей Львова сегодня совпадает устная история и легитимный дискурс. Основные характеристики языка конфликта сконцентрированы вокруг идеи независимости Украины в плане выражения негативного отношения к любым проявлениям, которые в прошлом, настоящем или будущем могут реализации обретенной независимости каким-то образом мешать, вредить или угрожать (именно в этом контексте рассматривается русский язык как второй государственный и потенциальное сотрудничество с Россией). Для восточного дискурса характерна неоднородность, отсутствие целостности, противоречивость, что связано в определенной мере с рассогласованием современного легитимного дискурса (в частности, в вопросах интерпретации событий истории) с некоторыми из сюжетов устной истории и истории семьи. Наиболее ярко это проявляется на уровне поколения 2. Если во Львове суждения этого поколения являются достаточно непротиворечивыми, то в интервью харьковчан, представляющих это поколение, заметны явные смысловые и логические противоречия по тексту, проявляется рефлексия респондентов и амбивалентность суждений по ряду принципиальных вопросов.

Как показал анализ текстов интервью с представителями АР Крым, здесь существуют *два различных доминирующих дискурса*. Первый характерен для крымских татар и в значительной мере по своим структурным характеристикам языка конфликта перекликается с характеристиками языка конфликта львовян в восприятии России как наследника имперских амбиций, как потенциальной опасности для самоутверждения и самореализации нации. Как львовяне, так и крымские татары озвучивают в своих интервью целый ряд характеристик языка конфликта, оговаривая то, как пострадал украинский и крымско-татарский народ в советское время (в современной интерпретации – «от сотрудничества с Россией»). Для крымских татар здесь фигурирует прежде всего сюжет, связанный с выселением в 1944 г. представителей крымско-татарского народа из Крыма, а в интервью львовян фигурируют различные исторические сюжеты потери независимости или борьбы за независимость, связанные с теми или иными историческими периодами – Богдана Хмельницкого, Петра I и Екатерины II, революции 1917 г. (как контрреволюции по отношению к украинской революции, ставившей своей целью обретение независимости), сталинских репрессий после 1939 г., послевоенной борьбы в конце 40-х гг. XX в. и пр. *Второй дискурс* – доминирующий в Крыму прорусский дискурс, и здесь все значительно однородней и последовательней (в плане непротиворечивости текстовых структур в интервью), чем на востоке Украины, поскольку в Крыму остается значительным влияние российских СМИ, что во взаимодействии с доминирующими сюжетами устной истории и восприятия себя, прежде всего, в потоке «об-

щеславянской истории» создает однородную непротиворечивую картину внутри этого дискурса, но дает возможности манипуляции с помощью «конфликтных дискурсов» (в частности, посредством ценностной актуализации вопросов о русском языке и о статусе «коренного населения» Крыма). Именно эти вопросы, учитывая противоположность ряда характеристик языка конфликта в этих двух противоположных дискурсах, создают наиболее явные предпосылки лингвистического конструирования конфликтов.

При этом следует учитывать, что наиболее эффективным оказывается управление конфликтными ситуациями с помощью определенных контекстов. При формировании контекстных полей особую роль играют повседневные практики, в том числе ретранслируемые через кинематограф и пр. Управление не текстами, а контекстами, связанное с ассоциативно возникающими образами конфликтов в прошлом и в будущем и прочими моментами, наиболее ярко иллюстрируется примером контекстного формирования восприятия крымских татар как коренного населения через различные формы протестного поведения и пр.

С чем связана готовность воспринять или отвергнуть те или иные варианты лингвистического конструирования конфликтов? Реализация проекта «Лингвистическое конструирование социальных конфликтов в условиях Пограничья» позволила выявить следующие основные моменты.

Во-первых, если определенная (даже агрессивная) позиция будет представлена с использованием характеристик языка конфликта, созвучным типовым характеристикам языка конфликта, характеризующим аудиторию, на которую осуществляется воздействие, то это будет воспринято с большей вероятностью, чем в случае использования «чужой лексики». Это означает, что использование в пропагандистской продукции характеристик языка конфликта такой формы, которая созвучна типовым характеристикам языка конфликта аудитории, на которую осуществляется воздействие, позволит усвоить даже агрессивное содержание.

Во-вторых, определенные характеристики языка конфликта вызывают определенную цепочку ассоциаций, порождающую определенный образ конфликта, и это дает возможность управления ситуацией с помощью определенных контекстов.

В-третьих, в значительной мере на восприимчивость к тем или иным вариантам лингвистического конструирования конфликтов влияют социокультурные идентичности, причем характеристики языка конфликта могут рассматриваться как ценностно-актуализированные структурные компоненты лингвистического конструирования конфликтов.

Таким образом, современная Украина может рассматриваться как один из регионов Пограничья, включающий подрегионы с различными тенденциями тяготения и доминирующими полями притяжения и с различными типами дискурса, отображающими эти тенденции.

Перспективной задачей дальнейших исследований Украины как Пограничья представляется выявление и анализ факторов, определяющих готовность перейти от языка конфликта к конфликтному действию.

Литература

1. Козер Л. Функции социального конфликта / Пер. с англ. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000.
2. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социологические исследования. 2001. № 1, 2.
3. Даниленко О.А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии // Социологические исследования. 2006. N 4.
4. Даниленко О.А. Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от конструирования истории – к формированию социокультурных идентичностей. Вильнюс: ЕГУ, 2007.
5. Конфликты в современной России: проблемы анализа и регулирования / Под ред. Е.И. Степанова. М., 2000.
6. Жежерун В.Т., Проценко О.Ф., Рибалка В.Г. Соціокультурний сенс конфлікту у військових колективах. Харків, 1996.
7. Шаленко В.Н. Социология. Учебник для вузов. М., 2003.
8. Парсонс Т. Общий обзор // Американская социология: Перспективы, проблемы, методы: Пер. с англ. М., 1972. С. 360–378.
9. Даниленко О.А. Социологическое измерение конфликта. Х., 2003.
10. Серио П. Анализ дискурса во французской школе [дискурс и интердискурс] / Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 549–562.
11. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
12. Язык Вражды в предвыборной агитации и вне ее. Мониторинг прессы: сентябрь 2003 – март 2004 г.

МАРКИРУЯ ДРУГОГО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ УКРАИНЦЕВ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

*И х а р е в . И как я подумаю, что при этом еще
нужны познания, основанные на остроте глаз,
внимательное изучение крапа...
У т е ш и т е л ь н ы й . Да ведь это очень облегчено
теперь. Теперь накрапливание и отметины вышли
вовсе из употребления; стараются изучить ключ.
Н.В. Гоголь «Игроки»*

Представленная монография является результатом длительной работы сначала на индивидуальном уровне, а потом и на коллективном в рамках проекта CASE украинских исследователей Миланы Николко и Елены Грицай. Работа сфокусирована на прикладном материале украинских политических текстов с 2004 г. и по настоящее время, однако некоторые части текста затрагивают и более ранний период украинской независимости.

Начиная работу над исследованием, мы поставили себе целью на примере Украины наметить тенденции формирования новых наций на постсоветском пространстве в условиях постколониализма, системообразующим ядром которых, как мы изначально предполагали, является концепт «Другой». Предметом данного исследования является трансформация национальной идентичности украинцев в период государственной независимости Украины, или, другими словами, национальная идентичность в трансформирующемся украинском обществе через призму изучения политических текстов о Другом.

Современные определения Другого можно ранжировать по подходам, научным направлениям, предметам исследования¹.

¹ См., например, внушительное по объему исследование Б. Вальденфельса [3] или работы О. Довгополовой [6].

Предложенное исследование ориентировано на изучение политической, культурной и этнической составляющих, поэтому и исследование позиции Другого будет осуществляться внутри этих областей. На исходном этапе работы концепт был проинтерпретирован нами как саморефлексия обретающих самостоятельность наций, для которых наличие некоего Другого является необходимым условием актуализации персонального Я или, как в случае с национальными процессами, коллективного Мы. Бринкер-Габнер вслед за Э. Левинасом, указывает, что отрицание инаковости (другости) Другого [1] является центральной проблемой западной философии с середины XVII в. Переиначив эту мысль в контексте предложенного исследования, можно заявить: поиск Другого является центральным пунктом в конструировании современных наций. Без отграничения (маркирования на первом этапе) от *ближнего, соседнего, дальнего, чужого или исторически предшествующего* Другого невозможно оформление целостного конструкта Я/Мы. Так, к примеру, М. Фуко центрировал большинство своих работ на изучении процессов исключения Другого в европейской истории. Для Украины проблема исключения Другого в контексте постколониального национального строительства стоит довольно остро.

В политических текстах маркирование политического оппонента, соседней страны или даже исторические сюжеты приобретают черты Другого, то есть Не-Своего, того, что мы не хотели бы впускать в собственное пространство. Украинская исследовательница О. Довгополова пишет: «В отличие от интимно близкого пространства, в котором объекты предстают в своей индивидуальной специфике, социальное пространство базируется на сформировавшейся в процессе функционирования общества системе типизаций». И далее: «Таким образом, Другой в социальном пространстве – это действующий элемент построения и функционирования обжитого пространства, который может быть истолкован в существующей здесь системе типизаций» [6, с. 278]. Типизации и текстуальным практикам легитимации Другого в пространстве устной или письменной речи посвящен первый раздел работы.

Образу Врага-идентификатора противопоставит позитивный Образ Чужого, могущий стать ориентиром для развития данного социального пространства. Анализ текстов современной украинской политики позволяет описать их идентифицирующие характеристики. Позитивный Образ Чужого зачастую оказывается зеркальным по отношению к данному обжитому пространству, вскрывая негативные характеристики собственного мира. Особенно актуален анализ.

Особый сектор в политических текстах занимает Отторгаемое [6] – комплекс феноменов, неприемлемость которых для данной картины мира оказывается доказанной и истолкованной. Конструирование Отторгаемого – завершающий этап в построении целостной топографической карты Другого.

Итак, Другой попадает в мою систему смыслов и отношений через определенные легитимационные процедуры, которые осуществляются в несколько этапов: *распознавание, опыт коммуникации, привычка общения* с Другим (выработка хаби-

тусов), *рефлексия опыта* коммуникаций с Другим в сознании и *натурализация* Другого, встраивание его в свою комфортную картину мира.

Исследование состоит из двух частей. В первой части предпринимается попытка изучить методологические подходы и методы ре-конструкции текстов о Другом. Через постижение, институализацию и варианты прочтения Другого анализируются наборы практик интерпретации Другого в современном медиа-дискурсе и повседневных коммуникациях.

Текстуальное пространство Другого составляет значимый фактор политической жизни современного общества. Пространства политических текстов, в которых так или иначе проявляется Другой (Иной, Чужой, «Враг» в терминологии К. Шмидта), задает потребителю текста ориентационную схему, влияющую на последующее поведение. Единовременные ориентации складываются в достаточно устойчивые «топологические карты» политических ландшафтов.

Первый раздел «Постигая Другого: методы исследования политических текстов» посвящен обзору теорий и методов презентации Другого в современных дискурсивных практиках. Логика представленного материала развивает последовательность от теории интеракции к практике управления и анализа коммуникаций. Были проанализированы социально-лингвистические тексты в границах европейской традиции, анализирующие возможность интеракций и коммуникаций с Другим. Особое внимание уделено процессу легитимации Другого. Под легитимацией мы будем понимать процесс комфортного встраивания Другого в Мою картину мира. Процесс встраивания, выделения самостоятельной ниши для Другого, действующего в границах своих (других) правил, законов и норм поведения, происходит постепенно. Анализ политической реальности современного украинского общества свидетельствует, что процесс происходит неравномерно, обрывочно.

Подраздел «Читая Другого» посвящен анализу практик текстового распознавания Другого. Опираясь на базовый подход дискурс-анализа текстов, мы представляем две модели анализа: метод метафорического моделирования политических текстов русского лингвиста А. Баранова на примере анализа избирательного рекламного материала 2004 г. в Украине и структурный анализ повседневных коммуникаций с позиций исследования социальной сплоченности, солидарности и социального капитала группы (авторская концепция). Исследование процессов седиментации/реификации в коллективном сознании этносов базируется на данных количественного и качественного анализа масс-медиа Украины.

Второй раздел «Политические практики конструирования национальной идентичности в независимой Украине» посвящен анализу возможностей сопоставления разновидностей текстовой продукции, формирующих представление о «Другом». Раздел посвящен анализу идеологической конструкции украинской государственности, а также исследованию практик повседневного общения в Украине.

Предметом изучения второго раздела книги является трансформация политико-идеологической составляющей национальной самоидентификации украинского

общества, а также то, как системы политических мифов оседают в основаниях индивидуального сознания «рядовых потребителей» национальной идеологии.

Используя идею Б. Андерсона о том, что этнос в значительной степени есть воображаемое единство, мы на первый план выдвигаем изучение символов единства, специфических тем и моделей коммуникации, присущих нации. Конструирование представлений о единстве нации, осуществляемое в обыденных коммуникациях посредством рассказывания анекдотов на этническую тему, не менее важно, чем декларативная активность национально-политических организаций. В прикладной части раздела используется методика анализа фольклорного материала А. Дандеса. Обосновывается тезис, что этнический анекдот как вариант автостереотипа осуществляет *о-сознание* группы через сравнение и сопоставление с другими группами. В отличие от идеологических текстов это, скорее, не категорическое «Мы», а рефлексивное «Наши». Посредством дистанцирования группа формирует представление о своих символических границах в глобальном культурном поле, а ирония позволяет сглаживать нарождающиеся внешние и внутренние противоречия.

Изучение и сопоставление циркуляции разного типа текстов по этнической проблематике в Украине дает интересную картину вовлеченности этнической составляющей во властные проекты создания новой политической нации. Внутриэтнические коммуникации несут яркий оттенок совместной истории, распространенных преданий, легенд, пословиц и поговорок.

В этом разделе представлен подраздел, обращенный к осознанию Я/Мы как Другого в исторической перспективе. Культурные и политические трансформации в Украине вызывают чрезвычайно интересные феномены, суть которых обозначать, маркировать исторические эпохи. Таким феноменом, на наш взгляд, является появление Трикстера.

Большая часть раздела посвящена анализу стратегем национальной идентичности периода независимости Украины. Центральной идеей выступает мысль, что по сути единой стратегии нет. На протяжении ряда лет политики полемизируют о национальной идее, однако ни одну из попыток внедрения стратегии нельзя назвать успешной или хотя бы завершенной. Зачастую новые предложения только усиливают социальное напряжение и ведут к радикализации настроений людей.

Возвращаясь к анализу украинского национального самосознания и самопозиционирования, у нас оказалось больше вопросов, чем готовых ответов на них.

Может ли Украина иметь свою идею, то есть определять себя, не привлекая для этого концепт «Другого»? Не является ли такой поиск идеи определенным насилием над природой украинской идентичности, попыткой построить свою идентичность по тому же принципу, по которому конструируется идентичность, к примеру русская? Потому, возможно, так затруднено определение национальной идеи Украины, что таким способом поставленный вопрос – о национальной идее – чужд украинской традиции.

В силу того что независимая Украина, при всем богатстве традиций украинской националистической мысли и практической борьбы, все же не так давно действительно впервые появилась на карте, национальная самоидентификация украинцев не может не претерпевать изменений. В определенном смысле она только еще формируется, и происходит это в эпоху глобализации, а также в ситуации несвободы Украины от мировых ключевых игроков в силу условий, неоднократно указываемых З. Бжезинским и другими авторами – в первую очередь, в силу цивилизационной, культурной, географической близости к России и общности истории с ней.

Как эта идентичность должна и может сформироваться, каковы ее основания и принципы – вот вопрос, на который ответ пока не найден. Должно ли это происходить по тому же типу, что традиционно присущ Украине – через соотнесение себя с «другим», или есть основания теперь быть более самостоятельными в этом процессе? Есть ли у украинцев шанс преодолеть традиционный провинциализм и не означала ли бы, в свою очередь, такая существенная смена идентификационной стратегии утрату одного из базовых принципов самоидентификации украинской нации? Одно очевидно: с развитием украинской действительности, со сменой исторических условий характер, принципы самоидентификации населения также должны меняться.

Однако есть сторона проблемы, которая как-то уходит из-под внимания исследователей. Дело в том, что принимается безоговорочно сам факт необходимости формирования национальной самоидентификации, где национальное – ключевая ее характеристика. Негласно подразумевается, что украинская нация и государство нуждаются в развитии именно национального самосознания и сама попытка задать вопрос о целесообразности развития национальных психологических корней была бы расценена как чуть ли не измена национальным интересам. «Самосознание нации» и «национальное самосознание» представляются при этом одним и тем же понятием, и в некоторых случаях они действительно могут быть взаимозаменяемы, однако не всегда. Различие между ними есть, и в определенных случаях оно может быть существенным – в зависимости от того, как мы обращаемся с понятием и для чего его привлекаем.

Когда говорят о национальном самосознании, могут иметь в виду именно самосознание нации, и тогда эти понятия правомерно использовать в качестве синонимов. Однако бывает, что, говоря о национальном самосознании, имеют в виду следующее: категория национального и весь понятийный ряд, тянущийся за ней, является центральным конструирующим пунктом в самосознании определенной общности. В этом случае понятия вовсе не синонимичны. Однако это различие практически никогда не артикулируется, и происходит скольжение смыслов, ситуативно изменяющих объем и содержание понятия, которое в этом случае не может выступать достаточно адекватным орудием мысли – только удобным орудием манипуляций, даже и невольных.

Если все же разграничить эти понятия, то встает тот самый «кошунственный» вопрос: действительно ли развитие именно национального – то есть на основе национального – самосознания необходимо Украине сегодня? Почему не политического, экономического, культурного, экологического, потребительского или какого-то другого – возможно, по ключевой для Украины проблеме? Почему делается акцент на отличии украинцев от «других», то есть проводятся разделительные линии с той же Европой при всей интеграционной риторике? Почему не развитие европейского или глобалистского сознания – в зависимости от того, какие геополитические приоритеты окажутся наиболее выгодными для Украины сегодня и в перспективе? Не является ли такое замыкание на себе в эпоху неизбежной глобализации ложным путем самопознания и самопозиционирования? И не означает ли постановка вопроса о развитии именно национального самосознания проявлением все того же пресловутого украинского провинциализма, который для самоопределения непременно нуждается в категории «другого», даже если этим другим теперь представляют не другого, а себя – «мы, вообще-то, тоже европейцы, но другие»? Это «другие мы», как правило, имеет четкий привкус онтологической ущербности, которую пытаются компенсировать предикативно: «зато какое у нас козацкое прошлое!..» Или не козацкое, а то, о котором говорит О. Забужко: «Классическим с точки зрения колониальной психологии феноменом является своеобразный, на протяжении практически всего столетия создаваемый... культ Роксоланы, женщины, безусловно, неординарной, типично ренессансной (качества, которые вряд ли тогда могли ярко проявиться в Украине!), но сложно представить, чтобы какой-нибудь уважающий себя народ впадал в приступ патриотической гордости от того, что его дочь украшала чужие гаремы» [7, с. 44–45].

Колониальная психология – мыслить себя в качестве «другого» или в отношении к нему. Возможно, у Украины с независимостью появился шанс отказаться от этого исторического наследия – колониализма в ментальности. Если ценой такого освобождения станет отказ от центрального места национального в его, по большому счету, этническом понимании, можно ли говорить, что цена слишком велика?

Сам по себе вопрос о целесообразности национальной самоидентификации не содержит в себе негативного ответа, это не намек на то, что – нет, национальная самоидентификация не нужна. Однако этот вопрос должен быть поставлен, чтобы ответ на него был осознанным и ответственным, и вообще – был.

Формировать новую идентичность сложно, даже руководствуясь старыми/привычными понятиями, а уж формировать ее на абсолютно другой основе – невозможная задача ни для обыденного сознания для человека/сообщества, укорененного в повседневность, ни для того типа политических элит, которые представлены сегодня в Украине. Для такого нужна социальная смелость, которая приходит только с большими кризисами, или, напротив, с благополучием на той его стадии, когда оно становится разрушительным для личности в силу отмирания мотивации, исчезновения «энергии желаний» – что для психики также является кризисным состоянием.

Во всяком случае существует альтернативный взгляд на тему национализма в современную эпоху и необходимость развития самосознания нации именно как национального. Позиция, при всей ее одинокости на фоне националистического воодушевления в рядах гуманитариев, все же достойна внимания и обсуждения, хотя бы из уважения к демократическим принципам: «**Неподатливость к национализму** (sic!) населения Беларуси, востока и юга Украины можно интерпретировать как результат не столько их “совковой ущербности”, сколько наибольшей вовлеченности в современную высокотехнологичную экономику, предполагающую высокий образовательный ценз и развитые навыки рационального мышления» [9, с. 184].

По ходу же исследования изучение современных ре-конструкций концепта и обработка полевого материала высветили новые аспекты проблемы национального самопроектирования посредством конструирования и реконструкций Другого. Другой не только отправная точка в формировании национального конструкта Украины, это растущая напряженность внутри страны. Маркеры социальных отношений указывают на волновые тенденции в оформлении Другого (инородного, чужого) в межэтнических отношениях, в освещении языковых проблем, в разговорах о расколе Украины и в разнообразных попытках интерпретации истории. Рост радикальных настроений в украинском обществе свидетельствует о болезненном переживании Другого как чуждого и опасного.

Именно эта конфликтная стратегия во многом задает, по нашему мнению, тенденции трансформации идентичности украинцев, работая сразу по двум основным векторам: в качестве внутреннего раскола нации (точнее, политических симулякров раскола) и в качестве так называемого «самоколонизирования» нации, в процессе которого раскол происходит внутри не только нации, но индивида, и исключение происходит как самоисключение. Разумеется, эта стратегия задает суицидальные тенденции национальному самосознанию и чрезвычайно выгодна для политических манипуляций, но никак не для преодоления кризиса и развития в Украине здоровой конкурентоспособной европейской нации.

Почему именно проблема трансформации идентичностей так актуальна для современной Украины? Идентификация, а тем более самоидентификация, означает, прежде всего, процесс называния, именованя – поиск имени, адекватно выражающего суть феномена и, в свою очередь, задающего этому феномену направление и режим развития. Сама по себе трансформация национального самосознания не является проблемой, поскольку происходит постоянно, более или менее активно, более или менее заметно, на протяжении всего существования нации. Проблемой стала та болезненность, с которой трансформации происходят в Украине, а также их комплексный характер. Недостаточно сказать, что происходящая трансформация носит социетальный характер; скорее, имеет место трансформация самой социетальности, ее системообразующих начал. Мы имеем в Украине трансформацию не только политическую, экономическую, идеологическую и др., а ту трансформацию

культуры в целом, которая включает все аспекты, как названные, так, возможно, еще даже и наукой нечетко артикулируемые, а определяемые больше философски или даже просто метафорически в силу неопределенности предметных границ простирающихся феноменов. Трансформация оснований культуры – а именно с этим мы имеем дело в так называемых постсоветских странах – процесс внутренне неоднородный и неодновременный, и понять его можно, только расчленив процесс на составляющие и проследив их взаимовлияния. Эти трансформации – не абстрактный конструкт, они касаются судеб миллионов, а будучи во многом результатом также и геополитических факторов, в свою очередь возвращают украинскому обществу «удар» от волны геополитических изменений на виртуальных политических границах Украины. Нация – виртуальное сообщество (мы несколько переиначили идею Б. Андерсона), соответственно, национализм – дискурсивная формация, формы риторик. Это значит, что национальное представлено дискурсивно, и множественность дискурсов задает множественность национального. Много наций в одной, политические силы предлагают свои дискурсы и картинки в борьбе за электорат, и проценты решают, какой образ нации, какой дискурс победил.

Усложняется дело тем, что сами дискурсы происходят не из понимания политиками интересов страны и нации, а из попыток угадать настроения электората. То есть образ национального оказывается конъюнктурным, где интересы отдельных групп представлены как интересы нации. Легкость манипуляций с категориями национального – возможность практически любой ставки в ситуации социальной стратификации (какую идею ни предложишь – она найдет своего покупателя) – делает национальный вопрос удобным для политических манипуляций. Тем более что история национализма долга и разнопланова. М. Хетчер утверждает, что национализм в современном мире стал наиболее преобладающим ресурсом политических конфликтов и насилия в мире.

В качестве основного вывода можно сказать, что в ходе совмещения теоретических и прикладных моделей изучения коммуникации с Другим мы пришли к распознаванию актуальных моделей политической коммуникации украинской действительности.

Литература

1. Encountering the other(s) studies in literature, History and Culture. Binghamton University, 1991.
2. Wilson A. The Ukrainians. Unexpected Nation. Yale University Press, 2000.
3. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого. Київ: ПП, 2002, 2004.
4. Головаха Е., Панина Н. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до «оранжевой революции» // Социология: теория, методы, маркетинг. № 3/2006. С. 32–51.

5. Гужон А. Новые соседи Европейского Союза: Политические и идентифицирующие стратегии в Украине, Беларуси, Молдове // Перекрестки: Журнал исследований восточно-европейского пограничья. №1–2/2005. С. 187–228.
6. Довгополова О.А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства: Монография. Одесса: СПД Фридман, 2007.
7. Забужко О. Женщина-автор в колониальной культуре // Перекрестки: Журнал исследований восточно-европейского пограничья. № 3–4/2005. С. 35–65.
8. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.
9. Носевич В.Л. Пограничье как отложенный выбор // После империи: исследования восточно-европейского Пограничья: Сб. статей. Вильнюс: ЕНУ-international, 2005. С. 183–189.

ПРОБЛЕМАТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ПОНЯТИЯ «ПОГРАНИЧЬЕ»

Наша повседневность связана с разными сферами жизни – духовной, культурной, религиозной, социальной, экономической, политической и т.д. – и реализуется в них. Как раз эти и другие элементы социального устройства в процессе их взаимодействия составляют основу социальной жизни. При их взаимодействии вырабатываются социальные нормы, ценности, роли. Таким образом формируется специфика, своеобразие, уникальность отдельного социума как большой устойчивой социальной общности. Она характеризуется единством условий жизнедеятельности людей, общностью культуры, культурного наследия и традиций. Социум – это то пространство, на котором формируются и развиваются социальные группы, культуры, национальности, государства, возникают такие явления и феномены, как Пограничье, регионализм, локализм, глобализм и т.п. Это то, что каждый раз задает вопрос: что же меняется с века на век, день ото дня? Что? Как? И почему? Что становится более или менее важным и почему это происходит? Почему все чаще возникает тема Пограничья и какие вопросы она рассматривает?

Проблематика Пограничья – это достаточно юная тематика, хотя о ней в самом широком смысле говорилось и раньше. Однако тогда более подчеркивались такие явления, как дуализм, социальные, культурные и другие различия или, наоборот, сходства. Наверное, понятия такого рода становятся уже не достаточными для описания тех феноменов, которые происходят сегодня и вкладываются в смысл понятия «Пограничье». Почему? На этот вопрос ответить не так просто, так как явления нынешнего мира все более усложняются¹. Усложняется и их понимание, толкование. Исследования явлений такого рода требуют сотрудничества, по крайней мере, нескольких наук, и этому

способствует разносторонность самого объекта. Большинство локальных исследований напрямую связаны с гуманитарными науками, в первую очередь с историческими, этнологическими, филологическими. Все-таки Пограничье – это, прежде всего, проблематика и тематика социальных наук, поэтому явления Пограничья в первую очередь становятся объектом социологии, психологии, антропологии. Наряду с исследованиями в рамках этих наук важным становится взнос биологии, управления, менеджмента, особенно экологии и других наук. Как эмпирические, так и теоретические научные исследования такого рода берут на себя миссию формирования новой междисциплинарной позиции и методики, которая позволила бы описывать и анализировать зарождающиеся на Пограничье новые феномены, оставаясь при этом открытой изменениям и не давая окончательных наименований. В этом смысле Пограничье – это тот термин, которому невозможно принудительно придать окончательный смысл, так как он быстро меняется. Почему? В первую очередь потому, что во влиянии все ускоряющегося процесса глобализации сегодня размываются всякие границы. Кроме того, на понимание, восприятие и толкование, даже самое понятие «Пограничье» все сильнее влияет процесс глобализации. И хотя у глобализации все еще отсутствует единое, точное и неспорное определение, она, по мнению Д. Гелда, Д. Голдблатта и др., отражает широко распространенную точку зрения, что экономические и технологические явления и их прогресс сплавивают весь мир в общую социальную среду. Поэтому процессы, происходящие в одном регионе мира, могут иметь (в действительности и имеют) большое, даже решающее влияние для жителей, сообществ, государств земного шара². Существует мнение, что глобализацию можно понять и как развитие, распространение, углубление и ускорение взаимных связей всех аспектов современной социальной жизни на мировом уровне, включая сферу культуры, политики, экономики, финансов и т.д. В научной литературе указываются и другие признаки глобализации – проявление мирового рынка, мировой политики, коммуникаций и межконтинентальных структур, стандартизация культуры и ценностей, космополитизм, международный туризм, такие мировые проблемы и вопросы, как экология, борьба за права человека и т.д.³ Это означает, что глобализация охватывает те процессы, которые сплавивают людей всей планеты для решения общих проблем и вопросов. В этом контексте понятие «глобализация» в каком-то смысле становится как бы паролем, магическим заговором, с помощью которого, казалось бы, можно открыть все секреты как настоящего, так и будущего. Глобализация связана и с причинами всяких проблем, воспринимается как неизбежный и невозвратимый процесс предопределения нынешнего мира, более или менее влияющий на каждого человека. Все-таки, по словам Д. Гелда, Д. Голдблатта и др., само понятие «глобализация», как и другие «модерные» слова, становится все более размытым⁴, так как сам феномен глобализации гораздо сложнее, чем это может показаться с первого взгляда. Сам термин «глобализация» (иначе называемый как «стяжение времени и пространства») на самом деле не претендует объяснить все проблемы и явления бытия нынешнего мира. Внимание уде-

ляется другому аспекту, особенно тому, что глобализация как объединяет, так и разъединяет. И причины разъединения мира – те же самые, что и поощряющие единообразия. Это естественный процесс, так как потоки финансов, торговли, информации и т.п. приобретают мировой уровень, а вместе с тем начинается не только процесс объединения, но и локализации, регионализма и т.д. Иначе говоря, свое место в нынешнем мире получает не только всемирное, но и локальное пространство. Распространяется уверенность, что нет (и не может) быть одной для всех монолитной, гомогенной культуры, так как все более проявляется и усиливается полилог более или менее мирно сосуществующих, хотя часто друг друга трудно понимающих групп, культур, обществ. Еще более: эти друг с другом тесно связанные процессы нынешнего мира – локализация, регионализм, глобализация – предопределяют более или менее строгие различия целых сообществ и слоев населения. С одной стороны, быть локальным в глобальном мире – это признак социального различия и оседания, так как в условиях локальности общественные пространства становятся все более зависимыми от более крупных структур и устройств. С другой стороны, локальность дает возможность выявить свойственность, разновидность группы, общества, культуры, страны и таким образом стать интересным, привлекательным для других, принять равноправное участие в конкуренции как в сфере экономики, торговли, так и в сфере культуры, туризма и т.д. В этом смысле процессу глобализации свойственна все возрастающая пространственная сегрегация и исключительность⁵. Это, в свою очередь, способствует поляризации культур, обществ, групп и предопределяет проявление новых процессов глобализации, особенно говоря о локальных структурах, где возникает, проявляется и развивается своеобразие культуры, образа жизни, традиций, менталитета и т.д. Именно здесь возникают разные явления Пограничья. Почему?

Прежде всего в процессе глобализации физические параметры пространства становятся вторичными, а первичными оказываются социальные, культурные аспекты и факторы. Само пространство в нынешнем мире становится в сущности другим – сконструированным, искусственным, опосредованным, рационализированным⁶. Технологическое преодоление расстояния, пространства и времени не гомогенизирует бытие человека, но еще более его поляризует. Одних это освобождает от территориальных ограничений, у других вызывает вопросы и проблемы идентичности. Некоторых это освобождает от физических препятствий, давая возможность и способность действовать на расстоянии, для других это становится знаком невозможности сделать «цивилизованным», современным место жительства, оказывающееся «на периферии киберпространства». В этом смысле киберпространство предопределенно и неозвратно влияет на жизнь любого человека, общества, государства, культуры. Особенно важным становится публичное пространство как формирующее (иногда даже детерминирующее) общее мнение, ценности, нормы, формы поведения и т.п. Важным и почти неизбежным знаком глобализации стало распространение крупных торговых центров – центров не только торговли,

но и развлечений. Почти в каждом современном торговом центре предлагается множество аттракционов. Здесь люди не поощряются спокойно поговорить, дискутировать о чем-нибудь другом, кроме как о материальных вещах и развлечениях. Это становится определяющим признаком как в крупных городах, так и на периферии. Именно обстоятельства такого рода выявляют важные, сущностные изменения в публичном пространстве. Как и почему? Раньше в местах массовых скоплений людей создавались нормы, принимались решения, осуществлялась справедливость. Для этого использовалась площадь города как важнейшее место собрания людей. В нынешнем мире публичное пространство обретает совсем иной смысл и дает мало возможностей совместно критически рассматривать, анализировать нормы, ценности и/или сомневаться в них. Все решения, иногда даже указания, что хорошо или плохо, красиво или отвратительно, полезно или нет, в каком-то смысле спускаются «сверху» и становятся как бы неоспоримыми⁷. Почему? Хотя бы потому, что этому почти невозможно дать ответа соответствующего уровня. Например, в нынешнем мире средства массовой информации (далее – СМИ) являются одним из основных источников и факторов социализации и наших представлений об окружающем мире. По словам Д. Маккуэла, они ежедневно принимают участие в создании общего представления о реальности, даже если это влияние и не осознается⁸. Еще более – это влияние проявляется не только на общественном, но и на индивидуальном уровне. То есть средства массовой информации передают нам не только информацию, но и ценности, «наше мнение». Вместе с другими факторами и социальными институтами они формируют наше мироощущение и мировоззрение, создавая целостную картину окружающего нас мира, наши установки по отношению к разным социальным меньшинствам общества, например религиозным, этническим, сексуальным и т.п. Вместе с тем СМИ заранее решают, какие события, проблемы, явления важнее, на какие из них нужно обратить внимание, а какие можно (или даже надо) просто игнорировать. Таким образом, они вроде бы приносят заранее изготовленный публичный мир в частное пространство, формируя миропонимание отдельного индивида, региона и т.д. В СМИ мы находим образцы и модели поведения, ценности, понятие и восприятие социальной реальности. Именно поэтому с научной точки зрения все чаще возникает вопрос, каким же образом СМИ оказывают влияние на читателей, радиослушателей, телезрителей, потребителей Интернета? Как та или иная группа навязывает индивиду и обществу то или иное видение и восприятие события, проблемы, явления, социальной реальности? Важными в этом процессе становятся разные группы – группы интересов, политиков, предпринимателей, организации религиозных, общественных движений и т.д. В этом контексте разные группы заявляют о различных проблемах, явлениях и стараются обратить на это внимание, формировать одно или другое видение проблемы, утвердить некие «свои» ценностные ориентации, нормы поведения и т.д. В этом смысле заявление о социальных проблемах в СМИ не только захватывает внимание, но и дает свои интерпретации, представляет ценности, формирует миропонимание и миро-

воззрение. Тем не менее СМИ можно воспринять и как отражение социальной реальности, а также как важное средство объяснения и восприятия этой реальности. Как это понять? Информация о событиях раньше всего поступает в СМИ и только затем становится доступной широкой общественности. То, какие события предпочитают и передают СМИ, отражает не только понимание и восприятие этих событий и явлений, но и реакцию общества на них. Именно поэтому то, сколько внимания в СМИ уделяется вопросам Пограничья в самом широком смысле, показывает не только точку зрения общества на него, но и его восприятие, осознание, толкование. Это происходит из-за того, что СМИ не только указывают, *о чем* нам думать, но также и то, *что* нам думать о некоторых объектах, проблемах, явлениях. Они являются одной из наиболее важных «публичных арен», на которых проблемы не только отбираются, определяются, представляются общественности, но и дискутируются, интерпретируются. Иначе говоря, СМИ не только представляют важные события и факты, но и интерпретируют их, формируют точку зрения, отбирают, что важно и что нет, и разными способами – фотографиями, масштабом заголовка, рекламой и т.п. – обращают на это внимание, усиливают эффект восприятия. Все это становится топографическими знаками, которые помогают читателям, слушателям и т.д. ориентироваться в массе информации, понять и воспринять ее, также каким-то способом на нее реагировать. В этом смысле, по словам Д. Маккуэла, СМИ «не зеркально отражают реальность, но отчасти ее формируют»⁹, оказывают влияние. Все это дает повод говорить о публичном дискурсе как о факторе и отражении восприятия социальной реальности также и при понимании явлений Пограничья. В этом смысле публичный дискурс и киберпространство становятся одними из важных источников и факторов не только ценностных ориентаций, мироощущения и мировоззрения, но и понятия и восприятия явлений и проблем Пограничья. Например, исследования прессы Литвы показали, что в ней отражается (тем самым и формируется) негативное отношение, даже дискриминация, к разным религиозным меньшинствам, восприятие их исключительно как секты, при этом не опираясь на достоверные источники. Это тоже пример пограничного явления, если это понимать в широком смысле.

Глобализация связана и с другим явлением – понятием расстояния и преодоления его. «Очень далеко» – это пространство, на которое мы попадаем исключительно редко или даже никогда, поэтому нам мало что известно о происходящих в этой окрестности событиях. Более того – мало кто чувствует себя обязанным об этом заботиться, так как оказаться «очень далеко» – это более или менее негативный опыт. Это означает как бы уход за пределы своего горизонта, когда чужое пространство и стихии создают трудности разного рода и вызывают необходимость усваивать правила чужой жизни, так как существует противостояние между «здесь» и «там», «близко» и «очень далеко»¹⁰. С другой стороны, появление мировой компьютерной сети («www») изменило самое понятие путешествования в смысле обмена информацией и преодоления расстояния. Теоретически и практически ин-

формацию в нынешнем мире можно мгновенно, в сию минуту получить почти в каждом месте земного шара. Общие последствия такого рода развития огромные, а влияние на социальное взаимодействие – неоспоримо. Уже видно, какую роль время, пространство и виды их преодоления играли как для формирования, так и для изменений социального, культурного и политического устройства, также какую роль они играли при поддержании их стабильности и гибкости. По словам М. Бенедикт:

«единство, которое из-за почти внезапного и почти ничего не стоящего натурального речевого общения, также общения объявлениями и изображениями было возможно в маленьких сообществах, в более крупных сообществах получает крах. Социальную сплоченность любого масштаба предопределяет общественное соглашение, общее знание. Эта сплоченность, в сущности, зависит не только от постоянного обновления его и взаимодействия, но и от раннего, строгого культурного развития и осознания культуры. Социальная гибкость, наоборот, зависит от забывчивости и дешевой коммуникации»¹¹.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что, говоря о нынешнем мире и в нем происходящих явлениях, в первую очередь возникает вопрос о специфике и процессе глобализации и обо всех с ней связанных феноменах. Это и локализация, и регионализм, и тематика Пограничья как в широком, так и в узком смысле этого слова. Это не только территориальные и/или географические вопросы, но, прежде всего, – этнокультурные, социальные, религиозные, политические и т.д. Это также и тематика идентичности. Наилучшим примером соприкосновения этих аналогий становится тенденция объединения Европы (пример Евросоюза). Как это понять? В первую очередь, Европа обычно воспринимается как культурное, общецивилизационное социальное устройство и культура (в самом широком смысле этого слова) со своими ценностями и формами их выражения. С другой стороны, она в каком-то смысле – уникальный географический (и не только) континент, на котором родилась христианская культура. Именно на ней основывалась западная философия, светская и церковная культура, понятие демократии, государства и т.д. В этом смысле Европа – это тот фундамент, на котором развивалась современная западная цивилизация, основанная как на христианстве, так и на разных его толкованиях. Хотя Европа и понимается как один из регионов мира (и поэтому, естественно, связывается с определенной географической территорией), все-таки, как уже упоминалось выше, это не только чисто географический континент. На первое место здесь выходит культура, европейское сознание и ценности, на базе которых формировалась Европа в самом широком смысле этого слова. С одной стороны, это культурно-религиозное наследие – христианство как тот религиозный контекст, который формировал Европу как социальный, культурный, религиозный, политический феномен. С другой стороны, важную роль в становлении Европы играла

светская культура, особенно римская и античная. Исходя из этого, в зависимости от того, с какой точки зрения воспринимается Европа, оцениваются и свои – национальная, этнокультурная – традиция и общество. Поэтому до сих пор остается (а в последнее время из-за глобализации даже усиливается) желание придать Европе расширительное значение: выявляется стремление сохранить и развивать исключительность, самобытность национальных культур, традиций, менталитета. Ведь с самого начала европейская культура и цивилизация формировалась на базе маленьких государств, которые входили в какие-то союзы, составляли части империи, но всегда более или менее играли свою роль в истории Европы. Как пример этому можно назвать Первую Конституцию Европы (3 мая 1791 г.), написанную в государстве Литвы-Польшы и ставшую важной чертой демократических процессов не только в этой стране, но и во всей Европе. Лишь потом создавалась Конституция во Франции (13 сентября 1791 г.). Говоря о Литве, важными для формирования европейской культуры, социальной, политической и экономической жизни были еще раньше написанные письма князя Гедиминаса (1323 г.), в которых утверждены положительные условия для жизни и деятельности ремесленников разных стран, культур и национальностей. Важной чертой избежания возможных пограничных конфликтов стала и политика Витовтаса Великого, князя Великого княжества Литовского, когда практиковалась политика расширения владений, опираясь на политике полезных браков, на новых землях при этом оставляя местных руководителей. Таким образом, выдерживалась самобытность этих регионов. Особенно важны для становления европейской культуры и Статуты Литвы (1529, 1566 и 1588 г.), в которых регламентированы и систематизированы все правовые нормы¹². Наверное, эти события, хоть они и осуществлялись в локальности, имели большое влияние не только на региональном уровне, но и на развитие Европы как особенного социокультурного пространства.

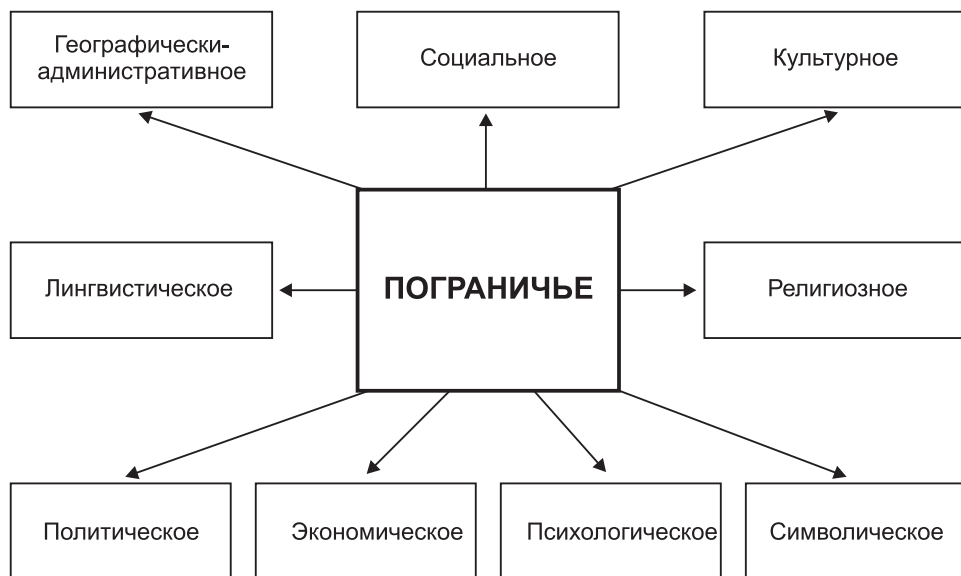
Отметим также, что Европа – это многослойное понятие, а в каком-то смысле – и политизированная структура, особенно Евросоюз. Самыми важными в ней остаются культурный и ментальный аспекты, хотя здесь и неизбежны некоторые различия. Например, в западной части Европы все более важными становятся общечеловеческие вопросы, права человека и т.д., а в восточной части (в первую очередь – в постсоветском блоке) в каком-то смысле все еще преобладает философия выживания – на первое место часто выходит экономическое, материальное, а не социокультурное, общечеловеческое начало. Все-таки европейская идея – это прежде всего идея солидарности разных наций и культур, а не лишь общие экономические, технологические, политические и другие интересы. Вместе с тем Европа – это континент, одно из крупнейших государственных объединений (в виду имеется Евросоюз), образец общественной, государственной, экономической жизни. Как уже говорилось, она ни в коем случае не одинакова и неоднородна – говорится о Южной, Западной, Северной, Восточной Европе как о разных культурах и культурных традициях, обычаях, менталитетах, экономических, социальных устройствах. В этом

смысле говорить о едином европейском идентитете становится невозможным, бессмысленным, даже утопическим делом. Потому, может быть, до сих пор не принята Конституция Евросоюза. Обобщая сказанное, можно делать вывод, что в понятие «Европа» вкладывается как географический, так и социокультурный, политический смысл. С географической точки зрения это континент, который отличается своеобразным ландшафтом, климатом, географическим положением и т.п. В культурном смысле Европа охватывает систему определенных ценностей, культурных и религиозных норм и форм выражения, мировоззрения и миропонимания, менталитета, философии и т.д. Все это, в свою очередь, принимает оригинальные, своеобразные черты в разных этнокультурных традициях, обществах, государствах. В этом контексте важным фактором для мироощущения и понимания явлений нынешнего мира становится понятие «Пограничье» – как в широком, так и в узком смысле этого слова. Как это понять?

Наверное, тема Пограничья – это та тема, которая в нынешнем мире не может быть полностью исчерпана. Наоборот, она все более усложняется, охватывает все новые явления и феномены. Из территориального пространства она переходит на социально-культурную и другие сферы. Дискуссионным становится и вопрос, *что такое* «Пограничье», как можно и/или надо, нужно, даже необходимо его понять и что под этим скрывается? Здесь встречаются многие возможности, даже понятия. Например, говорится о нескольких вариантах понимания самого слова «Пограничье». Одно из них – употребление термина «*Frontier*». В этом смысле предполагается расположение одного и/или другого социума по какую-то одну сторону от разделительной линии, при этом фиксируя наличие этой линии на социум и признавая отношение разных социумов *через границу*. В этом случае пребывание на той или иной стороне границы выдвигает разные аспекты бытия: с одной стороны, придерживается позиции, что «по ту сторону границы» как бы «ничего и/или никого нет», с другой стороны, подразумевается, что «там» происходит «что-то другое», вроде бы самая жизнь там проистекает «иначе». В таких случаях граница воспринимается как нечто делящее социум, культуру, миропонимание, мировоззрение, традиции и т.д. Наоборот, термин «Пограничье», по словам В. Миньолы, указывает на пространство «между», на «бытие и процесс на границе» как разделительной линии, полосе. В этом случае говорится не об изоляции, а о потенциальном диалоге между социальными, культурными, политическими, экономическими и другими партнерами «границы», т.е. Пограничья. Иначе говоря, ситуация «Пограничья», в отличие от «фронттира», лишает иллюзии укрытия на своей стороне. Наоборот, она обращает внимание на обе стороны границы. Субъекты Пограничья в этом случае воспринимаются как так или иначе связанные с обеими сторонами Пограничья.

Тема Пограничья тесно связана и с такими понятиями, как «граница», «контактные зоны», «ареалы». Они все воспринимаются как взаимодействие людей, идей, традиций, исторических, культурных, социальных, языковых связей и отношений¹³. Большое внимание в исследованиях Пограничья уделяется роли границы в станов-

лении этнического, религиозного, этнокультурного, национального самосознания, формировании особенностей национальности. Это означает, что в понятие «Пограничье» можно вкладывать разный смысл – социокультурный, религиозный, географический, психологический, политический, экономический, социальный и т.д. Это Пограничье как прикосновение потустороннего (иномирного) и посюстороннего (здешнего, здешнемирного) мира, социального отклонения (например, явление бездомия, этикетирование в ситуациях заболевания СПИДом, алкоголизм, наркоманией и т.д.), перед которым в обществе чувствуется недоверие, неуверенность, даже страх. Все это дает повод более обширно и глубоко говорить о том, какой же смысл в сути дела скрывается и/или может скрываться под словом «Пограничье». Схематически можно предложить такую трактовку возможностей восприятия и понимания Пограничья и типов его явлений:



Возможности восприятия и понимания Пограничья и типов ее явлений (подготовлено Живиле Адвилонсе).

Вышеприведенная схема дает повод говорить о том, что возможны разные аспекты понятия и восприятия Пограничья – географический, экономический, политический, символический, социальный, лингвистический, религиозный, культурный и т.п. Вопрос в том, как они соотносятся друг с другом и как решается проблема множественности пространств на одном географическом ареале и/или единство этнокультурного, религиозного, лингвистического и другого пространства на разных территориях. То есть о чем идет речь, когда говорится о Пограничье, – о целостности или о расчлененности пространства? Важным ли здесь становится от-

ношение между центром и периферией? Какие отношения здесь сложились между понятиями «граница», «пограничность» и «трансграничность»? Почему нужно (или даже надо) об этом говорить? В первую очередь потому, что в нынешнем мире почти неизбежна «нечистота» Пограничья – она фиксируется как в бытовой речи, так и в традициях, формах культурного выражения, социального устройства и т.д. В этом смысле необходимо ответить на вопрос, как можно и/или нужно понять термин «граница».

С одной стороны, понятие «граница» относится к числу универсальных категорий, особенно если говорить о ее функциях¹⁴. В каком-то смысле об этом уже говорилось выше. С другой стороны, Пограничье как связанное с границей чего-либо становится особенно интересным феноменом для исследований, так как именно здесь в то же время происходят несколько (иногда даже множество) разных по своей природе явлений. В первую очередь это смыкание и/или разграничение разных культур, традиций, нравов, обычаев, религий, менталитетов, миропониманий и т.д. Все это придает Пограничью особенность, самость и исключительность. Вместе с тем существуют общества, в которых Пограничье часто становится важным признаком и/или этапом развития, иногда даже более или менее постоянным состоянием. Опираясь на это, можно делать вывод, что любое пограничное состояние вызывает пространственные, социокультурные и другие отзвуки и изменения. Например, *возможен* такой аспект Пограничья, как взаимодействие открытости и закрытости, особенно касательно этнических, религиозных и подобных субкультур. Каждое новое религиозное движение, особенно явление сектанства, своеобразно дает повод и возможность говорить о существовании Пограничья. Анализ «Пограничья» также связывается с разными формами и явлениями взаимодействия культур, хотя бы «промежуточностью» и «детерриторизацией». Например, в нынешнем мире много европейцев и представителей западной культуры стали мнимыми и/или истинными приверженцами восточной культуры, философии и религии (например, буддийской философии, других элементов восточной философии и религий), ислама. Наоборот, представители «незападных культур» ищут и находят новизну в западноевропейской и американской культуре. Именно поэтому важным становится понятие социокультурного и религиозного Пограничья, вклад разных культур в развитие собственной культуры. Примером вышеупомянутого влияния восточной философии на современную западную культуру становится все шире распространяющаяся философия фэн-шуй, также национальные мотивы «экзотических» стран. И это происходит во всех сферах жизни – интерьере, экстерьере, приготовлении пищи, карьере и т.д.

Роль культурных элементов на пограничные явления играют и разные, до сегодняшних дней оставшиеся архаические культурные, религиозные ритуалы. В каком-то смысле большинство архаических ритуалов так или иначе связаны с понятием преодоления «границы», так как сама жизнь протекает на Пограничье, переходе из одного состояния бытия на другое. Например, обряды крещения, свадьбы,

похорон и т.д. воспринимаются как специфические культурно-религиозные ритуалы, сопровождающие переход человека из одного этапа жизни на другой. В этом смысле почти каждый культурный акт более или менее связан с «границей» и ее преодолением. Именно во влиянии этого в культуре укрепляются ритуалы, традиции, обычаи, символы, формируется специфический менталитет. На базе Пограничья – экономического, политического, религиозного, культурного, языкового и т.п. – возникают и формируются пограничные зоны множества государств. Однако в одном или другом обществе сложившиеся традиции на зоне Пограничья не просто перетекают одна в другую (т.е. смыкаются). Возможно и противоположное явление – заимствование, разграничение социокультурной жизни в широком смысле, иногда даже более или менее открытый социокультурный, религиозный, политический и т.д. конфликт. Например, до сегодняшних дней в северной Ирландии, в провинции Белфаст, происходят конфликты между протестантами и католиками. Здесь имеет место не только географически-административный фактор, но и культурный, особенно религиозный.

Другая возможность восприятия Пограничья – это акцент на этнических, конфессиональных, языковых и других границах. Также – различие между «своими» и «чужими». В этом случае внимание уделяется содержанию стереотипных представлений отдельных этносов, групп, государств друг о друге, их отношения, язык и т.д. Изучая явления такого рода, Л. Стародубцева предложила *образцы языкового Пограничья*. Эти образцы выделялись в зависимости от степени выявленности границ «своего» – «чужого» и особенностей языковой идентификации жителей «контактной зоны». По ее мнению, это:

«1) противостояние двух языков – своеобразная лингвистическая ксенофобия или жажда «лингвоцида»; 2) разобщение – два языка «живут» в сознании жителя контактной зоны автономно, не смешиваясь и не пересекаясь; 3) поглощение – границы между «своим» и «чужим» словно бы вбираются внутрь доминантного языка, который подчиняет себе второй язык в качестве дополнительного, второстепенного; 4) пересечение – два языка перекрещиваются в лексиконе говорящего, обретают общую лингвистическую территорию; и 5) слияние – полное лингвистическое примирение и гармония»¹⁵.

Как видно, автор выделяет пять возможных реакций и отношений между разными лингвистическими группами – противостояние, разобщение, поглощение, пересечение и слияние. Нужно обратить внимание на то, что, как уже говорилось выше, похожие реакции присущи (или могут быть присущими) и другим явлениям Пограничья. То есть они могут проявляться на национальном, социальном, религиозном и т.п. уровнях.

Говоря о взаимоотношении разных культур, встречаются и другие культурные реакции, например: 1) *инновация* как формирование, создание и/или признание

новых форм и элементов культуры, особенно в тех случаях, когда эти элементы опираются на нечто уже известное, принятое данной культурой; 2) *культурная диффузия* как проникновение, внедрение черт, элементов одной культуры в другую культуру либо взаимный «обмен» культурными свойствами, чертами; 3) *культурная трансмиссия* как процесс передачи (трансляции) элементов культуры от одного поколения к другому, благодаря чему культура является непрерывным феноменом, основанным на преемственности; 4) *Культурное опаздывание* как ситуация, в которой одни части, сферы культуры меняются и/или расширяются скорее, чем другие; 5) *доминирование чужой культуры*, ее распространение, когда собственная культура становится «заложником» чужой культуры (например, советская идеология и национальные культуры бывшего СССР); 6) *культурная интеграция*, когда обе культуры составляют некое единообразие и дополняют одна другую; 7) *культурная ассимиляция*, когда разные культуры ассимилируются, воспринимая черты одна другой; 8) *культурный лаг*, обозначающий неравномерное развитие культуры, когда одни сферы (или части) культуры развиваются быстрее, чем другие. Возможны и другие восприятия культуры. Это деление на материальную и духовную культуру; доминирующую культуру, субкультуру и контркультуру; восточную и западную культуру; элитную, массовую и народную культуру. Говорится и о культурных универсалиях как об элементах, свойственных всем культурам. Исходя из того, как оцениваются культурные универсалии, возможны разные взгляды на чужие культуры – *этноцентризм*, когда другие культуры оцениваются, опираясь на восприятие и понимание своей культуры, и *культурный релятивизм*, когда каждая отдельная культура оценивается и воспринимается, опираясь на ее собственные нормы, ценности и т.д., признается ее уникальность. Наверное, возможна и подмена, искажение символов, смысла и т.д., например иномыслие при восприятии свастики в индийской культуре и в политике нацистской Германии. Взаимодействие культур может проистекать и иначе. Например, по словам Б.С. Ерасова:

«это может быть сосуществование, вызывающее интерес, но не приводящее к взаимодействию. Может происходить взаимное или одностороннее проникновение, ведущее к использованию каких-то элементов без утраты взаимной разделенности. Несомненно, что и на этом уровне возникают элементы межэтнической культуры, на основе которой и происходит общение между первичными общностями. К такой культуре относятся, прежде всего, языки межэтнического общения, не обязательно имеющие национальную привязанность»¹⁶.

Аналогичные явления происходят и на зоне Пограничья. Это означает, что в регионах Пограничья всегда более или менее проявляются экспансионные, провоцирующие, ассимиляционные замыслы соседних групп, обществ, культур. Через границу развивается взаимодействие не только с ближайшими, но и с удаленными соседями – обществами, культурами, государствами. В этом смысле и контексте тема-

тика Пограничья связана и с проблемами взаимоотношения языкового и национального самосознания, особенностями языкового выбора и языковой идентичности, феноменами лингвистического Пограничья. В первую очередь потому, что, по эмпирическим данным, в некоторых случаях язык не является фактором, определяющим национальную принадлежность жителей, а языковую ситуацию Пограничья нельзя определить как билингвизм. Например, Пограничье Австрии и Германии. В этом случае говорится не о разных языках, а лишь о специфических диалектах в регионах Зальцбурга (Австрия) и Баварии (Германия). Бывает и по-другому. Язык, на котором общаются жители Пограничья, часто не связан ни с государством, ни с этнической, ни с культурной, ни с «паспортной» национальностью. Например, при описании языка жителей белорусско-русского, литовско-белорусского Пограничья более уместно придерживаться понятия «локальности», говорить о феномене «*tutэйшасці*» («тутейших»). То есть, «живущих здесь» (аспект локальности) и говорящих на языке «здесьних людей» (аспект речевой локальности и замкнутости). При этом подчеркивается специфическое для данного региона понимание и восприятие национальности как литовско-белорусской, литовско-польской, литовско-русской и т.д., и это обусловлено многовековым отношением и близостью культур и традиций¹⁷. Этот пример говорит и о влиянии разных культур на национальную и социокультурную жизнь этих регионов (например, влияние русской, польской, белорусской культур на развитие литовского этносоциума). Между коренными жителями и иноязычниками Литвы сразу после восстановления независимости Литвы (в 1990 г.) сформировалось некоторое недоверие, отчуждение, которое создавало частные проблемы психологического и культурного, даже политического рода, возникали и трудности взаимной интеграции в общество. Почему? Обычно на зоне Пограничья проживают несколько этнических групп, между которыми возникают разногласия, иногда даже более или менее острые конфликты. В таких случаях обычно выявляются некоторые общие черты: 1. Интерес групп такого рода сохранить свою специфику выражен сильнее, чем интерес сохранить стабильность и безопасность государства. Чем локальный интерес больше противоречит общему (государственному) интересу, тем хуже государству. Как пример этому можно привести положение школ польскоязычного меньшинства в Вильнюсском регионе Литвы. Здесь интерес государства сосредоточивается на создании одинаковых условий для всех учащихся. Но местная власть создает исключительные условия для польскоязычных школ. 2. Желание победить или достичь хотя и кратковременных целей сильнее, чем желание найти компромисс, договориться. Поэтому поддержание конфликта более «приемлемо», чем стремление потерпеть поражение. Иногда это становится перманентным интересом, промежуточной целью. 3. «Физическая» слабость небольших участвующих в конфликте групп толкает их искать помощи за границей, а это создает условия для разностороннего влияния (давления) на государство. Примером этому могут стать отдельные жалобы польскому правительству небольших польскоязычных общин в Литве и наоборот – жалобы литовских общин Польши

польскому правительству. 4. В условиях конфликта всегда найдутся маленькие этнические группы или их лидеры, которые становятся «борцами за справедливость» и стараются представлять интересы своей этнической диаспоры. Наверное, вышеупомянутый механизм – лишь один из множества возможностей. Например, если этническим общинам не свойственны перечисленные черты, то в зоне Пограничья жизнь протекает мирно и дружно, хотя этнические общины и недолюбливают друг друга. В этом смысле, по словам С. Хантингтона, сентиментальная привязанность к своим истокам может быть мирным патриотизмом, но может стать началом нескончаемой вражды. С другой стороны, на интеграцию жителей Пограничья влияет (даже ее предопределяет) деятельность государственных институций, политических, культурных, религиозных, общественных и других организаций. В отдельных случаях роль последних становится даже более значимой из-за непосредственной социопсихологической связи с жителями на персональном уровне (в этом смысле особенно благотворна деятельность религиозных, церковных организаций). Поэтому поводу выдвигаются некоторые гипотезы, например что жители Пограничья, особенно люди другой национальности, своеобразно оценивают и воспринимают государство страны (в этом случае – Литвы). Одним из важных элементов такой гипотезы становился во время полонизации и русификации Литвы сформировавшийся разрыв между менталитетом жителей юго-востока Литвы и менталитетом остальных граждан страны. Как это понять? Во время советского периода процесс исчезновения литовской этнокультуры в регионе Пограничья поощрялся, проводилась русификация, и это могло сформировать своеобразную культурную изоляцию, этнокультурный вакуум, деформировать общий процесс культурной, политической и т.п. социализации жителей Пограничья. С другой стороны, во время эмпирических исследований выдвигалось предположение, что жителям Пограничья более, чем другим гражданам Литвы, свойственна герметичность культуры и социализации индивида, а также во время советского периода сформировавшиеся оценочные ориентации, стереотипы. Более яркие различия между менталитетом коренных жителей и Пограничья могут показать исследования этнокультурных, политических и психологических процессов, выявляющие сложности интеграции жителей Пограничья в жизнь всей страны. Все это дает повод говорить о вышеупомянутых возможных реакциях на «чужую» этнокультуру – о культурной инновации, культурной диффузии, культурной трансмиссии, культурном опаздывании, доминировании чужой культуры, ее укреплении, культурной интеграции или диверсификации (расколе). Почему это происходит? Во-первых, потому, что сегодня диктат для меньшинств недопустим. Это показывает, что интеграция Литвы в Евросоюз должна поддерживаться национальными меньшинствами и этническими группами настолько, насколько это не противоречит основным интересам коренного народа и государства. С другой стороны, разные формы политической, экономической, культурной и психологической поддержки народных меньшинств в Литве иногда вызывают, даже усиливают некоторые негативные взгляды народных меньшинств

на литовцев и/или само государство Литвы. Здесь нужно обратить внимание и на другой аспект: любое меньшинство (в этом случае – национальное, этническое) отличается от доминирующего большинства разными признаками – национальными, социальными, религиозными и др. Из-за этого они часто остаются в ситуации Пограничья со стороны доминирующего большинства. Почему? Причину этого можно (или даже нужно) искать в самом понятии этноса. Основным условием возникновения этноса является общность самосознания. Речь идет об осознании своего единства со «своими» и отличия от других подобных образований, т.е. «чужих». Важными становятся такие элементы этноса, как территория, язык, культура, религия, стремление к созданию социально-территориальной организации (автономии, государства). Последние обычно вырастают на этнической основе (народности, нации, этнических групп) и приобретают признаки конкретного социально-культурного, социально-территориального, социально-экономического строя. Для них, как и для любой социальной общности, характерны не только общие объективные характеристики, но и осознание единства своих интересов по сравнению с другими общностями, более или менее развитое чувство «мы». Как уже упоминалось выше, например, юго-восточный регион Литвы – это регион смешанной культуры. Хотя элементы литовской этнокультуры здесь не исчезли, культура этого региона не похожа ни на чисто белорусскую, ни на русскую, ни на польскую, ни на литовскую. Именно такие черты гетерогенности этого региона становятся предпосылкой для исследований Пограничья. Это говорит о том, что разные нации могут как находиться в конфликте друг с другом, в частности претендовать на одну и ту же территорию, культуру, так и по-дружески соживать и сотрудничать в любой сфере жизни. Это открывает возможность методологически исследовать социокультурную и геополитическую ситуацию в регионах Пограничья, например на границе Литвы с Беларусью, Литвы с Польшей, Беларуси с Украиной, Беларуси с Польшей и т.д. То же самое можно сказать почти обо всех пограничных регионах, так как в них действуют разные культуры, традиции, языки, менталитеты, социальные структуры и т.п. С другой точки зрения, такие регионы более или менее отличаются от всей страны, так как в них исторически сформировались другие социокультурные, религиозные, иногда даже политические, экономические традиции. Для описания таких регионов можно употреблять не только термин «Пограничье», но и такие метафорические понятия, как «рубезж», «переходное состояние» и т.п. Регионы такого рода, особенно в нынешнем мире, переживают реставрацию пограничного статуса. Например, пребывание на границе, на линии разлома (на границе между Западом и Востоком, особенно говоря о политическом, экономическом, социальном контексте Евросоюза и новых членов, членов-кандидатов и соседних стран ЕС) придает социокультурным процессам черты комплексности, незавершенности, дисгармоничности и в то же время – все возрастающей заинтересованности ими. В таких обстоятельствах проявляется колебание между двумя возможностями – готовности к ответу на вызовы модернизации или к закрытости, мобилизации традиционализма.

Вместе с тем, хотя Пограничье в самом узком смысле является географически устойчивой величиной (регионом, территорией), такое ее восприятие в нынешнем мире становится слишком узким. Почему? Прежде всего потому, что на пространстве Пограничья присутствуют многочисленные очаги конфликтов, например неудовлетворенность потребностей этнических групп, несовпадение политико-административных границ с этническими границами, борьба за свою исключительность в культурном, социальном и других планах, стремление защищать и выдерживать социокультурную самость и т.д. Все это дает повод исследовать самость каждого Пограничья как подлинного, настоящего и какими-то признаками инакого, отличного от других. Жизнь Пограничья, таким образом, становится не до конца познанным и поэтому очень интересным объектом. Именно поэтому познать его природу в неспешном академическом смысле становится все труднее. Во-первых, потому, что социальная жизнь изменяется в сильно ускоряющемся темпе. Во-вторых, ситуация изменяется быстрее, чем на изменения способна реагировать и ее всесторонне исследовать и описать наука. Этому способствует сама многосторонность объекта исследования. Именно на «Пограничье» как на зоне коммуникативного, социального, культурного обмена формируются и выявляются социокультурные отличия и/или сходства, происходит соприкосновение разных традиций, культур, религий, социальных устройств, мировоззрений и т.д. В этом смысле изучение «Пограничья» («пункта, где, по словам К. Леви-Строса, *«осуществляются переворачивания»*») позволяет видеть социокультурную динамику, более или менее быстрые изменения или их отсутствие. Чувствование «бытия-на-границе», говоря о ситуации Пограничья, существование «между», в «зоре» плюралистического многообразия, становится все более постоянным фактором нынешней жизни. Специфику и процесс Пограничья как социального, культурного, экономического, политического и других явлений характеризуют возрастающая мобильность, новые формы коммуникации и всякого рода контактов, миграция и т.д. С этой точки зрения Пограничье, как символический и пространственный образ жизни и бытия, нередко описывается как культурная «дислокация», т.е. как бытие между национальной укорененностью и новой безместностью, лишение этнокультурных корней и идентитета. Феномен Пограничья связан и с такими явлениями, как переселение, смена мест обитания, социальных, этнических и религиозных групп и их вхождение в «иной», иногда даже «чужой» себе социальный мир. Это тесно связано с феноменом идентичности, так как в понятии «Пограничья», как уже говорилось выше, выражено своеобразное ощущение различия между «мы» и «они». В этом смысле Пограничье отражает процесс социальных, культурных, политических, экономических взаимодействий, взаимовосприятий и взаимовлияний. Это дает повод говорить о проблематике идентичности на пограничном пространстве, о типологии и модели идентичности. Почему это важно?

Чтобы принять законы глобализирующегося мира, необходимо уметь жить с другими и одновременно оставаться собой. Важной здесь становится понятие «со-

циальной общины» (*Social community*) как объединяющей различные совокупности людей. Традиционно оно понимается как:

«совокупность индивидов, характеризующаяся относительной целостностью, выступающая как самостоятельный субъект исторического и социального действия и поведения и выполняющая ту или иную совместную деятельность. Социальными общностями являются общество в целом, социальные классы, слои, этнические группы, трудовые коллективы, семья и др.»¹⁸.

Некоторые авторы обращают внимание на элементы и свойства социальных общин, особенно важных при понимании и анализе Пограничья. Например, В. Харчева подчеркивает, что социальные общины – это:

«эмпирически фиксируемые, реально существующие объединения индивидов, представляющие собой относительную целостность, которая может выступать как объект социального воздействия, обладать эмерджентными свойствами, т.е. вновь возникающими в результате объединения характеристиками, не всегда присущими отдельным индивидам»¹⁹.

Говоря о социальной общине, можно выявить также такие аспекты, как исключительность. В. Харчева приводит примеры, когда, с одной стороны, в высокообразованном обществе есть люди с очень низким уровнем образования или вообще без образования, с другой стороны, обычные общины обладают самосознанием, так как их члены осознают свою принадлежность к ней, воспринимают и поддерживают общие интересы с другими ее членами²⁰. Исторически детерминантами социальных общин являются и другие признаки, например условия социальной реальности, требующие объединения людей, развитие государственности и возникающие вместе с ней формы организации людей в виде разных социальных институтов, совместная территория и т.д. При анализе тематики социальной общины необходимо обратить внимание на то, что терминология в этой области до сих пор не установилась. Например, термин «община» (англ. *Commune, Community*, гер. *Gemeinschaft*; франц. *la communauté*) интерпретируется далеко не одинаково. Она понимается как форма социальной организации, возникшая на основе родственных или родовых связей, характеризующаяся общим владением средствами производства, полным или частичным самоуправлением, непосредственным типом социальных отношений. Это родовые, семейные, соседские общины. Говорится о социальной общности и как о совокупности людей, связанной сходством жизненных условий, единством ценностей и норм, отношениями организации и осознанием социальной идентичности (самопричислением). Наверное, их формы исторически менялись. Радикальные их изменения происходили в период Просвещения, так как, по словам В.Н. Риеклис, «ни одна эпоха так не замедлила развития духа общины, как XVIII век;

общество Средневековья было разорвано, а модерная еще не создана»²¹. Новое открытие общины – самое важное явление социальной мысли XIX в., так как оно перешагнуло пределы социологии, философии, истории и теологии²². Ф. Теннис стал идейным основоположником традиции социологического исследования общины и общества как двух разных, даже противоположных идеальных типов социального устройства, а также социологии города. Он сравнивал два идеальных типа – общину (*Gemeinschaft*) и общество (*Gesellschaft*), и эта им разработанная дихотомия до сих пор остается основой сегодняшних исследований такого рода. Она стала классической типологией социальности – сообщество (община), где господствуют непосредственно личные и родственные отношения, и общество, где преобладают формальные институты. Касаясь динамики общества, сам Ф. Теннис полагал, что «общинная» социальность в ходе истории все больше вытесняется «общественной» социальностью. Это дало импульс для анализа нравов, прав, семьи, хозяйствования, деревенской и городской жизни, религии, государства и т.д. *Gemeinschaft*, по его мнению, приблизительно можно понять как «общину», хотя это слово еще означает и «имеющий корни», «моральное единство», «интимность», «родственность». Поэтому *Gemeinschaft* часто переводится как «основная община»²³. Члены *Gemeinschaft* связаны эмоциональными, в каком-то смысле своеобразными родственными связями, так как люди в ней рождаются и с ней срастаются, поэтому прервать эти связи нелегко. Наоборот, *Gesellschaft* – это самостоятельная организация, которой свойственны некоторые общие цели. Этот термин Ф. Теннис употреблял для описания общества, в котором множество социальных связей добровольны и опираются на рационалистическом корыстолюбии. То есть люди приходят в *Gesellschaft* не потому, что они должны были бы это делать или что она естественна, но потому, что принимают ее как подходящее социальное устройство для достижения своих целей. Такому обществу свойственны условные отношения, общая цель. Ее членов связывают общие проблемы и интересы, но необязательно общее мировоззрение. Вместе с тем они участвуют в социальных процессах, занимаются какой-нибудь деятельностью. Наоборот, важно единство членов общества в тех вопросах, для решения которых она и создавалась²⁴. По Гайгеру, община и общество различаются как «внутренний» и «внешний» аспекты социальной связи и представляют собой ограничивающие друг друга коррелятивные структурные элементы, существенно необходимые для каждой социальной группы²⁵. Это связано и с пониманием Э. Дюркгейма «механической» и «органической» солидарности. Здесь стоит обратить внимание на то, что, в противоположность Ф. Теннису, солидарность общинно-родового типа охарактеризована как «механистическая», а не «органическая». Это тоже становится знаком изменений не только в понимании, но и в реальности социального мира.

Часто встречается мнение, что локальной общине свойственны три основных признака: территория, социальная интеракция и связь членов общины и/или общества. Наверное, здесь можно выявить некое соответствие с признаками социальной

группы, выдвинутые Р. Мертоном. В процессе изучения социальных общин выявлены и другие их типы²⁶. Один из них – социальная группа как совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются ее членами с точки зрения других людей. Это типичное понятие социальной группы и ее признаков. Термин «общество» в работах социологов употребляется еще и в смысле совокупности социальных связей, которые присущи в пределах конкретных границ, окрестностей или территорий. Они могут быть большими (например, расы, нации, племена) и малыми (семья, группа друзей), социально-территориальными и т.п. Наверное, говоря о тематике Пограничья, особенно важными становятся территориальные общины (*Territorial community*) как совокупности людей, проживающих на определенной территории. Они формируются на основе социально-территориальных особенностей ее членов, обладают более или менее сходным образом жизни, общими политическими, культурными и/или другими интересами. То есть члены таких групп объединены общими экономическими, культурными, политическими и другими интересами. Им свойственны два признака, которые отсутствуют у других социальных общин. Во-первых, в территориальные общины входят все люди, проживающие на данной территории, тогда как социальные общины могут объединять лишь часть людей, проживающих на этой территории. Во-вторых, под территориальными общинами обычно понимаются совокупности людей, проживающих на территории того или иного села, города, района.

Можно говорить и о локальных, социально-демографических общинах (выделяемых по половозрастным признакам), социальных слоях, сказывающихся на процессе Пограничья из-за различий в образе жизни. Одна из возможных позиций восприятия Пограничья связана с разорванностью и фрагментарностью национальной культуры, находящейся между национальной и «советской» культурами. Например, важной характеристикой ситуации Беларуси, Литвы и других стран считается разорванность их истории и культурной традиции, преобладание в историческом сознании разрывов, а не социокультурной преемственности. В этом контексте как бытие, состояние Пограничья можно понять и переходное состояние от коммунизма к капитализму. Именно ситуация перехода здесь воспринимается как бытие Пограничья, когда возникают новые формы и модели политических, экономических, культурных и других практик и явлений. Именно поэтому во многих исследованиях анализируется «постсоветское» Пограничье, ностальгия ее жителей по бывшему социальному устройству и сопротивление переменам. Это получает разные формы выражения. Например, на публичном пространстве используются символы, знаки, признаки, термины советского периода, и это свидетельствует о ностальгии по бывшему социальному устройству. Например, в исследованиях Т. Журженко²⁷ на основе фокус-групповых интервью в трех селах приграничной зоны Харьковской области рассматривалось Пограничье как территория, на которой особенности организации социальной жизни связаны с фактом близости государственной границы с Ев-

росоюзом. В этом контексте исследовалось, какую роль играет граница в повседневной жизни жителей таких регионов, как они воспринимают и оценивают свою ситуацию, что для них означает новый социальный опыт и статус, т.е. «бытие на границе». Аналогично можно говорить о регионах Юго-Восточной или Юго-Западной Литвы, т.е. о бытии на Пограничье Литвы с Беларусью и Россией как не входящими в состав Евросоюза. Исследования такого рода дают возможность прикоснуться к жизни, проблемам, ценностям пограничного населения и фиксировать динамику их социального, культурного и другого опыта. Все это дает повод говорить о том, что зоны пересечения культур – наиболее встречаемый оттенок и свойство нынешнего поликультурного общества, испытывающего «миграционный нажим», глобализацию и опыт «бытия *на границе*»²⁸.

Социальные признаки в каждом обществе выстраиваются в некую иерархию, а это, в свою очередь, формирует социальную стратификацию – иерархически ранжированное социальное неравенство, в каком-то смысле – феномен в процессе Пограничья по разным признакам. Именно здесь открывается пространство Пограничья. Наилучшим примером этому может стать до сих пор оставшаяся система каст в Индии. Примером Пограничья становится и любое другое меньшинство как социально значимая часть населения с расовым, культурным или другим самосознанием, т.е. с принципом членства в некоей своеобразной социальной группе по культурному, религиозному, политическому, половому и/или другому признаку. Действительность границ такого рода долгое время имела неоднородный феномен. Относительно феномена социальных слоев и классов можно сказать, что во все времена элита была склонна создавать «свою» культуру, которая как бы уменьшала эти границы. Одновременно она удалялась от простого народа, таким образом выдвигая другие границы. Местную элиту с элитами зарубежья всегда связывало больше общих дел, и это было чаще, чем с коренными жителями. В жизни элиты другой смысл получало и различие между «здесь» и «там», «внутри» и «извне», «близко» и «далеко», «свой» и «чужой». Эти противопоставления определяли, каким масштабом приручены или признаны фрагменты окружающего мира (человеческого и физического)²⁹. Важны и другие факторы, особенно естественные (геофизические) и искусственные стены территориальных границ, разных народов и культур, также и внутренние – внешние их различия. Наверное, фактор расстояния сегодня уходит на второй план, а географические стены приобретают новый смысл. Выясняется, что разделение континентов, регионов и т.д. возникло из-за расстояний, которые раньше казались реальными, так как их преодоление требовало множества усилий и утрат – времени, транспорта, денег и т.д. В нынешнем мире расстояние все более теряет объективный физический смысл, становясь социальным устройством. Расстояние изменяется, меняется скорость, при помощи которой его можно преодолеть. Это дает повод говорить о том, что в контексте и ситуации глобализации означает быть членом любой территориальной общины и/или национальности, конкретного народа, этносоциума и т.п. Ответ на этот вопрос можно дать, опираясь на

некоторые оппозиции восприятия и понимания национальности и этносоциума. Например, членство в этносоциуме можно воспринять как производное от идеи национальности или, наоборот, как условие воспроизводства идеи национальности. Это понимается как противоположные подходы понимания национальности и этносоциума, так и приоритетов при их анализе. Иначе говоря, идею национальности можно воспринять как причину возникновения национальной идентичности. Возможен и другой подход – оппозиция *национальности* и *культурной идентичности*, естественность или искусственность национальности. В первом случае национальность воспринимается как явление «по природе», «по крови», как непосредственный биологический факт, передаваемый при рождении по национальности обоих родителей или одного из них, а во втором – опирается на принципе «по выбору»³⁰. Еще одна возможность понять идею национальности – восприятие ее как *этноединицы* или *гражданства*. Первое из них отражает практический – политический аспект вопроса, а второе – классическую модель «нации-государств», где национальность воспринимается как название, атрибут титульной нации государства (титульный народ). В этом случае говорится о так называемой «американской» или «федеративной» модели, когда ответ на вопрос, что такое национальность, достигим через отождествление его с понятием гражданина, обладающего всеми гражданскими правами. Это характерно для стран с полиэтничной структурой (например, американец – гражданин США, россиянин – гражданин России, литовец – гражданин Литвы и т.д.) или при явном отождествлении себя не с национальным, а с культурным проектом. Однако нужно обратить внимание и на то, что, по словам Б.С. Ерасова, «нация большей частью формируется из нескольких или многих этнических групп»³¹. Автор здесь приводит пример Великобритании и Франции. По его мнению, в Великобритании до сих пор существуют и даже временами обостряются различия между собственно англичанами, ирландцами и шотландцами, во Франции бретонцы и эльзасцы упорно сопротивляются полной ассимиляции в общенациональную культуру. По его словам, аналогичные процессы происходят и в других странах и регионах. Он пишет:

«переплетение устойчивых этнических единиц создает противоречивую и зачастую конфликтную обстановку во многих странах Азии, Тропической Африки или бывшего СССР»³².

Еще одна возможность понять этническую идентичность – признак *конфессиональной принадлежности*. Как видно, во всех упомянутых случаях говорится о противопоставлении двух типов идентичности и проблематизации понятия «идентичность». Схема также основана на оппозиции разных подходов, которые не исключают друг друга, но выдвигают вопрос, в какой степени эта схема искусственна и в полной ли мере она описывает сам феномен. Почему? Понятие *идентичности* – достаточно юное. Особое внимания пониманию этого феномена уде-

ляли Е. Ериксон, Ч. Кули, М. Мид. Именно они обратили внимание на *сознание* человека³³. С чем это связано? Представление о мире, истории, культуре – как индивидуальных, так и коллективных, – выводилось из акта самосознания и законов чистого мышления или должно было подчиняться последним. Выдвигалась мысль, что как структуры сознания, так и чистое «Я» обнаруживаются в определенных условиях человеческой жизни. Идентичность в этом контексте формируется на протяжении долгого времени. В этом смысле *идентичность* – это становление себя в процессе усваивания специфики культурно-исторического, социального опыта, микро- и/или макросреды. Иначе говоря, сознание всегда погружено в те или иные социальные, культурные, политические, религиозные и другие условия. Задача человека заключается в том, чтобы сделать его окружающей среду «своей», усвоить ее. Такое *присвоение* не только означает *обретение идентичности, но и формирует ее*. То есть, чтобы «стать собой», нужно обнаружить *себя* в культуре, истории, обществе, присвоить в ней существующий социокультурный опыт, мир смыслов, знаков и т.д. Так как лишь *в отношении к другому человеку* формируется индивидуальное «Я» и проявляется возможность становиться собой³⁴. Поскольку другие являются носителями тех или иных культурно-исторических смыслов, то именно внутри того или иного (со)общества происходит присвоение этих смыслов, формируется индивидуальный уникальный опыт, понятие и восприятие культуры, социального мира, и этот опыт переплетается с уникальными опытами других людей. Они воспринимаются как «одни из нас»³⁴.

По мнению Т. Стоппарда, вопрос идентичности в контексте Пограничья – один из центральных, особенно если говорить о *проблеме самоидентификации в условиях глобализации*³⁵. Идентичность тесно связана с понятием Пограничья. В этом случае особое внимание уделяется вопросам *региональности*. Например, под регионом *Беларусь* понимается не только собственная страна, но и ее *отношение* с окружающими ее странами – Украиной, Литвой, Польшей, Россией. Региональность здесь связывается с разными фрагментами регионального прошлого, настоящего и будущего, так как Пограничье выражает ситуацию поиска компромисса между различными способами обретения идентичности. Например, пограничная белорусская идентичность – это прежде всего региональная идентичность, включающая в себя элементы украинского, литовского, польского, российского самоопределения. То же самое можно сказать о литовской идентичности. Из этого следует, что быть членом любого народа означает обнаружить себя или стать собой в культуре, истории и сообществе не только собственно конкретной страны, но и соседних стран. То есть прежде всего быть знакомым с наследием всего региона и осмыслить свое прошлое, настоящее и будущее. Пограничье также воспринимается как механизм обнаружения и присвоения своей инаковости. Белорусскими авторами выдвигаются несколько идей, моделей, метафор. Например, говорится *об амбивалентной географии дискурса и нестабильной идентичности* (Д.А. Белич). О любом регионе можно сказать, что, с одной стороны, есть некоторая конфигурация

представлений и знаний об этом регионе, зафиксированных, прежде всего, в знаковых оппозициях «своего» и «чужого», «Запада» и «Востока» и т.д. При этом иногда оказывается, что разные оппозиции в конкретном дискурсе имеют иное значение. Говорится о *контекстуализации универсального как перехода от иного к инаковому* (В. Абушенко). Пограничье является одной из попыток такого обнаружения. Все это показывает, что существуют разные каналы и возможности интеграции Пограничья: 1) *социокультурная интеграция*, охватывающая этнокультурные демографические и психологические процессы; 2) *экономическая интеграция*, охватывающая трансформации экономических и производственных структур, развитие производственной, частной, предпринимательской инициативы и условий; 3) *политическая*, подразумевающая развитие государственного и политического действия, политические и гражданские ориентации жителей.

Наряду с вышеупомянутыми возможны и другие варианты понятия «Пограничье», так как Пограничье как социальное явление охватывает и другие социальные аспекты³⁶. Например, тематика Пограничья связана и с двумирием повседневного (профанного), посястороннего (здешнего, здешнемирного) и священного (сакрального), потустороннего (иномирного) мира как двух разных по свойствам и формам выражения полюсов социальной жизни³⁷. Мир «иной» и мир «здешний» выглядят как своеобразные пространства, а «священное» часто воспринимается как пограничная область. Почему? Говоря об этом, нужно обратить внимание на то, что сегодняшнее понимание святости сильно изменилось. Под ней понимается не только священность по сути этого слова, но и духовность. Несмотря на это, все чаще в повседневном мире встречаются одни или другие признаки существования священного, и это принимает разные формы как на телевидении, в прессе, так и в интерьере, символах, одежде и т.д. Примером этому может стать публичный дискурс в еженедельниках Литвы 1988–2005 гг., где отражалось, что повседневность выражает заинтересованность иным миром. Приближаясь к потустороннему и воплощаясь в духовное, священное делается культурным синонимом духовного. Например, в современном квартирном интерьере религиозные символы становятся как бы украшением, частью повседневной жизни и тем самым дают возможность прикоснуться к другому миру и более или менее почувствовать грань между «этим» и «другим» миром. Сталкиваемся с этим явлением и в СМИ, особенно с использованием религиозных символов в рекламе. В фотографиях, видеоклипах, на стендах, этикетках они часто употребляются как просто культурные элементы, создающие эффект традиционности. Как можно или нужно понять это явление? Показывает ли это стремление извратить вероучение или, может быть, наоборот, это признак поиска новых форм коммуникации, отражение поиска смысла жизни или даже религиозности? Может быть, используемые в рекламе религиозные темы и символы показывают заинтересованность общества религией, так как в ней находится место лишь для того, что интересно и привлекает внимание. Например, в рекламе часто используются символы монашества, рая и ада, греха, ангела и дьявола,

прототипы Бога, креста, также тематика милосердия и зла, медитации, сакрамент свадьбы. Это свойственно как региональным, так и международным рекламкам. Религиозная доктрина греха как бы становится идеальным предложением спровоцировать пользователя – поведение клиента как бы связывается с преодолением собственного или общественного табу. Пользователи становятся провоцируемыми, перешагнув эту границу.

О тематике использования религиозных символов в рекламе говорят Дж. Коттино (J. Cottino) и Р. Валбаум (R. Walbaum) в книге «Бог и реклама» (Dieu et la pub), где рассматриваются примеры религиозных символов во французской и германской рекламках. Авторы выявили 12 тем религиозного типа, так или иначе отражающихся в рекламе. По их мнению, это смерть и бессмертие, счастье и страсть, элементы новой религиозности и религий Востока, астрологии, четырех стихий и т.п. Превосходным пространством для рекламы становится христианское художественное наследие – грегорианский хорал, монастыри, труды Микеланджело, Леонардо да Винчи³⁸, Рафаэля и т.д. Такая символика хорошо известна и знакома. Мы ее просто как бы не замечаем и принимаем ее как свою, не видя отдельных элементов фильма, рекламы, стенда. Именно в этом и есть сила рекламы, так как религиозный аспект не может быть представлен так, чтобы он оскорблял чувства верующих, а для неверующих создал бы впечатление религиозной пропаганды. Ведь содержание рекламы должно быть универсально и общедоступно. Религиозные символы потому и ценны, что они, как архетипы, становятся плодотворным материалом для рекламы. Здесь срабатывает принцип резонанса – так как религиозные символы все еще живы в нашем сознании, особенно в подсознании, основные архетипы, охватывающие потребности человека, соответствуют тому, что предлагает реклама. Например, рождественские праздники, звезда Вифлеема, елка и т.д. для многих стали просто символами Рождества, без которых уже невозможно представить себе этот праздник. Действует в рекламе и закон скандала – хороший способ привлечь внимание и легче, быстрее продать свою продукцию. Начинаются бойкоты, а это тоже своего рода реклама преодоления Пограничья³⁹.

Вышеупомянутые факты и возможности понятия Пограничья дают повод говорить о том, что ученые все чаще и глубже занимаются вопросами такого рода. Например, одним из возможных ответов самоосмысления постсоветского периода является метафора *восточноевропейского Пограничья*. Почему? После распада советского режима и расширения границ Евросоюза понятие Пограничья сильно изменилось и все еще изменяется. Например, к Пограничью Литвы относятся не только Беларусь и Россия, но и Польша, Латвия. Наверное, в этих случаях Пограничье принимает разные черты и поэтому воспринимается неодинаково. Аналогично к Пограничью Беларуси относится как Литва, так и Польша, и Украина. Вышеупомянутые страны более или менее по-разному воспринимаются не только как пограничные образования, но и как *переходные общества*, определенные политические, экономические, культурные *субъекты самого перехода*, находящиеся под влиянием

разных факторов и контекстов. Кстати, это так или иначе необходимо учитывается как в теории (описании, анализе), так и в реальной жизни, т.е. на практике (в процессе управления изменениями и процессами в данных регионах). Это дает претекст и возможность говорить об анализе Пограничья как изнутри, так и извне. Отсюда понятным становится все возрастающий интерес ученых к так называемым «окраинным» локальным традициям.

Наверное, исследование локальных сообществ составляет немалую часть социологических исследований. Исследования такого рода начал еще Ле Плау, который при анализе рабочего класса Европы обратил внимание на контекст ее окружающей среды и локальности. В 30–40-е гг. XX в. в США сформировалось направление исследований общин (*community studies*), которое на первый план выдвигало место жительства. Инициаторами такого направления считаются Роберт и Гелен Линд, Р. Парк, а также их последователи. Локальная община стала существенным структурным элементом американского общества, основной формой социальной жизни. Социальная и этническая разнородности локальных общин укрепляли уверенность социологов, что локальность – это более или менее точный оттенок социальной структуры и идеологии американского общества. В то же время на понятие локальных общин Европы влияние оказали другие социальные и теоретические обстоятельства. Локальные и территориальные исследования здесь более связаны с традициями этнографических, этнологических исследований, а не с более обширными социологическими исследованиями. В нынешнем анализе локальности используются обширные концепции социологии, обращается внимание на экологический, структурно-функционалистический подход, парадигму локального действия (*community action*), сети (*network approach*), конфликтивизма и социопсихологии⁴⁰.

Например, в нынешних исследованиях изменений локальных связей часто выдвигаются три гипотезы: а) *падение*, исчезновение общины, б) *трансформация* локальных общин, в) *отмежевание от территориальной основы*. Наверное, как уже говорилось, исследования Пограничья проводятся в разных странах. Например, тематика Пограничья Литвы сегодня становится еще более актуальна, так как Литва стала членом Евросоюза. Более того, она стала не только членом Евросоюза, но и очень важным элементом Центральной и Восточной Европы – внешней границей между Евросоюзом и СНГ, особенно это касается Калининградской области (в смысле страны транзита)⁴¹. В этом контексте целью исследований Пограничья становится стремление взглянуть на проблему и место Пограничья в пространстве глобальных изменений. Полезность социологических исследований локальности и Пограничья в таких обстоятельствах не вызывает сомнений. Тем не менее глобализация не означает гомогенизации. Наоборот, обращается внимание на исключительность, уникальность, свойственность и гетерогенность. Например, после распада Советского Союза многие государства бывшего СССР столкнулись с новыми качественными изменениями как внутренних, так и международных экономиче-

ских, политических, культурных и других связей. Говоря о Литве, одной из важных проблем более 10–15 лет тому назад становилась интеграция жителей Литовского Пограничья в Литву, интеграция Литвы в Евросоюз и другие с этим связанные вопросы. Целью исследований были и остаются до сих пор особенности лояльности, адаптации, интеграции жителей Пограничья, культурные и психологические их особенности. Кстати, понятие Пограничья, говоря о вышеупомянутых регионах Литвы, лишь условное. Интеграция людей, особенно инородцев этих регионов, понимается как двухсторонний процесс. С одной стороны – это позиция государства, т.е. программы, применяемые к интересам жителей Пограничья, обеспечивающие сущные их права, интересы, ожидания и социальную безопасность. С другой стороны – благосклонность жителей этих регионов (особенно инородцев) к государству Литвы, ее культуре, литовцам как титульному народу. Именно поэтому уже с 1987 г. производятся социологические исследования социальной и этнокультурной среды Пограничья, вырабатываются сравнительные исследования в разных регионах Пограничья Литвы.

Такая стратегия очень эффективна, так как исследования такого рода проводятся, придерживаясь соответственной структуры индикаторов, поэтому одинаково, обдуманно фиксируют социальную и культурную среду пространства Пограничья, социальные, этнокультурные и политические установки, языковые особенности, религиозные ориентации, своеобразие исторической и культурной памяти, традиции пограничных регионов, локальности. Получаемые данные исследований дают повод утверждать, что изменяются политические установки жителей Пограничья, их взгляды на этническую культуру, язык и т.д. С другой стороны, неоднородный национальный, также и миграционный состав жителей, культурная, этнопсихологическая разновидность таких регионов предопределяют своеобразные их связи с государством.

Социологические и другие исследования здесь помогают выявить оценочные ориентации жителей этих регионов, стереотипы поведения и т.д. Это дает возможность выявить субъективные и объективные факторы становления Пограничья, также особенности социальных связей как на региональном, так и на межгосударственном уровне, престиж народной культуры между местными иноязычно говорящими жителями. Это помогает фиксировать, как при тенденции возрастающей гетерогенности культуры формируется общество и этносоциум. Наверное, исследования такого рода связаны как с анализом изнутри, так и извне. *Изнутри* имеется дело с «островками» национальных культур, которые *снаружи* выглядят как гибридные формы доминирующей культуры. Нередко им свойственны и признаки оксосоветского, недонационального, недоевропейского социума. Однако обращение к проблематике Пограничья позволяет говорить о сдвигах в осмыслении пограничных регионов, которые сегодня воспринимаются уже не просто как *тутэйшиасі* и не в контексте *посткоммунизма* и/или *переходных обществ*. Они воспринимаются как разные, своеобразные и поэтому теми или иными признаками интересные субъекты.

Однако каковы существенные предпосылки и условия динамики таких регионов? Чтобы ответить на этот вопрос, как уже говорилось выше, нужно обратить внимание на взаимодействие *Пограничья* с понятием *идентичности*, пускаясь на поиск идентичности в контексте Пограничья.

Литература

- Advilonienė T. Katalikiškais religinis tapatumas Lietuvoje. Daktaro disertacija. Kaunas: KTU, 2005.
- Anderson B. Įsivaizduojamos bendruomenės. Apmaštymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą. Vilnius: Baltos lankos, 1999.
- Benedict M. On Cyberspace and Virtual Reality // Man and Information Technology. Stockholm, 1995.
- Broom L., Bonjean Ch., Broom D. Sociologija: esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Litera Universitatis Vytauti magni, 1992.
- Burkart R. Kommunikationswissenschaft. Wien-Koln-Weimar, 2002.
- Detraditionalization / Ed. Heel P., Lash Sc., Morris P. Oxford: Blackwell, 1996.
- Giddens A. Modernybė ir asmens tapatumas. Vilnius: Pradai, 2000. Mcquail D. Mass Communication Theory: An Introduction. L.: SAGE Publications, 1992.
- Gitlin T. The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Berkley etc.: Univ. of California press cop, 1980.
- Held D., McGrew, Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius: Margi gal'tai, 2002.
- Hilgathner S., Bosk C. The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model // American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. № 1. P. 53–78.
- Lazutka S., Valikonytė I., Gudavičius E. Первый Литовский статут (1529 г.). Vilnius: Margi gal'tai, 2004.
- Lokalijs bendrijos tarpdalykiniu požiūriu. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004.
- Luke T.W. Identity, Meaning and Globalization: Detraditionalization in Postmodern Space-Time Compression // Detraditionalization / Ed. Heel P., Lash Sc., Morris P. Oxford: Blackwell, 1996. С. 123, 125.
- Mcquail D. Mass Communication Theory: An Introduction. L.: SAGE Publications, 1992.
- Mikos L. Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart, 2003.
- Nisbet R. Sociologijos tradicija. Vilnius. Pradai, 2000.
- Renger R., Siegert G. Kommunikationswelten. Wissenschaftliche Perspektiven zur Medien- und Informationsgesellschaft. Innsbruck-Wien, 1999.
- Roesler A., Stiegler B. Grundbegriffe der Medientheorie. Paderborn. Wilhelm Fink Verlag, 2005.
- Spółeczność lokalna. Encyklopedia socjologii. Warszawa, 2002. T. 4.
- Weber S. Theorien der Medien. Konstanz, 2003.
- Временник императорского Московского общества истории и Древностей Российских. Кн. 18, 19, 23. М., 1854–55.
- Глобализация / Под ред. С.А. Кравченко. М., 2001.

- Гринченко Г. Международный симпозиум «Пограничье: исторический и культурно-антропологический аспекты» // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 510–517.
- Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 2000.
- Касьянов В.В. Социология. Ростов-на-Дону, 2002.
- Мальковская И.А. Глобализация и транскультурный вызов незападного мира. М., 2005.
- Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. М., 1961.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.
- Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. М., 1996.
- Современная западная социология. М.: Издательство политической литературы, 1990.
- Стародубцева Л. Ирония билингвизма, или Жизнь на границах языков. ХНУ. Харьков.
- Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. Минск, 1960.
- Харчева В. Основы социологии. М., 1997.
- Фурс В. Белорусская «реальность» в системе координат глобализации // Философско-культурологический журнал «Топос». № 1 (10). ЕГУ, 2005.
- MacCombs Maxwell. New Frontiers in Agenda-Setting. Agendas of Attributes and Frames // www.ccwf.cc.utexas.edu/hiltok/mmccoset.html.
- Абрамова О. Что для вас значит Европа // см. http://arche.bymedia.net/2007-knihi/1_bnenr_ru.htm [просмотр 15 10 2007].
- Глоссарий.ru // [http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:1!uh\\$txuyo](http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:1!uh$txuyo) [последний просмотр 20 01 2008].
- Коновалова О. Белорусско-российское Пограничье: сравнительная характеристика социолингвистической ситуации на территории Беларуси и Польши // ACLS Annual Regional Meeting of the Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine, Kharkiv, 2005: Panel 2. см. <http://www.acls.org/hum-meetings/kharkiv05/Khpanel2.htm> [последний просмотр 20 08 2007].
- Рыблова М.А. Понятие «граница» в представлениях донских казаков // Этнографическое обозрение. 2002. № 4; также <http://portal.volsu.ru/cgi-bin/load.cgi?id=1907> [последний просмотр 20 08 2007].
- Стародубцева Л. Ирония билингвизма, или Жизнь на границах языков. ХНУ. Харьков. Украина // Пограничье: исторический и культурно антропологический аспекты. Харьков. 15–16 ноября 2004 года // http://old.eu.spb.ru/news/files/kharkov_prog.pdf [последний просмотр 20 08 2007]6, с. 401
- Стоппард Т. Стихийная тирания // http://www.dramaturg.org/domenu.php?menu=expand_article&article_id=5615735489

Примечания

- ¹ Напр., это и возрастающее количество информации, и мгновенная ее распространенность, мобильность людей в пространстве с помощью средств передвижения и т.д.
- ² Held D., McGrew, Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius: Margi galitai, 2002. С. 25.
- ³ Глобализация / Под ред. С.А. Кравченко. М., 2001. С. 75.
- ⁴ Held D., McGrew, Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius. С. 7.

- ⁵ Ibid. С. 9.
- ⁶ Ibid. С. 31; Luke T.W. Identity, Meaning and Globalization: Detraditionalization in Postmodern Space-Time Compression // Detraditionalization / Ed. Heel P., Lash Sc., Morris P. Oxford: Blackwell, 1996. P. 123, 125.
- ⁷ Held D., McGrew, Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. С. 44.
- ⁸ Ibid. P. 52.
- ⁹ Mcquail D. Mass Communication Theory: An Introduction. L.: SAGE Publications, 1992. P. 42.
- ¹⁰ Held D., McGrew, Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. P. 26.
- ¹¹ Benedict M. On Cyberspace and Virtual Reality // Man and Information Technology. Stockholm, 1995. P. 41.
- ¹² Литовские статуты – это законники Великого княжества Литовского, кодексы феодального права, составлявшие правовую основу Литовского государства и утвержденные в 1529, 1566 и 1588 гг. Юридически они оформили институции верховной власти и судебные инстанции государства. В отличие от светского права православных стран, Литовские статуты не вмешивались в каноническое право (во внутренние дела католической церкви). Статут был выше, чем городское (магдебургское) право, которое регулировало отношения горожан. Третий Литовский Статут обосновал верховенство литовского права над любым другим, а это как раз было важным свидетельством самостоятельности Литвы. Статуты использовались и в судах Польши и Ливонии, а в 1649 г. по Литовскому Статуту был отредактирован и Русский законник. Наиболее разработан был Литовский Статут 1588 г. В отдельных своих частях он действовал в Восточной Беларуси до 1831 г., а в других районах Беларуси и в Литве был окончательно отменен лишь в 1840 г. Источниками Литовских статутов стали нормы обычного права, Судебник Казимира (1468 г.), привилеи 1447, 1492 и других годов, судебные решения, римское, польское и немецкое право. Вышеупомянутый Литовский Статут 1588 г. закрепил значительную государственно-политическую самостоятельность Великого княжества Литовского. Он был подготовлен в качестве общегосударственного кодекса права Великого княжества Литовского как входящего в федеративное государство вместе с Польшей, так и могущего существовать самостоятельно. Интересно, что все три редакции Статута были напечатаны кириллическим шрифтом. Язык этого рода в современной Литве называется «канцелярским языком Великого княжества Литовского» и представляет собой ранний вариант белорусского языка. После присоединения территорий Великого княжества Литовского к Российской империи населению этих территорий предоставлено было первоначально пользование местными законами и таким образом было сохранено значение Литовского Статута в гражданских делах. Это привело к необходимости перевода Литовского Статута на современный русский язык. В 1811 г. был напечатан такой перевод, и это издание получило широкое распространение в Малороссии и бывших литовских областях // Lazutka S., Valikonytė I., Gudavičius E. Первый Литовский статут (1529 г.). Vilnius: Margi gal'tai, 2004, с. 522; Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. Минск, 1960; Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. М., 1961.

- ¹³ Гринченко Г. Международный симпозиум «Пограничье: исторический и культурно-антропологический аспекты» // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 510–517.
- ¹⁴ Рыблова М.А. Понятие «граница» в представлениях донских казаков // Этнографическое обозрение. 2002. № 4; также <http://portal.volsu.ru/cgi-bin/load.cgi?id=1907> [последний просмотр 20 08 2007].
- ¹⁵ Стародубцева Л. Ирония билингвизма, или Жизнь на границах языков. ХНУ. Харьков. Украина // Пограничье: исторический и культурно антропологический аспекты. Харьков. 15–16 ноября 2004 года. Также http://old.eu.spb.ru/news/files/kharkov_prog.pdf [последний просмотр 20 08 2007]
- Похожими оказываются исследования М. Луцевича (Варшавский университет, Польша), автор охарактеризовал социолингвистическую ситуацию в белоруско-польском пограничье на примере деревни Соничи на Гродненщине, выделив ее следующие особенности: наличие идеолектальной дифференциации местного польского говора; характерный для подавляющего большинства жителей Сонич западнобелорусский (гродненско-барановичский говор). Аналогично Н. Вахтина, О. Жиронкина и Е. Романова (ЕУ в СПб, Россия) проанализировали ряд противоречий между ментальным и практическим языковым выбором жителей Харьковского и Киевского регионов. Под «ментальным» языковым выбором авторы предлагают понимать декларируемое информантами предпочтение того или иного языка в ситуациях официального или неформального характера, «практический» языковой выбор, в свою очередь, выражается как в реальном речевом поведении информантов, так и в оценке ими своего речевого поведения в тех или иных ситуациях. Выявленные авторами противоречия, характеризующие современную языковую ситуацию в Украине, дали основание прийти к выводу о «размытом» или «пограничном» характере идентичности, особо присущем молодым людям до 25 лет. Г. Гринченко и А. Мусиездов (ХНУ, Харьков, Украина, «Национально-культурная идентичность жителя “контактной зоны”» (по материалам анкетирования студентов-первокурсников Харькова)) представили предварительные результаты исследования, проведенного в рамках научно-исследовательской тематики, посвященной национально-культурной идентичности населения Слободской Украины. Главный вопрос, который ставили перед собой участники исследования, состоял в рассмотрении влияния границы на проживающих в ареале ее влияния людей, прежде всего – особенностей национально-культурной идентичности жителей пограничного региона в свете воздействия на нее фактора границы. Предварительные выводы состояли, среди прочего, в обосновании отсутствия у жителей Пограничья негативной идентичности, в подтверждении гипотезы о преимущественно бикультурной ориентации жителей Пограничья, а также предположения о том, что для населения данного региона язык не играет исключительной роли в процессе этнонациональной идентификации и не является средством этнодифференциации.
- ¹⁶ Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 2000. С. 264.
- ¹⁷ Например, О. Коновалова обращала внимание на полевые исследования на территории Могилевской области Республики Беларусь. Автор предпринял попытку социолингвистического описания языковой ситуации на белорусско-российском пограничье, опираясь на высказывания информантов и наблюдения исследователей. Это дало возможность сделать предварительные выводы по поводу «воображаемой» и «действительной» языковой ситуации в изучаемом регионе. На белорусско-российском

пограничье выяснилось наличие двух основных языковых оппозиций – «смешанного» идиома и «чистого» белорусского языка. Также выявлялись «деревенский» («свой», «смешанный») язык и язык «городской» (русский). Все-таки, по мнению автора, оппозиция «русский язык – белорусский язык» на белорусско-российском пограничье не занимает доминирующего положения (Коновалова О. Белорусско-российское пограничье: сравнительная характеристика социолингвистической ситуации на территории Беларуси и Польши // ACLS Annual Regional Meeting of the Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine. Kharkiv, 2005: Panel 2. см. <http://www.acls.org/hum-meetings/kharkiv05/Khpanel2.htm> [последний просмотр 20 08 2007]).

¹⁸ Глоссарий.ru // [http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:!uh\\$Tuxyo](http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:!uh$Tuxyo) [последний просмотр 20 01 2008].

¹⁹ Харчева В. Основы социологии. Москва: Логос, 1997. С. 184.

²⁰ Касьянов В.В. Социология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. С. 258.

²¹ Nisbet R. Sociologijos tradicija. Vilnius: Pradai, 2000. С. 93.

²² Там же. 89.

²³ Broom L., Bonjean Ch., Broom D. Sociologija: esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Litera Universitatis Vytauti magni, 1992. С. 123.

²⁴ Broom L., Bonjean Ch., Broom D. Sociologija: esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Litera Universitatis Vytauti magni, 1992, С. 125.

²⁵ Современная западная социология. М., 1990. С. 244.

²⁶ Например, общины бывают *статистические* (номинальные, социальные категории, которые конструируются для целей статистического анализа) и реальные. Последние могут быть массовыми агрегатами, малыми и большими социальными группами. Еще одна разновидность общины – *массовые общности* (*Mass community*), которые понимаются как совокупности людей, выделяемые на основе поведенческих различий, которые являются ситуационными и нефиксированными. Это аморфная совокупность людей с минимальным уровнем групповой интеграции и организации. Ей свойственна и аморфность образования, неупорядоченность, случайность связей, размытость границ, неустойчивость и гетерогенность. Таким образом, массовая общность – это совокупность людей, объединение которых носит случайный характер. Примером такого рода общин являются разнообразные экологические движения, объединения по интересам и т.п. Состав таких общин, как правило, не отличается особой определенностью. Дело в том, что массовая община формируется на основе случайных признаков, которые с точки зрения общества не являются особо значимыми. Иногда под ней понимается совокупность людей, которые ведут себя одинаково в определенных ситуациях. Еще одно важное понятие – *групповая общность* (*Group community*) как совокупность индивидов, которой свойственны органический характер; определенность и устойчивость границ; способность осуществлять многообразные виды деятельности; выраженная гомогенность; принадлежность к более широкой общностям.

²⁷ Гринченко Г. Международные симпозиум «Пограничье: исторический и культурно-антропологический аспекты» // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 510–517.

²⁸ Мальковская И.А. Глобализация и транскультурный вызов незападного мира. М., 2005. С. 401.

²⁹ Held D., McGrew, Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. С. 25

- ³⁰ Наверное, в нынешнем мире это становится все сложнее, особенно в браках между людьми разных национальностей, рас, стран, культур и религий.
- ³¹ Ерасов Б.С. Социальная культурология. М.: Аспект пресс, 2000. С. 265.
- ³² Там же. С. 265.
- ³³ Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 27.
- ³⁴ Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. М., 1996. С. 242.
- ³⁵ Стоппард Т. Стихийная тирания // http://www.dramaturg.org/domenu.php?menu=expand_article&article_id=5615735489; Фурс В. Белорусская «реальность» в системе координат глобализации // Философско-культурологический журнал «Топос». № 1 (10). ЕГУ, 2005, с. 5–18.
- ³⁶ Понятие «Пограничье» можно употреблять и говоря об определении возрастных границ как о скоро изменяющемся явлении. Хотя возрастные границы являются как бы достаточно ясными, в нынешнем мире они становятся все более запутанными и размытыми. Почему? Наверное, существуют, «простым глазом» видимые и поддающиеся исследованию приделы возраста, например переход из детства в подростковый возраст и т.д. Однако современная социальная жизнь выдвигает все новые перспективы, которые ориентированы не на чисто биологические, но и на другие – социальные, психологические и другие аспекты возраста как социального признака. Важными становятся разнообразные промежуточные, переходные состояния, меняется и само понимание Пограничья. Говоря о возрасте, в рамках постмодернистской традиции существенным становится не сам по себе возраст, а его «качество». То есть меняется представление о «качествах» возрастных интервалов и пограничий, так как новое качество возраста формирует новые аспекты перехода от одного возраста к другому. Иначе говоря, важным становится не попадание в тот или иной интервал возраста, а качество пограничья, которое существует между детьми и подростками, молодежью и взрослыми и т.д., так как состояние перехода из одного возраста в другой может протекать крайне медленно, например в течение нескольких лет, иногда даже десятилетий.
- ³⁷ О недоступности Божественной сути для человека метафорично говорится в Библии: *«И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в рая во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая»* (Бытие III; 7–8). Первые люди, стесняясь сделанного греха, прячутся от Бога. С другой стороны, в Ветхом Завете Бог является народу в «столпе облачном», «столпе огненном», в виде горящего, но не сгорающего былья, напр.: *«Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью»* (Исход XIII; 21); *«и явился ему (Моисею) ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, Господи! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»* (Исход IV; 2–5). У язычников боги также представлялись – в водных стихиях, небесных светилах, созвездиях, ветрах, в виде причудливых и известных зверей и птиц, юношей, женщин и т.д.
- ³⁸ Например, широко известный роман «Код да Винчи» и его экранизация.
- ³⁹ Например, всеобщая реакция на «Код да Винчи».

Проблематика и возможности понятия «Пограничье»

⁴⁰ Społeczność lokalna. Encyklopedia socjologii. Warszawa, 2002. T. 4. S. 99.

⁴¹ Это поощряет исследования Пограничья и всех с этим связанных вопросов – локальности, регионализма, глобализации, исследование социальных, культурных, этнокультурных, религиозных, языковых и речевых и других вопросов.

ГРАНИЦЫ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА: СОВЕТСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРСЫ В АВТОБИОГРАФИЯХ ЖЕНЩИН УКРАИНЫ¹

Политическая история Украины – сложна, полна разрывов, противоречий и конфликтов. Столетия без государственности, значительные этнокультурные различия разных регионов, неоднократные изменения общественного строя уже на протяжении XX в., политические и экономические катаклизмы – все это, несомненно, отразилось на процессе формирования дискурсивных практик и жизненных стратегий современных жителей Украины. Гендерные аспекты всех этих трансформаций практически не изучены. Познание именно женского исторического опыта, тех исторических обстоятельств и факторов, которые повлияли на формирование социальных идентичностей украинских женщин, их политических взглядов, религиозных убеждений, общественных и социальных установок, крайне важно еще и потому, что именно женщины все еще являются ключевыми агентами социализации детей. Женщины – это половина граждан Украины, поэтому изучение генезиса их политических ориентаций, общественных идеалов и ценностей может дать ключ для понимания мотивов женского электорального поведения, критериев того или иного политического выбора, форм и сфер общественной активности и т.п. Именно в таких исследованиях исключительно продуктивным оказывается метод устной истории, позволяющий услышать голоса женщин непосредственно, узнать их собственную интерпретацию прожитого прошлого в связи с их настоящим и будущим. Метод доказал свою релевантность как в гендерных (в частности, женских) исследованиях², так и при изучении посттоталитарных обществ³.

Именно такова направленность международного общественно-научного проекта «Женская память: изучение жизни и идентичности женщин при социализме», начало ко-

тому было положено в 1996 г. в Праге группой исследовательниц из стран Центральной Европы (Чехии, Словакии, Польши, Сербии, Хорватии, Черногории и Восточной Германии)⁴. Его главная задача состоит в документировании женского опыта времен социализма посредством записи и дальнейшего сравнительного анализа женских автобиографий. Целью проекта является изучение повседневной жизни, взглядов, социальных идентичностей и жизненных практик разных поколений женщин во времена и после социализма в странах бывшего соцлагеря. Для проекта был избран единый для всех метод создания источников (биографическое нарративное интервью по методике Габриэлы Розенталь⁵), а также разработана и согласована общая техника интервьюирования, что в результате предоставляет возможность дальнейших кросскультурных исследований на основе материалов из разных стран.

Приобщение Украины к этому проекту осенью 2002 г. открыло новые уникальные перспективы использования апробированной методики и практического опыта ученых других стран для развития довольно новой для нас области – устной женской истории. Проект «Украина XX в. в памяти женщин» предполагал запись и анализ 30 устных автобиографий женщин преклонного возраста (рожденных в 1920-х и начале 1930-х гг.), ныне живущих на западе, востоке и юге Украины (а именно во Львове, Харькове и Симферополе)⁶. Открытые партнерские условия участия в международном проекте позволили избрать как проблемно-тематические приоритеты нашего исследования, так и метод анализа биографического материала, т.е. определить собственно украинский познавательный интерес. К текстам биографий был применен метод анализа, называемый в западной качественной методологии «grounded theory»⁷. После трехступенчатой процедуры кодирования текстов биографий в них были определены основные тематические поля, которые и стали для нас предметом анализа. Основными темами дальнейшего анализа женских автобиографий являются: процесс формирования, взаимосвязи и трансформации национальной, этнической, региональной идентичностей женщин в полиэтничном контексте; влияние разнообразных проявлений советской власти на формирование женской судьбы, обстоятельства и последствия вынужденных миграций, женские стратегии выживания и преодоления исторической травмы, женская рецепция и оценка разных политических систем и пр.

В этой статье я попытаюсь проанализировать, какой индивидуальный смысл приобрели социализм и советская власть, с одной стороны, и независимая украинская государственность, с другой, в сознании женщин и каким образом это связано с местом их проживания и этничностью и, соответственно, с их историческим опытом. При анализе биографического нарратива особое внимание уделено способу формулирования мыслей, особенностям построения и представления аргументов, подбору слов и примеров для иллюстрации. Кроме того, для нас крайне важен контекст, в котором актуализируется та или иная тема, ассоциативные цепочки, соединяющие ее с другими темами, что разрешает судить о наличии тех или иных дискурсов и их месте в структуре идентичности.

Крайне интересно сравнить также спонтанные рефлексии женщин о советской власти по ходу биографического нарратива и их же оценочные суждения в ответ на прямые фокусированные вопросы, поставленные в конце интервью («*Какое значение в вашей жизни имела советская власть?*» и «*Какое значение в вашей жизни имела независимость Украины?*»).

Такое сравнение может показать, в какой степени официальный политический дискурс (представленный в мощной советской пропаганде и современной идеологии национального государственного строительства) был интериоризирован и как он соотносится с индивидуальным биографическим опытом женщин на уровне их практического взаимодействия с институтами власти.

В процессе работы с женскими биографиями были выделены те сюжеты и концепты, которые можно рассматривать как индикаторы преобладания того или иного дискурса – советского/тоталитарного или национального/демократического в мировоззрении женщины. Среди них самыми показательными являются следующие: параметры критики советской власти/социализма; различия в понимании социального неравенства; позиция по отношению к официальному государственному языку (русскому/украинскому соответственно); коллективистская/индивидуалистская жизненная позиция; структурирование времени жизни и локализация пространства родины в автобиографиях.

Социализм и советская власть

Несмотря на то что все опрошенные женщины осознают небезупречность советской власти, существует ощутимая разница в их рассуждениях и личном восприятии ее недостатков и преимуществ. Предмет и глубина критики той власти выразительно коррелирует с местом жительства и этничностью респондентки. Как показывают материалы биографических интервью, пожилые женщины всех трех регионов признают положительное влияние советской власти, в частности тогдашней социальной политики, на их индивидуальные судьбы. Это касается, прежде всего, доступности определенных социальных благ, как-то: возможность получить хорошее бесплатное образование, иметь работу по специальности и полную занятость (особенно на фоне высокой безработицы сегодня), пользоваться бесплатными медицинскими услугами и, наконец, получить бесплатное жилье. В общем, они признают, что своей вертикальной социальной мобильностью они в значительной степени обязаны именно системе социализма, хотя и не осознают гендерно-эмансипационные ее аспекты.

Фактически в женских автобиографических нарративах прослеживается некая закономерность. Воспоминания о годах советской власти женщин с Запада насыщены негативными ассоциациями и эмоциями: материальные потери и трудности выживания в первые (послевоенные) годы советской власти, репрессии, принуждение и давление со стороны властей (колхоз, комсомол, участие в массовых

мероприятиях), ограничения на использование родного языка в профессиональной деятельности, запрет на удовлетворение религиозных нужд и поддержание национальных традиций, постоянный страх преследования за любую критику и недовольство этим порядком. Украинские женщины поддерживают свои болезненные воспоминания о пережитых трудностях советских времен. Признавая те или иные преимущества социализма, они вместе с тем не готовы ни забыть, ни простить его недостатки. Это касается прежде всего ограничений гражданских прав, которое они испытали в то время. Оценивая значение советской власти в своей жизни в ответ на прямой фокусированный вопрос, женщины с Запада пытаются соблюдать объективность, указывая как на преимущества, так и на недостатки того строя. При этом используют практически идентичные выражения, что указывает как на сходство их опыта, так и на общность их дискурса.

«Значення то, що я поступила, що вечірне вчилася і вечірню школу закінчила, і вечірньо поступила. То тільки добре. А остальне - той колгосп, то намучилися, що тягали в колгосп – то мінус був <...>. Ну і то, що малі зарплати були <...> І що слова ніякого, вільного слова не мала, і не могли до церкви ходити, нічого. Тим погано було. А то, що легше було, то легше хати можна було, [ми] ще дістали хату <...> Що вчилася, що не платили, що легше було поступити <...> дочка і я поступила <...> і вчилася. І школу вечірню вчилася. І дочка поступила. <...> Тим легше. А остальним, то це нічого доброго не було. Бо не мала вільного слова! Не мала права нічого сказати, бо боялася, що як щось скажеш, то тоді можуть прийти забрати і посадити. І говору, до церкви: я привикла скоріше все до церкви ходити і все, а тут не мала права! Дітей не мала права [хрестити в церкві]...» (UL4-05: 1435–1448)⁸.

«То, що я кінчила педучилище, а життя було дуже важким фактично. Те, що я здобула освіту без грошей, бо тоді ніхто не брав такого хабаря, як зараз. [За] навчання не треба було платити, давали ще ту мізерну стипендію 140 рублів <...> А життя було дуже важке. І не було що з'їсти, і не було що одягнутися. Одне те, що я освіту здобула... А що більше – більше нічо. Ну, працювала. <...> Ну, що основне, то що я здобула освіту і стала вчительом, що мрія моя дитяча здійснилася. А життя було важким. І по чергах ми стояли. І за продуктами, і грошей не вистарчало, і одягу не було. Всяко проходилося. Ну що далі. То що освіту здобула я, а так більше нічо.

<...> Шо то говорити. Ми не мали права ніде ні голосу, ні нічого. <...> Яке було право? Ніяке. І мама боялася. Ні свят ми не справляли. Ще пам'ятаю в педучилище як ходила, на першому курсі ми ходили завжди в церкву. А потім прийшла педагогічка така NN (...). Вона як побачила нас в церкві, то після того сказала: “Я ще раз вас побачу!.. Ви що за вчителі, що ходите до церкви?! Вам не бачити педучилища і професії вчителя”. <...> Бо так: того не можна, того не

можно, там не сядь, там не скажи. Всього було заборонено, бо попав би за ґрати. А ще особливо до 53 року, то то вже навіть нема що говорити. Поки Сталін жив, то то було!.. Щось протів сказав – і вже в НКГБ був. Вже ламали пальці, вже печінки відбивали і всьо на світі...» (UL2-04: 1179–1240).

Женщины с востока и юга Украины (даже те, чьи семьи непосредственно пострадали от советской власти из-за голодомора, репрессий и т.д.) пытаются если не полностью оправдать, то хотя бы умалить, сгладить негативные аспекты и последствия тоталитарного режима. Восхваляя политику и практику социализма в социальной сфере (в частности, бесплатное образование и медицину), они рассматривают пережитые трудности и ограничения как справедливую цену за полученные блага. Для них те преимущества, которые получили обычные люди благодаря советской власти, имеют большую ценность, чем любые понесенные потери. Некоторые из них и сейчас готовы признать даже целесообразность сталинской репрессивной политики и практики.

«[Советская власть имела] большое значение в моей жизни. Были плюсы, были беды, было горе, были неприятности. Но вместе с тем в этой жизни я выросла, начиная с 33-го года по сей день. Я получила образование, получила специальность, я имела работу, я зарабатывала, я могла разрешить себе многие вещи. Вот. <...> Поэтому лично мне... Конечно, родителям пришлось несладко – но моя жизнь, в отличие от родителей, оказалась более удачной, потому что, если мама 10 лет была без папы, мне такой беды не досталось. <...> Так что я могу быть только благодарна. Я **не берусь** судить о тех годах, которые были до 33-го, в 37-м, которые были потом <->. Вместе со всеми, как говорится, сопереживала всем тем событиям. Но как человек трезвый, нормальный, понимаешь, что любая война, любая перемена, любая перестройка – это жертвы... к несчастью, к сожалению. <...> Так что я про себя могу сказать, что я полноценно весь период своей жизни прожила при этой власти» (US1-04: 1510–1528).

«Советская власть в моей жизни имела **очень большое значение** <піднесено>. То, что мы выжили в 32-33 год, уже будучи без отца у мамы. <...> Мы выжили – это раз, мы пошли в школу, учились хорошо, вот. Если нужна была какая-то помощь медицинская <...> обслуживали нормально. И разве бы я **где-нибудь**, в каком-нибудь **государстве** – остаться круглой сиротой, и получить высшее образование?! **Нет!** <...> Я получила, работала <...> у меня никогда сложностей не было, мне всегда во всем помогали, вот, поэтому... Вот это она мне образование дала, воспитала меня, все...» (UK1-04: 2279–2290).

Причем женщины не только не высказывают прямой критики по этому поводу, но даже заявляют о беспочвенности подобных обвинений в адрес советской власти, недостатки которой считают неоправданно преувеличенными. Похоже,

можно вполне говорить о преобладании в женских нарративах двух типов дискурса с характерной системой ценностей: советский – готовность платить гражданскими и личными свободами за социальные блага, и национально-либерально-демократический – готовность отказаться от материального благосостояния и социальной защиты ради демократии и национальной независимости. Примечательно, что в нарративах женщин с востока и юга Украины проблема ограничения гражданских прав и свобод (в частности, свободы слова) возникает крайне редко.

«Это сейчас, я вам скажу, Сталина ж во многом искажают, **во многом** искажают. **Было** у него что-то плохое, но было ж и хорошее. Так вы **просейте**, как муку сквозь сито: возьмите хорошее, а плохое выбросьте <...> Да, он жесток был, но наша такая... многие ж сейчас возвращаются к этому, что, мол, надо руку вот такую <сжимает кулак> держать <твердым голосом, возбужденно> и народ – шоб он понимал...» (УК1-04: 1195–1202).

«Я не могу упрекнуть государство в том, э-э, что оно лишало меня каких-то свобод, выбора профессии, отношения к жизни. Говорят, что, вот, не было демократии и так далее... Я человек прямой, я не любила никогда говорить за глаза, я любила всегда говорить людям правду. <...> Ко мне всегда относились хорошо, несмотря на то что я могла на любом собрании, партийном собрании, Совете (я двадцать лет... более двадцати лет была членом Совета, э-э, университетского) – и я могла выступить прямо и сказать о всех недостатках людей и человека, или о всех поступках, или то, что мне не нравилось в нашем университете. И я не чувствовала к себе потом негативного отношения. Это удивительно! (...) Будучи в городском Совете, я на сессиях могла выступить и критиковать любого председателя городского Совета, любого депутата... <...> И никто на меня не обижался. А теперь говорят, что там попиралась свобода, че... это... слово за... критическое за... э – эф... оценивалось плохо и **преследовал** кто-то... Я не чувствовала это к себе. Потому, что я знала, что **я** сказала то, что я думала, и что я <...> могу свободно выразить свою мысль и сказать то, что я знаю, думаю и чувствую. Вот так. <...> Так, что, э-э, советская власть, э, не всеми, э, правильно оценивается» (УС6-04: 1352-1394).

Следует отметить, что в фазе биографического нарратива обращение к теме советской власти носит скорее характер повествования (наррации) о конкретном личном опыте, но в то же время оно обычно содержит и оценочные суждения. Примечательно, что такие оценочные суждения (аргументация) являются органичными и уместными вкраплениями в общий нарратив. Они высказываются в заключение определенных тем или сюжетов и расставляют соответствующие акценты об отношении рассказчицы к собственному и общему прошлому.

Социальное неравенство

Одной из основных идей социалистического устройства является тезис о социальном равенстве граждан, равный для всех граждан доступ к ресурсам и возможностям. Впрочем, в жизни практически каждой из женщин, чьи биографии нам доступны, так или иначе возникает тема социальной стратификации и неравенства (привилегий или дискриминации), однако причины и формы такого неравенства не все женщины видят одинаково. Например, практически в каждой истории найдем упоминание о несправедливом оценивании знаний учеников или о нечестной конкуренции между сотрудниками в продвижении по службе и профессиональной карьере. Русскоязычные женщины востока и юга Украины при этом ссылаются прежде всего на различия в возможностях и качестве жизни богатых и бедных, имея в виду существовавшую даже при социализме иерархию общественного статуса и/или материального положения граждан.

«Учительница у нас была... в первом классе из “баров”, барская такая дама и она как-то **пренебрегала** бедными детьми, знаете, она нас так... выделяла. И я иногда, бывало, на контрольной работе **все** сделаю хорошо – “удовлетворительно”, ни одной ошибки. А мы-то уже понимали... Другая соседка – папа был замдиректора завода, Верочка, и соседи они наши были, абсолютно ничего не знала, пишет все – и ставила хорошую оценку, четвертные, все ...» (UK1-04: 65–72).

«При матери уже осталось **только** трое. Зарабатывала в основном шитьем, она шила, шила в богатых домах, уходила на целый день, нас оставляла одних, приходила, ее это устраивало, она там питалась. Конечно, приходила она, иной раз чувствовали мы, что она **очень** расстроена» (UK2-04: 66-70; 363-364; 367-368); «Конечно, были богатые э... семьи, дети которых учились со мной, одевались очень хорошо, особенно девочки, ну шо ж, только позавидуешь» (UK2-04: 124–128).

Украинки с запада, исходя из собственного опыта, видят причины схожей социальной несправедливости или неравенства скорее в этнических и политических предубеждениях по отношению к западноукраинским жителям, испытывавших на практике прямую дискриминацию на институциональном уровне и высокомерно-пренебрежительное отношение со стороны русскоязычных сограждан в повседневной жизни.

«...Презирство було: все говорили, що ти бандеровка, що ти западенка. То було з давніх давен. Поляки нас не вважали і росіяни нас не вважали. Поляки називали холопами, а росіяни називали нас бандерівцями і донині називають западенка, бандерівка <...> Фактично так. Так було і в школі. Дивилися на нас як через ґрати. <...> ну бачиш, до східних, до дітей з східних областей якось було

відношення зовсім інше, як до нас з західної. Вони говорили, що то тут <...> все нас називали чогось бандерами, петлюрівцями і всьо. З презирством ставилися до людей з західних областей України, що то говорити...» (UL2-05: 1202–1215); «Переважно давали [звання] заслужені які вчителі зі східних областей. А з Західної України нікого майже не було. Не нагороджували, бо нас рахували, що ми вже така сіра маса яка – бандерівська, як називали <сміється>. І то нам не треба було» (UL2-05: 1072–1075).

Интересно, что в некоторых нарративах русскоязычных женщин эта ситуация находит свое подтверждение, хотя и интерпретирована уже в положительном ключе. В их рассказах выстраивается выразительная культурная иерархия между Россией и россиянами, с одной стороны, и всеми остальными национальностями СССР – с другой. Таким образом, артикулирована просветительско-цивилизаторская миссия русского народа по отношению к другим культурно отсталым нациям.

«Тогда страна ставила вопрос – помощь всем национальным республикам, и посылали закончивших училище в разные республики советские – Узбекистан, Калмыкию. Вообще, по всем республикам, особенно среднеазиатским и вот таким отсталым» (US6-04: 130–133); «Советский Союз вывел эти все национальные республики сам, за счет своего горба и за счет энтузиазма – себе отказывали (я видела, как живут, жили мы в Калининской, в Ярославской области и до сих пор живут, и как живет теперь Украина, как живет Узбекистан, где не было... была полная безграмотность, а все отдавали России все национальные республики, именно России – это я практически все знаю...)» (US6-04: 820–826); «...У нас учились и узбеки, и таджики, мы повышали э... квалификацию преподавателей русского языка из этих стран, как бы оказывали помощь в развитии национальной культуры и в изучении русского языка в этих республиках» (US6-04: 875–878).

В конце интервью в ответ на прямой вопрос «Какое значение в вашей жизни имела независимость Украины?» та же женщина вновь четко артикулирует ту же мысль:

«Россия была главным, э-э, главной страной, Россия, которая оказывала **всемерную помощь** во всем – материальную, в культурном, духовном росте, э, национальных республик <...> Нас посылали в Узбекистан, в Грузию, в Армению, то есть там, где нуждалось. Я, э, прекрасно знаю и все данные, которые существуют, что до революции, э, все закавказские страны, республики, все, э-э, среднеазиатские республики и даже Украина... А Молдова?.. И так далее... – были же, по сути дела, безграмотными странами, где, э, язык развивался слабо, наука развивалась слабо... Э-и-э, бывший Советский Союз **все делал**, чтобы вывести эти, э, республики...» (US6-04: 1476–1485).

Осознанно или нет, однако эти женщины говорят фактически о стратификации советского общества по национально-территориальному признаку, когда Россия и русские/русскоязычные граждане СССР рассматривались как культурно превосходящие «отсталое» население национальных окраин. Характерно, что используемые при этом обороты и выражения звучат довольно шаблонно, и эти штампы явно позаимствованы из риторики советской пропаганды. Это указывает на глубину идеологической индоктринации и интериоризации женщинами официального политического дискурса, ставшего частью их идентичности.

При таком понимании социальной стратификации восходящая социальная мобильность, общественный престиж и статус человека оказывались, очевидно, напрямую связаны с приобщением ее/его к русской культуре/цивилизации, т.е. с формированием некой «советской идентичности», ключевым маркером которой являлся русский язык. Именно эта идея неоднократно всплывает в нарративах русскоязычных женщин востока и юга, этничность которых вовсе необязательно русская. В одном из интервью находим буквально прямое указание на то, что в массовом сознании социальный престиж/рост был обусловлен фактом владения русским языком:

«Ведь это же что-то дала советская власть, чтобы таким неграмотным родителям, которые по-русски плохо говорили, чтобы выучить детей таких специальностей!» (УК2-04: 2245–2247).

Вопрос языка

Вопрос языка неизменно возникал в контексте ответа на вопросы «Какое значение в вашей жизни имела советская власть?» и «Какое значение в вашей жизни имела независимость Украины?». Впрочем, женщины часто обращались к теме языка и по ходу биографического нарратива как раз в связи с темой того или иного общественного строя/государства, т.е. для женщин вопрос о власти неизменно ассоциировался с вопросом об официальном государственном языке и о его соотношении с их родным языком.

Русский язык был языком государственным, официальным; он был также родным языком вождя революции и языком общения коммунистических лидеров. Поэтому он имел статус престижного, что одновременно возвышало и русскоязычных граждан СССР над теми, кто этим языком не владел или владел плохо.

В коллективном сознании образовалась устойчивая ассоциация между советскими властями, русским языком и русскоязычными гражданами. Фактически русский язык был одним из основных атрибутов и инструментов тоталитарного режима, и это в значительной степени определило отношение и к режиму, и к языку: государственная политика систематической русификации формировала негативное восприятие власти, и, одновременно, жестокость власти (репрессии) вызы-

вала враждебность по отношению к ее официальному языку. Украинский язык стал официальным государственным языком в Украине после обретения независимости и также четко ассоциируется с новой национально-демократической властью и соответствующей идеологией.

Русские были титульной нацией СССР, «старшим братом» других народов, который был уполномочен волей-неволей вести их к «светлому будущему», в котором, согласно генеральному плану, все этносы должны были слиться в одну политическую нацию – советский народ, с единым языком общения – русским⁹. Как и остальные народы, украинцы должны были изучать русский язык и использовать его в публичном пространстве¹⁰.

Как известно, несмотря на формальное равенство всех национальных языков бывшего СССР, практически во всех советских республиках царило асимметричное двуязычие: их титульные нации обязаны были изучать русский язык, тогда как русскоязычные пришельцы не всегда изучали соответствующие местные языки. Языковая политика, направленная на понижение статуса и сужение сферы функционирования языков коренного населения, – один из инструментов колониальной власти, являющийся эффективным средством его этнокультурной ассимиляции и размывания этнической идентичности.

Вопрос соотношения русского и украинского языков и речевых практик в женских биографиях неразрывно связан с родным языком самой рассказчицы. Вопрос языкового неравноправия является достаточно болезненным для тех женщин, чей родной язык и язык общения – украинский. Они постоянно отмечают несправедливость ситуации, когда украинцы постоянно вынуждены были демонстрировать свою лояльность к языкам имперских наций (польской или российской), а те не выказывали взаимного уважения их родному языку. Примечательно, что, артикулируя проблему систематической девальвации украинского языка в советское время, украинские женщины с Запада ссылаются не столько на тогдашнюю государственную политику лингвоцида¹¹, которую вряд ли осознавали тогда, сколько на конкретные и очень схожие между собой случаи из собственного жизненного опыта. Типичным примером в этом смысле является рассказ о некоем конкретном русском человеке (чаще всего женщине-соседке или знакомой), которая прожила 50–60 лет в Западной Украине, но так и не заговорила на украинском языке. Другой стандартный пример – требование использовать русский язык по месту работы и учебы.

«Та я, знаєте що, ставлюся так: я знаю, що поляки з нами робили, то я погано, я ненавиджу їх просто. По-перше. По-друге, вони слова – або по-польськи, або по-російськи – а по-українськи вони слова не скажуть. А як ми були в Польщі, то по-українськи ми не мали права говорити, а вони прийдуть тут, то вони по-українськи не вміють, хоча й можуть. Не вміють сказати. Так само й ті росіяни. Ну в нас в домі живе така ця NN. Скільки вона – 50 років, чи де більше вже живе

тут у Львові, вона слова по-українськи не скаже. То що, не можеш навчитися? Не хочеш просто, не хочеш! Як москалі, так ці, поляки не хотять вчитися українською...» (UL4-05: 1529–1539).

В то же время женщины юга и востока Украины не видят никакой надобности в изучении украинского языка в стране, где все и так говорят на русском.

Примечательно, что как раз женщины-украинки, чья этническая идентичность была под угрозой, высказывают озабоченность относительно насаждения русского языка в советское время. Именно этот фактор стал определяющим при оценке ими факта обретения независимости. Западноукраинские женщины воспринимают ее как событие, которое одновременно избавило их от обоих травмирующих факторов – и тоталитарной власти, и чужого языка. Из ответов на прямой вопрос «Какое значение в вашей жизни имела независимость Украины?» следует, что таким образом украинцы восстановили свое национальное достоинство, вернули те гражданские права и свободы, которых были несправедливо лишены.

«Яке значення? А те, що стало вільно дихатися, <сміється> що ти живеш на своїй землі, в своїй країні. <...> Батьки казали, що ще колись буде Україна вільною, незалежною ні від якої держави, ні від якої нації. І ми... здається, так як легше стало дихати на землі і людям, хоть ті пенсії мізерні, але все одно живеш в своїй незалежній Україні. Вільніше ходиш по землі, вільніше дихаєш, вільніше, як кажуть, відчуваєш якоесь себе, що ти є людина. ...» (UL2-04: 1394–1400).

«Хоч би Бог дав, щоб то не змінилось, щоб та наша незалежність збереглася, щоб була. Хай хліб і вода буде, а лиш би було своє слово, щоб ми могли вільно говорити, шо хто хоче, вільно ходити до церкви, віросповідання, і все» (UL4-05: 1612–1614).

В отличие от них русскоязычные женщины востока и юга Украины преимущественно одобрительно высказываются по поводу повсеместного использования русского как языка межнационального общения народов СССР. В данной ситуации они не усматривают никакой проблемы, возможно потому, что для них лично она не создавала никаких ограничений или осложнений. Примечательно, что ученые наблюдали схожий эффект, исследуя женское восприятие национальных границ и (психологических) межэтнических барьеров. Оказалось, что «дети, которые выросли в центре большой и сильной страны, вообще не чувствовали себя в чем-либо ограниченными»¹². Возможно, принадлежность к господствующей нации в полиэтническом государстве может создавать такое же ощущение отсутствия каких-либо ограничений.

Однако, как только политическое положение русских изменилось (из ведущей нации бывшего СССР они превратились в национальное меньшинство в Украине), их восприятие языковой ситуации также меняется в корне. Русскоязычные женщины

обеспокоены потерей бывшего официального и престижного статуса русского языка в современной Украине. Они высказывают опасения по поводу возможной принудительной украинизации, из-за чего им, как им кажется, придется изучать и повсеместно говорить по-украински, а не по-русски. Надо заметить, что законодательство бывшего СССР и Закон о языках современной Украины (1989) гарантируют свободное развитие языков национальных меньшинств и их культур¹³. Однако, как известно, и такое формальное равенство имеет мало общего с понятиями престижа и дискриминации на уровне повседневных практик. Это то, что испытали украинцы тогда, и этого же боятся русскоязычные жительницы Украины сейчас.

В нарративах всех женщин фигурирует такое полумифическое время всеобщего межнационального согласия и взаимоуважения, когда этноязыковые вопросы не казались им ни актуальными, ни тем более болезненными. Другое дело, что этот «золотой век» в их рассказах соотносится с разными историческими периодами. Так, женщины с востока и юга тоскуют по советским временам, когда для общения был нужен лишь один язык – русский. При этом их нарративы поразительно схожи между собой и по форме, и по средствам выражения.

«Я учила разных людей: в классе были и татары, и грузины, и узбеки. Откуда только люди нб приезжали. И западные украинцы приезжали, в деревнях когда... **Проблем** по национальности никогда не было ни с евреями, ни с кем. <...> Тогда, когда мы жили, это не было проблемой, эти вопросы нас не волновали и даже в журналах не писали. В [классных] журналах была такая колоночка в конце “родной язык” – как правило, писали – русский, русский, русский. А национальность, как таковая – так она меня не интересовала. И учащихся, и людей, которые вокруг меня. <...> Так что это, **то**, что сейчас выставляется проблемой - тогда не было проблемы. Мы спокойно жили в каком-то плане, как говорили <...> Сталин, по-моему, или кто-то говорил: “есть нация – советский народ”...Так что это, это просто меня не волновало» (US1-04: 1529–1554).

«Ну, что приехала в Степанокерт и работала я там учителем и завучем средней школы. <...> В Степанокерте была одна русская школа, одна армянская и одна азербайджанская школа. Вот в русской школе я была завучем и учителем русского языка. Интересно было очень работать – многонациональная школа. В русской школе учились и русские, и азербайджанцы, и евреи, и армяне, и грузины и кто хотите. Но я это время вспоминаю с большим, э-э, это, чувством, глубоким чувством. Как относились тогда к... и никаких межнациональных отношений, никаких, никакой розни, никаких разговоров о том, что вот этот – еврей, этот – азербайджанец, этот – армянин... Все как-будто были одна сплошная большая семья, большая семья» (US6-04: 393–405); «Кроме того, что, вот, была там завучем школы, я два года была директором пионерского лагеря в Шуше... (это город азербайджанский, в горах) <...> И там дети были всех национальностей, и чтоб кто-нибудь сказал: “Ай, ты турок или ты армянин, или

ты еврей?» – никогда слова этого не было слышно. И ка... и **удивительно** отношение к русскому языку. **Все** стремились изучать русский язык» (US6-04: 432–437).

Политика советского «плавильного котла» (доктрина «единого советского народа») на уровне повседневных практик должна была бы, кажется, вести к всеобщему игнорированию, нечувствительности, безразличию по отношению к этничности окружающих, когда все и каждый делают вид, будто этничности и этнических различий вообще не существует. Однако, судя по женским нарративам, глубокая персональная интериоризация этой доктрины не произошла. На самом деле, заявляя о том, что этничность их никогда не интересовала и они на это никогда не обращали малейшего внимания и не придавали никакого значения, русскоязычные женщины востока и юга на деле точно помнят и неизменно указывают национальность всех тех, о ком упоминают в своих рассказах!

«Я вспоминаю наш крымский **класс** в крымской школе. Ну, состав был самый такой интернациональный: **русские, украинцев** как-то было мало, много было **евреев**, девочек и мальчиков, два было мальчика – **армянина**, девочка – **гречанка** и два татарина <...> Класс был очень дружный, никогда никаких не было даже **намеков** на какие-то национальные взаимоотношения. Все как-то считали себя **равными**, и никто даже не задумывался о национальностях. <...> **До** этого никто никогда над этим вопросом не задумывался» (US3-04: 786–795). «Я настолько воспитана была **интернациональном духе**, что я даже никогда не **задумывалась** над этим вопросом, я <...> **никогда** ни в какой расчет не беру национальность, у меня это уже в **крови** и уже это не **переделаешь**. Нас **так** воспитали» (US3-04: 864–868).

«Сколько я жила, у нас никогда... в детстве еще, у нас никогда не было, кто еврей, кто украинец, кто там узбек или кто, **не было**, мы все были одной нации <улыбается>. Даже не было, шо ты русский, а ты украинец – **одной нации** мы все были <...> В школе мы не обращали внимания на национальность, ну, в вечернем институте...» (UK1-04:2296-2298, 1113–1151).

«...Класс был **очень** дружный, очень дружный и многонациональный. **Никогда** никаких распрей, никаких, так сказать, **обид**. Тогда этого не было, тогда это **все** было хорошо <...> Дом у нас был многонациональный: и крымские татары, и лезгины, и казанские татары, и азербайджане <...> Русских семей **немного** было, но это была единая семья, **единая** семья» (UK2-04: 124-126, 180–185).

Украинки с запада, напротив, утверждают, что этническое происхождение всегда играло важную роль в их жизни, а декларации о национальном равенстве и дружбе народов на деле зачастую подменялись практикой прямой или скрытой на-

циональной дискриминации. Их рассказы выстроены на воспоминаниях об опыте сопротивления (пассивного или активного) политике и практике этноязыковой гомогенизации, т.е. русификации в советское время. Не потому ли они тоскуют по довоенным временам их довоенного детства, где, как им теперь кажется, царила гармония и представители других народов (поляки, евреи) уважали украинский язык (что на самом деле, по меньшей мере, сомнительно). На фоне более живого, многолетнего и осознанного советского опыта национально-языковых проблем, воспоминания о дискриминации, которой они скорее всего подвергались под властью Польши затерлись в их памяти или по крайней мере потеряли свой исходный смысл.

«Ми дружили, будучи дітьми, і з поляками, і з євреями, ми бавилися в дворі одному і єврейські діти бавилися, і бавилися поляки, і українці бавилися. Всі разом бавилися, поки не було росіян. Всі нації бавилися і різниці не робили. Вони всі, наприклад, старалися говорити українською мовою. Говорили, більш вони підстосовувалися під наше. І той поляк, нехай він – та дівчинка чи хлопчик – вони старалися нехай одне слово по-польськи, друге по-українськи, але старалися говорити з нами так, як ми говорим. І ті євреї завжди говорили по-українськи до нас. Між собою вони так шваготали по-єврейськи, що ми не розуміли діти, як вони говорять...» (UL2-05: 1309–1318).

Итак, для женщин востока и юга русский язык также отождествляется с советской властью, но эта связь имеет полностью положительные коннотации. В то же время, для тех, чья национальная идентичность (когда под нацией понимали именно «русскоязычный советский народ») зиждется на тесной связи с Россией, независимость Украины воспринимается как травматическое событие. Для них независимость – это бессмыслица, деструктивный акт, разрушивший бывшую целостность, «идеальные» отношения между братскими славянскими народами. Именно это, похоже, является основной причиной их откровенно негативного отношения к независимости.

«Я не считаю Украину **независимой**, потому что ни в экономическом, ни в политическом отношении никакой независимости у ней **нет**. <...> Но <...> провозглашение независимости **Украины, безусловно**, отразилось на всех нас. Ну, во-первых, утеряна Россия, с которой мы, люди даже **не только** русской национальности (потому что я наполовину **украинка** – у меня отец **украинец**, но я **пишусь** так русская) <...> это **утрата корней** <...> Всю жизнь были вроде, в одном **государстве** жили, сейчас оказались по две стороны **рубежа**. Я считаю, это очень **неразумное** решение, если случится **когда-то** это объединение **вновь**, только можно это **приветствовать**. Это... национальности **славянские** должны все ж таки **держаться** друг за друга...» (US3-04: 879–894).

«Власть я только одну признаю – нашу советскую власть <...> Другой власти для меня нет. <...> Я... совершенно советский человек <...> Мне, конечно, очень было обидно и жалко, что развалился наш Советский Союз, в котором я жила, которое ценила, которое я дорожила. Оно осталось в моем сердце <скрестила на груди руки, в глазах слезы> <...> Мне, конечно, очень не нравилось, когда разделили нашу страну, разделили на куски, **растерзали** ее, вот. Была одна страна. Одни деньги. Одни люди...» (US2-04: 837–855; 908–910).

Коллективизм vs индивидуализм

При анализе советского дискурса и соответствующей идентичности довольно продуктивным кажется понятие коллективизма. Именно через принадлежность к определенному трудовому коллективу формировалось чувство причастности к обществу вообще, то есть формировалась определенная коллективная идентичность. Кроме того, лишь посредством участия в коллективном общественно-полезном труде обычные люди внести свой вклад в общегосударственные достижения и потом разделяли гордость за них со всем советским народом. Членство в коллективе было едва ли не единственным способом придать какой-то смысл существованию отдельного индивида в обществе, идеологические постулаты которого отрицали значимость любой индивидуальной активности и обесценивали отдельную личность.

Чувство коллективизма является ключевым элементом, ядром мировоззрения советского человека, в идеале вообще не мыслящего себя вне коллектива¹⁴. Партийный принцип «приоритета коллективных интересов над личными» на уровне повседневных практик означал размывание границ индивидуального пространства, активное проникновение и вмешательство общества (в лице коллектива) в приватную сферу, личную жизнь граждан. Зачастую в нарративах женщин востока и юга концепты *коллектив*, *дружба*, *интернационализм*, *Советский Союз* принадлежат к одному дискурсу – советскому.

«Я, вот, из бедной крестьянской семьи, э, доросла до профессора, э, была уважаема в коллективе, в городе <...> я благодарна, прежде всего, э, бывшему Советскому Союзу. Потому, что я с ним прожила почти всю свою жизнь. И, когда сейчас я, вот, смотрю, то многое мне в современной жизни не нравится. И в воспитании детей, и в образовании, и в здравоохранении. И считаю, что хулить, ругать бывший Советский Союз нельзя. В нем много было интересного – мы были большими патриотами, мы были большими интернационалистами и остались ими до сих пор. Мы любили свою страну, любили, э, ее **по-настоящему!** А сейчас, вот этого чувства уважения к своей стране, к своей Родине... оно как-то падает и больше всего выдвигается на первый план свое личное “я”, а не общее “мы”» (US6-04: 1335–1345).

В одной из биографий крымчанок (US1-04) слово *коллектив* упоминается 11 раз и исключительно с положительными коннотациями: женщина горда своей принадлежностью к коллективу и своим активным участием в его жизни (и в профессиональном смысле, и в неформальном). В нарративах западноукраинских женщин, напротив, едва ли встречаем даже само слово *коллектив*. Их профессиональная идентичность выражается скорее в ассоциации с определенным видом деятельности, специальностью, нежели с институцией или персоналом конкретного учреждения. К тому же отношения со своими коллегами по работе в их рассказах описаны не столько в терминах солидарности (сплоченность, дружба, помощь, взаимоподдержка и т.д.), сколько в терминах конкуренции (проблемы карьерного роста и продвижения, трудовые и личные конфликты и т.д.). Таким образом, одни артикулируют свои коллективистские ценности, основанные на глубоко отождествлении человека с группой, а другие – репрезентируют скорее индивидуалистское мировоззрение, в рамках которого личность мыслится как противостоящая коллективу.

Время и пространство: локализация ностальгии

«Ностальгия (от *nostos* – возвращение домой и *algia* – стремление) является тоской по дому, которого больше нет или никогда не было. Ностальгия – это чувство потери и вытеснения», – объясняет смысл понятия «ностальгия» Светлана Боим в предисловии к своей книге «Будущее ностальгии»¹⁵. «На первый взгляд ностальгия есть тоска по месту, однако на самом деле это тоска по другим временам – временам детства (...) Ностальгик стремится отменить историю и превратить ее в личную и коллективную мифологию, вновь посетить время как место, отказываясь подчиниться необратимости времени, которая преследует человека»¹⁶, – утверждает она.

Структурирование времени и пространства в автобиографических нарративах женщин разных частей Украины имеет свою отчетливую специфику. Трудно не заметить водораздел между востоком и западом, который является сквозной темой всех жизненных историй жительниц этих территорий. Женщины Крыма ассоциируют себя скорее с Россией/СССР, чем с Украиной, из-за чего тема противостояния востока и запада в их рассказах возникает лишь на маргине. В целом в сознании женщин каждый из регионов не только стоит особняком от других, но и в какой-то степени противостоит им. Такое восприятие четко артикулировано в рассказе женщины из Харькова, высказывающей свои опасения по поводу проблематичных отношений между тремя регионами:

«Ну **слава Богу**, слава Богу, шо на Украине нет войны, вот это **слава Богу**, надо вот это вот... это очень хорошо. Вот сейчас говорят очень много о том, шо у нас нестабильность, нестабильная обстановка <...> **Слава богу**, шо нет во... **нет** у нас войны, нет побоищ никаких, вот это надо ценить. <...> Может лучше, шоб

ее разделили на три части: Западная Украина, восточная и Крым, все. Дай бог, шоб мир сохранился, тогда все наладится...» (UK1-04: 2372–2382).

Формулируя свою позицию по отношению к советской власти и национально-демократической украинской государственности, соответствующим идеологиям и практикам, женщины трех регионов демонстрируют четкие установки «за» или «против». В поисках объяснения отличий в дискурсах женщин разных регионов я обратилась к фактам их биографий. Фактор пространства (место рождения и постоянного проживания) в значительной степени детерминировал исторический опыт и, следовательно, сформировал конструкт времени в женских автобиографиях. Женщины родом из Галичины родились в условиях иного общественного строя. Их ранняя семейная социализация и школьное образование не пребывали под влиянием коммунистической пропаганды. До прихода советской власти (1939 и 1946) их семьи не знали террора сталинской репрессивной машины. И хотя жизнь украинцев Галичины в период между двумя мировыми войнами трудно назвать безоблачной (учитывая дискриминацию со стороны польской власти), однако до 1939 г. они не знали ужасов активного построения «коммунизма»: ранней принудительной коллективизации и голодомора 1932–1933 гг., политики и практики русификации путем преследования и физического истребления украинской интеллигенции, воинствующего атеизма, предполагавшего физическое разрушение церквей и т.д. Более того, население Западной Украины имело сравнительно большой опыт демократии и парламентаризма как под властью Австро-Венгрии, так и в составе Польши, то есть имело представление о гражданских, личных и политических правах и свободах, а также навыки пользования ими. Так что местные украинки знали (по крайней мере, от родителей) и десятилетиями сохраняли память о том *другом* образе жизни. Потому жизненные истории женщин из этого региона во временном отношении распадаются на три периода: до советской власти, при «Советах» и после обретения независимости.

Автобиографические повествования свидетельствуют, что западноукраинские женщины и тогда и теперь хранили обиду на советскую власть, поставившую под угрозу прежде всего их национальную идентичность. Не потому ли они оценивают советскую власть в Украине преимущественно негативно? Действительно, в этой стране они чувствовали себя в ментальном «изгнании». Потому и их восприятие распада СССР коренным образом отличается от других регионов: в нем они усматривают момент восстановления исторической справедливости, избавления (в широком смысле слова), позволившего им фактически вернуться в некогда утраченный (хотя и никогда не существовавший) «родной дом». Вполне очевидно, что для них независимая демократическая Украина (которой они на самом деле никогда раньше не знали) является той мифологизированной Родиной, по которой они до сих пор тосковали.

Рассказчицы с востока и юга не знали ни иной власти, кроме советской, ни другого общественного строя, кроме социализма. Эта ситуация частично отражена в их нарративах. «Если б мене застала советская власть взрослой, то я б могла здраво оценить, но... со времени установления советской власти я была ребенок» (УК3-04: 1325–1328); «Я не знала другой власти кроме Советской до девяносто второго года. И я думаю, что, э, тем, чем я стала, я обязана нашему государству и нашей бывшей < смеется > советской власти» (УС6-04: 1352–1354). Фактически советская система была для них единственно известным и единственно возможным способом существования. Не потому ли ее коллапс они восприняли как коллективный и одновременно личный крах? С развалом СССР была разрушена их базовая система ценностей, то есть были подорваны основы их советской идентичности. С установлением независимости Украины они потеряли свой «дом» – СССР, и теперь уж эти русскоязычные женщины стали чувствовать себя «изгнанницами». Похоже, в этом и состоит имплицитный смысл той постсоветской ностальгии, которой насквозь пропитаны рассказы этих женщин.

Формально Украина является единой страной с 1939 г., однако украинцы все еще разделены на восток, запад и юг. И причина этому, кажется, не только во взаимных этнорегиональных стереотипах, которые сформировались за века сложной и противоречивой истории и которыми целенаправленно и безответственно манипулируют сегодня политики. Взаимное недоверие и предубеждения обусловлены также и различным пониманием недавнего прошлого, которое сложилось у пожилых женщин в результате их личного жизненного опыта. Их воспоминания о прожитом довольно ностальгичны, однако тоскуют они по разным вещам. В историческом и географическом отношении эти женщины прожили свою жизнь в одно время и в одной стране, однако их «далекая родина» (детство) имеет разные координаты на их ментальных картах. И эти координаты в значительной степени обусловлены теми системами ценностей, в рамках которых происходила ранняя социализация этих женщин.

Примечания

- ¹ Исследование осуществляется в Институте народоведения НАН Украины при поддержке Канадского института украинских студий при Университете Альберты (Канада). Автор благодарна Виктории Серее, профессиональные комментарии и продуктивные идеи которой существенно помогли качественно улучшить первоначальный вариант этой статьи.
- ² Об особенностях развития устной женской истории в странах Западной Европы и США см.: Кісь Оксана. Усна жіноча історія як історична альтернатива в Україні: нове прочитання нових джерел // Матеріали VI Конгресу Міжнародної асоціації українців. Історія. Донецьк, 2007 (готовится к печати).
- ³ См., например: Leydesdorff S., Passerini L., Thompson P. (eds.). *Gender and Memory // International Yearbook of Oral History and Life Stories. Vol. 4.* Oxford UP, 1996; Pas-

serini Luisa (ed.). *Memory and Totalitarianism // International Yearbook of Oral History and Life Stories*. Vol. 1. Oxford University Press, 1992.

- ⁴ Полная информация об этом международном проекте, его целях, методологии, истории развития и полученных результатах – на интернет-странице проекта <http://www.womensmemory.net>
- ⁵ Подробное описание метода см.: Rosenthal Gabriele. *Biographical research // Qualitative Research Practice / Ed. by Clive Seale, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, and David Silverman*. London: SAGE Publications, 2004. P. 48–64; изложение основных принципов метода см.: Мещеркина Е. Качественные методы в гендерной социологии // *Женская устная история / Сост. Андера Пето*. Ч. 1. Бишкек, 2004. С. 64–100.
- ⁶ Подробнее о дизайне этого проекта, его научном и общественном значении, структуре и методике проведения интервью см.: Кись Оксана. Відновлюючи власну пам'ять: проект „Україна ХХ століття у пам'яті жінок” // *Україна Модерна*. 2007. Т. 11. С. 266–270.
- ⁷ Strauss A. and Corbin J. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. London: Sage, 1990.
- ⁸ Согласно правилам, принятым в рамках международного проекта «Женская память», все материалы интервью анонимизированы. Вместо имен рассказчиц использована система кодирования, позволяющая определить, где и когда было записано интервью: первая литера U обозначает страну (Украина), вторая литера L, K, S – указывает город, где проживает рассказчица (Львов, Харьков или Симферополь); следующая цифра (от 1 до 10) – порядковый номер интервью в этом городе; цифры 03, 04, 05 – обозначают год записи (2003, 2004, 2005); цифры после двоеточия указывают на номер строки в транскрипте интервью, из которого взята цитата.
- ⁹ Третья Программа КПСС (утвержденная XXII съездом в 1961 г.) заявляла, что в процессе строительства коммунизма этнические различия исчезнут и все народы перейдут на русский язык. Никита Хрущев в своем докладе заявил, что процесс дальнейшего сближения и объединения всех наций неизбежно приведет к их слиянию. На XXIV съезде КПСС в 1971 г. впервые была высказана идея о том, что на территории СССР происходит формирование новой исторической общности под названием «советский народ», для которого общим языком должен стать русский, принимая во внимание исключительную роль русского народа в советской истории и социалистических достижениях. Новую доктрину использовали для того, чтобы обосновать особый статус русского языка как языка межнационального общения, что предполагало всеобщее и преимущественное использование его на всей территории СССР.
- ¹⁰ Следует отметить, что национальная и языковая политика СССР в отношении украинцев изменялась в разные периоды советской истории. В 1923 г. большевики начали политику так называемой «коренизации», благодаря которой наблюдалась стремительная (хотя и кратковременная – до 1931 г.) украинизация образования, прессы и управления в Украине. После 1933 г. «украинский буржуазный национализм» был объявлен проблемой, которую следовало беспощадно искоренять в Украине. Вследствие этого огромное количество лучших представителей украинской интеллектуальной, культурной и политической элиты было уничтожено. С 1938 г. русский язык становится обязательным для изучения во всех советских школах. Фактически с 1930-х гг. в Украине последовательно проводилась политика русификации (с использованием разнообразных методов, форм и механизмов), следствием которой стало стремительное сокращение использования украинского языка в об-

разовании, прессе, книгоиздательстве и сфере управления. Единственным исключением был период 1963–1972 гг., когда на посту первого секретаря ЦК компартии Украины пребывал Петр Шелест, проводивший политику поддержки украинского языка. Подробный анализ политики русификации и ее последствий в Украине см.: Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині ХХ століття (1900–1941): стан і статус. Чернівці, 1998; Ivan Dzyuba: Internationalism or Russification. London/New York; 1968 (full text in Ukrainian available on-line at <http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=4771>) см. также: Bilaniuk Laada. Contested Tongues. Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. Ithaca-London: Cornell UP, 2005.

- ¹¹ «Лингвоцид – осознанное, целенаправленное уничтожение конкретного языка как главного признака этноса или нации. Лингвоцид направлен прежде всего против письменной формы языка. Конечной целью лингвоцида является... ликвидация данного народа как отдельной культурно-исторической общности, исчезновение этноса» (Иванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич: Відродження, 1994., см. также: <http://www.vesna.org.ua/txt/ivanyshynv/movnaz/>). Подробнее о политике и практике лингвоцида украинского языка см.: Масенко Лариса. Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду // Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду / Під наук. ред. Лариси Масенко. Київ, 2005. С. 5–36 (книга также содержит документы, иллюстрирующие языковую политику советской власти в Украине).
- ¹² Nira Yuval-Davis/Marcel Stoetzler: Imagined Boundaries and Borders: A Gendered Gaze // *The European Journal of Women's Studies*. 2002. № 9/3. P. 329–344.
- ¹³ Подробнее о правовых аспектах языковой политики в Украине см.: Костицький М. Державна мова в Україні: політико-правовий огляд // *Політична думка*. 2000. № 3. С. 3–26 (сокращенный вариант см.: http://www.politdumka.kievua/index.php?old_site=1&aid=401&begin_ROW=400).
- ¹⁴ Не следует забывать, что в советское время первичные ячейки всех без исключения общественных и политических организаций (начиная с партийных, комсомольских и пионерских и заканчивая профсоюзами, Обществом охраны памятников, Обществом Красного Креста, Обществом трезвости или охраны природы и т.п.) формировались и действовали именно по месту работы/учебы, т.е. на основании трудового/учебного коллектива. А если принять во внимание также характерное проживание работников отдельных предприятий в так называемых «ведомственных домах», существование «ведомственных» баз отдыха и санаториев, детских садов, поликлиник, спортивно-оздоровительных комплексов и пр., становится понятно, насколько плотно охватывал коллектив все стороны внепроизводственной жизни его членов. При этом коллектив был также уполномочен активно вмешиваться в частную жизнь. Теряя связь с коллективом, индивид фактически оказывался вне общества. Таким образом формировалось коллективистское мировоззрение.
- ¹⁵ Boym Svetlana. *The Future of Nostalgia*. New York, 2001. P. xiii.
- ¹⁶ Там же. С. xv.

«ЖЕНСКОЕ ИСКУССТВО» В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАЦИИ

Несколько лет назад Украина вступила в фазу «дикой демократии»: после «оранжевой революции» фальсификации результатов голосования и скрытое давление на избирателей уступили место маркетинговым стратегиям и политическим технологиям западного образца. Выборы 2006 г. в Верховную Раду напомнили красочную ярмарку: улицы разукрасили палатками, лентами и флагами всех возможных цветов. Репрезентация и брендинг политической силы стали ключевыми моментами предвыборной гонки. Через отсутствие в Украине партий, сформированных на основе четкой политической программы и имеющих продолжительную историю, фигура партийного лидера стала особенно важной для избирателей – как олицетворение политической силы.

Личный имидж политика, его/ее образ и гендерная модель – не единственные, но важные элементы электорального успеха. Если президентские выборы 2004 г. были борьбой мужских гендерных моделей – восточного архетипа «сильной руки», «настоящего мужика» (В.Ф. Янукович) и европейского либерала (консерватора), порядочного «отца семейства/нации» (В.А. Ющенко), то парламентские выборы 2006 и 2007 гг. раскрыли несколько ярких женских персонажей (Юлия Тимошенко, Раиса Богатырева, Наталья Витренко, Инна Богословская, Александра Кужель). Соответственно Закону о гендерном равенстве¹, политические партии и блоки во время выдвижения кандидатов в народные депутаты обязаны предусмотреть представительство женщин и мужчин в избирательных списках (о каких-либо определенных квотах речь не идет). Обсуждение Закона возымело определенное действие: в списках политических партий 2006 г. было в среднем 19% женщин. В результате в укра-

инский парламент V созыва прошло 8,2% женщин (в сравнении с 5% в предыдущем парламенте). Такая ситуация может вызвать определенный оптимизм, но анализ профессиональных качеств (в том числе – самостоятельности) женщин-политиков дает удручающие результаты. Часто представительницы прекрасного пола включаются в проходные места списков за принципом «украшательства». Особенно преуспела в этом «Наша Украина», включив в 2006 г. в первую пятерку певицу Руслану и телеведущую Ольгу Герасимьюк. Женщины в политике нередко становятся заложницами формирования имиджа политической силы, марионетками, которых можно выбросить за ненадобностью (в списке 2007 г. для Русланы места не нашлось).

Несмотря на существование «женских» партий («Женщины за будущее», «Солидарность женщин в Украине»), никакой «женской политики» (как и «женского искусства») в Украине нет. Интернет-серфинг на тему «женской политики» показывает исследования процентного соотношения женщин в парламенте² или эссеистические рассуждения на тему неспособности женщин заниматься политикой³. Результаты по ключевой фразе «женское искусство» дают ресурсы на тему женского искусства шить, готовить, хорошо выглядеть, и лишь дополнительные уточнения позволяют найти информацию о художницах или феминистских проектах. Можно скорее найти статьи на тему манеры одеваться украинских политикес, чем о квотировании или повышении политической активности женщин⁴. Тема профессиональной деятельности является неотделимой от темы женского как такового, поскольку никакого самостоятельного женского дискурса, который бы сознательно ставил перед собой определенные цели как в искусстве, так и в политике, в Украине нет.

Женские искусство/политика/любая профессиональная деятельность, не связанная с «природными» качествами женщины (забота, уход), оказались заложницами тех же стереотипов, которые в свое время приостановили волну феминизма 1990-х гг., обозначая его как «западническое», не характерное украинцам явление, привнесенное извне и даже навязанное. При желании можно найти не один опус, в котором популярно рассказывается, что феминизм не свойственен украинской женщине, поскольку она равна мужчине изначально. Популистский конструкт «Берегиня» дополняется более интеллектуальным образом «украинки – испанки Востока»⁵, в который женщины охотно верят. В силу негативных стереотипов «женское – узкое», «феминистичное – плохое, сексуально неудовлетворенное» художницы, даже делая проекты на женские темы, очень редко называют их женскими, а женщины-политики всеми силами открещиваются от феминизма. Замечание Оксаны Забужко о женскости в литературе как «снижении ранга, презумпции вторичности – от нее надлежит оправдываться, прятать ее под корсет "мужественности", в противном случае непременно будешь "разжалована" до уровня "дамской комнаты"»⁶, справедливо и в более широком контексте украинского общества.

В 2002 г. Оксана Кись выделила две основные модели гендерной идентичности женщины в современной Украине: Берегиню и Барби⁷. Берегиня, эклектический конструкт, апеллирующий к мифу о женщине-матриархе, христианскому культу,

отдельным фольклорным и литературным мотивам, абсолютизирует материнские и опекунские функции украинки. За годы независимости именно этот конструкт стал официальной моделью женской идентичности в националистическом дискурсе. Тип Барби связан с коммерческим дискурсом рекламы и женских журналов, позиционирующих женщину как дорогое украшение, требующее соответствующего ухода (и владельца). Другие типы женской идентичности маргинализованы: карьеру Деловой Женщины рассматривают как следствие неудач в личной жизни, образ Феминистки – вообще демонизирован. Отсутствие в популярном сознании альтернативных моделей женственности приводит к трудностям и внутренним конфликтам идентификации успешных женщин.

Культурные стереотипы «женского» проявляются не только в сомнениях на счет неспособности женщин делать настоящее искусство или заниматься большой политикой, но и в своеобразной «гендерной инерции» самих женщин-профессионалов. Для художественной и политической деятельности украинских женщин характерна гипертрофированная визуальность. Имидж Юлии Тимошенко немыслим без ярких визуальных знаков (пресловутая коса), художницы часто используют свое тело в качестве объекта изображения (Маша Шубина). Многовековая традиция объективации и фетишизации женского тела побуждает деятелей и их публику уделять чрезмерное внимание визуальному образу. И даже если телесный мотив используется для того, чтобы субъективировать объект изображения, сместить привычные акценты⁸, визуальный образ остается объектом потребления, таит в себе потенциальную слабость женской профессиональной позиции.

Драматичную коллизию формирования женского Я в украинском обществе можно проследить, сопоставив два, казалось бы, совершенно не связанных между собой примера: формирование имиджа украинских женщин-политиков и творчество молодой львовской художницы Грыци Эрдэ. Объединяет эти нарративы их обращение к моделям женского, существующим (навязываемым) в украинском обществе. Женщины-политики, формируя свой публичный имидж, используют модели женственности, привлекательные для электората (с их точки зрения), и, следовательно, репродуцируют их на массы. Художница работает с гендерными моделями иначе. Она, как непосредственный реципиент, получивший чрезмерную дозу гендерных стереотипов в процессе социализации, критикует доминирующие модели женственности, раскрывая их репрессивную сущность.

Для того чтобы определить, какие модели женственности используют украинские политики и как, я проанализировала материалы персональных интернет-сайтов: их визуальный и текстовый контент является самой непосредственной репрезентацией. Наиболее показательными примерами являются имиджи таких политиков, как Юлия Тимошенко (глава партии «Батьківщина», экс-премьер-министр

Украины); Наталья Витренко (лидер Прогрессивной социалистической партии Украины); Раиса Богатырева (руководитель парламентской фракции «Регионы Украины» в парламенте V созыва); Александра Кужель (в свое время одна из ярких личностей партии «Трудовая Украина», директор аналитического центра «Академия», заместитель министра региональной политики и строительства). Следует также упомянуть деятельность Инны Богословской (партия «Озиме покоління» «Віче»), женскую партию «Женщины за будущее» (лидер – Валентина Довженко) и организацию «Союз украинок»⁹.

Пример Юлии Тимошенко – один из самых ярких и успешных примеров манипулирования женственностью. Архивные фото с персонального сайта показывают, как менялся образ от строгой деловой леди с темными волосами до милой, «женственной» женщины в светлых одеждах, мягкой, заботливой и подчеркнuto стильной. Смену имиджа Ю. Тимошенко можно объяснить попыткой привлечь электорат Западной Украины, где очень сильны патриархальные стереотипы. Особенно ярко стремление подчеркнуть собственную женственность проявилось во время работы на посту премьер-министра: на утверждение собственной кандидатуры в парламенте (февраль 2005 г.) Юлия Тимошенко явилась в платье с кружевами, и через несколько месяцев после утверждения в должности снялась в эксклюзиве для журнала «ELLE» (май 2005 г.).



Юлия Тимошенко: 2000 год



2006 год

Свою женственность Юлия Тимошенко подчеркивает исключительно при помощи одежды: новости о личной жизни (за исключением венчания дочери) – большая редкость в украинских СМИ. После снятия с должности премьер-министра Ю. Тимошенко, среди других своих масок, успешно эксплуатирует традиционный

для украинской культуры образ женщины-жертвы, обиженной, но честной, которая упорно борется за справедливость. Популизм в сочетании с «милым» образом дал впечатляющий результат – 22,27%, второе место на парламентских выборах 2006 г. Следует отметить, что я не рассматриваю созданный женский образ единственной причиной впечатляющего электорального успеха Ю. Тимошенко. Конечно, существует комплекс причин, которые обуславливают выбор избирателей, и я не возьмусь определить, какая именно часть успеха зависит от созданного образа, но все же считаю электоральный успех показателем популярности использованной гендерной модели.

Стремление подчеркнуть приверженность украинской национальной идее придало новые черты имиджу политика. На партийном съезде в августе 2007 г. наряд Юлии Владимировны был стилизован под украинский народный костюм, что дало повод журналистам иронически назвать Ю. Тимошенко «украиномамой». Фотография Юлии Тимошенко в блузке, вышитой белым по белому, и красных бусах на фоне надписи «Стратегическая программа “Украинский прорыв”» стала центральным постером БЮТ в предвыборной агитации. Новый образ оказался не менее успешным: на досрочных выборах 2007 г. блок Юлии Тимошенко получил 30,71% голосов избирателей.

Политический популизм вполне подтверждается популизмом визуальным. Формула «украинская коса + одежда от Луи Виттон» создает гендерную модель, которую можно назвать симбиозом Берегини и Барби.

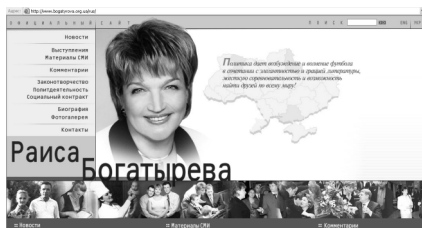
В роли «украиномамы» не прочь побыть и Раиса Богатырева (в августе 2007 г. она посетила Сорочинскую ярмарку в костюме, очень похожем на народный костюм Ю. Тимошенко, но в партийных «сине-белых цветах»).



Берегини Украины: оранжевая и голубая

Раиса Богатырева появилась на политическом горизонте достаточно давно (депутат трех созывов начиная с 1990 г., министр здравоохранения 1999–2000 гг.), но что интересно, ее имя стало действительно известно только начиная с 2004 г. в связи с партией «Регионы Украины» и очень известно начиная с 2006 г., когда она возглавила фракцию «Регионы Украины» в парламенте. Невозможно было не заметить стремительное улучшение внешности Р. Богатыревой за последние три

года. Очень женственным выглядел первый вариант ее сайта, так же как и новый имидж политика. Примечательно, что в фотогалерее на сайте нет архивных фото (даже за период работы в предыдущих парламентах). Большинство фото новые, в образе деловой леди, профессионального политика, сдержанной красавицы (как и полагается главе фракции). Образ Р. Богатыревой явно пытаются эстетизировать и облагородить. Простое сравнение портретного фото с сайта, подправленного в *Photoshop-e*, и «реального», репортажного фото ярко это демонстрирует. Даже интернет-репрезентация Богатыревой претерпевает изменения: первый, «женственный» стиль личного сайта (весна 2007 г.) был изменен на более строгий, подчеркнуто профессиональный стиль (осень 2007 г.), исчезли любопытные фотоэксперименты с имиджем. Руководство Партии регионов (команда американских политехнологов) после 2004 г. стремится придать более европейский имидж партии, соответственно «лицо партии» Раиса Богатырева выступает в образе классической деловой леди, который в Украине почему-то немислим без одежды очень дорогих марок. Не стоит забывать, что по профессии Р. Богатырева – врач, эта «женская» профессия выступает легитимизирующим ресурсом для политика. Внимание к вопросам семьи, здоровья и демографии – основная черта политической активности Р. Богатыревой.



Сайт Раисы Богатыревой, весна 2007



Сайт Раисы Богатыревой, осень 2007

Соратницы по партии – Анна Герман и Людмила Кириченко также поддерживают имидж стильных деловых леди. Их полная зависимость от руководства Партии регионов и любовь к роскошной одежде позволяют назвать подобную гендерную модель «Барби в возрасте». Людмила Кириченко является еще и главой общественной организации «Всеукраинский союз «Берегиня Украины»¹⁰. Эта дочерняя организация Партии регионов заботится о могилах воинов, занимается детьми и поддерживает женщин-политиков. Символика организации и поставленные задачи напоминают классический пример западноукраинской женской активности – «Союз украинок» (история организации начинается в первой половине XX в.). Сферы деятельности Союза – воспитание, образование, культура, религия. Обе организации занимаются распространением самой репрессивной ролевой модели – женщины-матери, Берегини и иллюзий на тему исторической роли женщины в украинской культуре, равноправии и почтении к ней. Субординация «Союза укра-

инок» националистическим партиям (например, «Народному руху», в котором в начале 1990-х гг. принимало участие много женщин, в основном на второстепенных позициях), которые со временем самоустранились в сферы «заботы о духовности», демонстрирует противоположное – пока украинские мужчины занимаются настоящим мужским делом, дающим деньги и власть, украинские женщины воспитывают сыновей, которые будут защищать нэньку-Украину, или, в лучшем случае, «поддерживают» мужчин в политике. Такая же несамостоятельность характерна и для малоизвестной партии «Женщины за будущее», созданной несколько лет назад под эгидой Людмилы Кучмы, жены экс-президента Украины Леонида Кучмы.



Логотип «Союза Украинок»



Логотип «Берегиня України»

Нужно вспомнить еще один тип женственности, тип «боевой подруги» и «советской труженицы», характерный для левых партий. Самым ярким примером этого типа является Наталья Витренко. Ее образ, так же как и визуальная символика партии, очень напоминает советские агитматериалы. Н. Витренко балансирует между типажам честной труженицы, работающей матери, которой не чужды женские слабости, и настоящего товарища, верного идее активиста, своего парня.



Образы Натальи Витренко

Несмотря на известность самой Н. Витренко, возглавляемая ею Прогрессивная социалистическая партия Украины не прошла в парламент ни в 2006-м, ни в 2007 г.

Наиболее интересным примером женщины-политика, с моей точки зрения, является Александра Кужель. В июне 2007 г. она была признана одной из топ-10 светских леди Украины за пристрастие к светским вечеринкам и показам мод. Примечательно, что в СМИ более часто появляются новости о госпоже Кужель светского характера, чем профессионального. На самом деле работа этой, наверное, наиболее профессиональной женщины-политика, заслуживает уважения. Глава аналитического центра Академии, яркая личность в партии «Трудовая Украина», она несколько лет возглавляла Комитет по вопросам развития предпринимательства и сейчас работает на ответственной должности, требующей профессионализма и трудолюбия, – заместителя министра региональной политики и строительства. Мне кажется, это самый примечательный и самостоятельный образ деловой леди в украинской политике, которая естественна в своей женственности и не пытается ею манипулировать, а также осознает и публично артикулирует минусы своего пола в политике, высказывается за квотирование для женщин¹¹.

Показательной чертой украинского политического дискурса является отсутствие ярких женщин-политиков в партиях националистической направленности. Здесь мы видим некий парадокс – с одной стороны, именно Западная Украина считается наиболее демократичной частью страны с высоким уровнем развития гражданского общества, с другой – анализ политической активности женщин указывает на силу и действенность патриархальных установок в регионе (женщины-лидеры, о которых говорилось выше, по происхождению с восточных и центральных частей страны). Высокий уровень религиозности населения, приверженность украинским традициям и миф о «матриархатном характере украинской культуры» уже на стадии начальной гендерной социализации направляют девочек в женские вотчины любви, заботы, нежности и красоты, делая их неспособными самостоятельно принимать решения, возлагать на себя ответственность, проявлять инициативу и выживать в конкурентной борьбе. Получив прививку жертвенности в детстве и юношестве, в зрелом возрасте женщины сталкиваются с проблемами профессиональной самореализации. О защите материнства, правовых гарантиях для работающих женщин много говорят и общественные организации, и украинские партии, реагируя на социальную неудовлетворенность женской половины населения страны¹². Но о истинных проблемах – репрессивности системы образования, гендерном неравенстве на начальных этапах социализации, стеклянном потолке, которые и приводят к такой ситуации, большинство организаций предпочитают умалчивать, прикрывая свои требования мифом об особой роли женщин в украинской культуре и необходимости уважения к украинкам – Берегиням рода.

Репрессивность патриархальной модели женственности, умноженной на крайний национализм и традиционную религиозность, ощутила на себе молодая художница Грыця Эрдэ, 1986 г. рождения, в процессе гендерной социализации во Львове – региональном центре Западной Украины. Не зря основные героини ее творческих серий – Богоматери и Катерины, два мегаобраза, которые навязываются западноукраинской девочке с детства. Навязываются в определенном формате – в образе прекрасных юных дев.

Анализ украинского политического дискурса и имиджа женщин-политиков обозначает тот культурный контекст, в котором происходила гендерная социализация художницы. Проект «Самки и яйцекладки: женщины из культуры»¹³ представляет ранние работы Грыци Эрдэ, которые рассказывают некую историю: женщине в украинской культуре предлагается быть самкой, дополнив свою основную детородную (яйцекладную) функцию немногими доступными опциями: соблазнительницы и грешницы (Ева), жертвы (шевченковская Катерина), жертвенной матери (Богоматерь), берегини духовных ценностей (Маруся Чурай).



Богоматери: традиционная и Грыци Эрдэ

Личностная реплика на тему стереотипов легла в основу кураторского проекта, который растянут во времени на целый год – для путешествия по украинским городам с фиксацией всех отзывов и дискуссий (тур начался в марте из Харькова, продолжился в Ирпене (Киевская обл.), Дрогобыче, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске). Представленная на разных площадках, выставка является лакмусовым листком региональных ситуаций, поднимая ряд вопросов – от готовности воспринимать (понимать, объяснять) проблемное современное искусство до гендерной толерантности.

Наиболее яркий отзыв проект получил в Дрогобыче, небольшом городе Львовской области. Выставка была запрещена местными властями и вызвала большой скандал. Работа «Четырехрудая Дева Мария» была провозглашена аморальной, такой, что оскорбляет национальные и христианские ценности. В результате организаторами проекта была собрана пресс-конференция, где могли высказаться все желающие. В этом месте сходятся два примера, о которых я рассказываю. Примеры женщин-политиков демонстрируют более или менее успешные, но в любом случае приемлемые модели женственности. Творчество Грыци Эрдэ и те женские модели, которые она создает, оказываются неприемлемыми в традиционном дискурсе.

Фактически картины Грыци – это отказ от сладкой, эстетизированной женщины-объекта, и очень четкое указание на то, что стоит за навязанным образом (независимо от того, навязан он национально-религиозной доктриной или гламурными журналами) – в рамках и той, и другой идеологии женщина всегда самка, не более чем яйцекладка, репродуктивная особь вида – желательно визуально привлекательная.

В Дрогобыче директор местной художественной школы посоветовал Грыце рисовать более привлекательно, и желательно мужчин, поскольку ее женщины просто кошмарны. Очень редко зрители понимают, что Грыца рисует женщин не ужасных, а нормальных, каких она сотнями видит на улицах, не-форматное тело которых она любит и своеобразно эстетизирует. Грыца Эрдэ интерпретирует женские образы, почерпнутые из культуры, меняя их в соответствии с собственным видением женского и женского тела. Голые, бритые наголо, героини Грыци Эрдэ не только апеллируют к стереотипным образам женственности, но и создают новую модель женской телесности. Творчество Грыци – это поиск новой гендерной роли, приемлемой в первую очередь для самой авторки. Художники всегда тонко чувствуют культурные и общественные изменения, предвидя развитие событий на несколько лет вперед. То, что сейчас так шокирует обывателей, очень скоро может стать нормой.

Профессиональная деятельность нового поколения украинских художниц (от двадцати до тридцати) доказывает, что женщины в Украине **уже являются** субъектами, они живут, действуют, добиваются успеха, но **еще не мыслят** себя субъектами – ведь их этому никто никогда не учил. Доступные примеры женской активности (например, политическая карьера) являются сомнительными, ведь противоречат традиционным гендерным ролям. Сами женщины-политики укрепляют это недоверие, настаивая на своем «мужском» профессионализме, но манипулируя женственностью косвенным образом, подчеркивая свои «берегиневские» качества («Дорогие мои, я вас всех люблю!» – одна из любимых фраз Ю. Тимошенко). В то время как женщины-политики оказываются неготовыми артикулировать настоящие женские проблемы, раскрывать причины гендерного неравенства, молодая художница показывает то поле, в котором в будущем будет происходить развитие женского политического движения. Реакция на проект «Самки и яйцекладки» (яростное неприятие со стороны традиционалистов, поддержка и понимание молодых людей)

позволяет спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Несмотря на то что ни одна партия в Украине не занимается кропотливым трудом по улучшению положения женщин, политические лидерки не создают новых, успешных гендерных моделей, пригодных для подражания, а предпочитают манипулировать популярными (репрессивными) стереотипами, количество активных, самостоятельных женщин в Украине растет – значит, изменяются нужды электората. И я не удивлюсь, если через несколько лет требования гендерного равенства заменят в партийных программах место мифических доплат¹⁴ на второго ребенка.

Примечания

- ¹ Закон України №2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», набув чинності з 01.01.2006.
- ² Ромашова Н. «Жінрада» під куполом // День. № 37. 2006. Цит. по: <http://www.day.kiev.ua/158172/>.
- ³ Васютинський В. Три еротичні есеї про політику, або Три політичні есеї про еротіку // Незалежний культурологічний журнал “І”. № 33. 2004. Цит. по: <http://www.ji.lviv.ua/n33texts/vasutynskij.htm>.
- ⁴ Матеріали сайту ТаблоID о нарядах жінок-політиків: <http://www.tabloid.com.ua/news/2006/7/12/709.htm>, <http://www.tabloid.com.ua/news/2006/10/10/959.htm>.
- ⁵ Это цитата из популярного среди западноукраинских интеллектуалов эссе Леопольда фон Захер-Мазоха «Женские образки из Галиции» (<http://bursch.netfirms.com/reading/zakher.htm>).
- ⁶ Цит. по: Філоненко С. Термін “жіноча проза” як проблема літературознавства // http://www.bdpu.org/personnels/s_filonen/termin.doc.
- ⁷ Кісь О. Моделі конструювання гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні // Незалежний культурологічний журнал “І”. № 27. 2003. Цит. по: <http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm>.
- ⁸ Такой подход характерен для классических фоторабот Синди Шерман «Untitled film still»: <http://www.cindysherman.com/art.shtml>.
- ⁹ Были использованы такие персональные сайты: Юлия Тимошенко – <http://www.tymoshenko.com.ua>; Наталья Витренко – <http://www.vitrenko.org>; Раиса Богатырева – <http://www.bogatyrova.org.ua>; Инна Богословская – <http://www.inna.com.ua>; Александра Кужель – <http://www.kuzhel.com>; а также сайт Аналитического центра Академия <http://www.academia.org.ua>, сайты политических партий.
- ¹⁰ Сайт организации: <http://www.bereginya.org>.
- ¹¹ На вопрос о необходимости квотирования для женщин в политике А. Кужель ответила: «Женщины в Украине голосуют против женщин, и это наша беда. В Швеции во власти более 50 процентов женщин, и я спрашивала у них, почему так? Оказалось, потому, что они приучили народ к мысли – женщина должна продвигаться. Что касается нас, то пока мы не приучим общество к тому, что женщина может претендовать на пост наравне с мужчинами, женщин во власти практически не будет. Пройтись смогут лишь единицы, которые, тем самым, подчеркнут, что они – исключение из правила. Мне позволили утвердиться две вещи: я была профессиональна и порядочна, но, если бы хоть где-то оступилась, мне бы этого не простили никогда». Интервью полностью: <http://bayki.com/tales/65>.

- ¹² Журженко Т. Старая идеология новой семьи: демографический национализм Украины и России // <http://gender-e.hu/files/File/Jurjenko.pdf>.
- ¹³ Больше информации о проекте здесь: <http://svynoferma.com/samky.php>.
- ¹⁴ Одно из популярных обещаний, включенное в предвыборные программы практически всех партий за принципом «кто даст больше». На самом деле получить обещанную финансовую помощь на ребенка очень сложно в силу большого количества справок и бюрократических проволочек.

ВПИСЫВАЯ(СЬ) В ДИСКУРС «НАЦИОНАЛЬНОГО»: УКРАИНСКИЙ ФЕМИНИЗМ ИЛИ ФЕМИНИЗМ В УКРАИНЕ?

Феминизм и гендерные исследования уже перестали быть в Украине чем-то экзотическим: в университетах читаются курсы по гендерной проблематике, проводятся конференции и защищаются диссертации, публикуются статьи и книги. Возникло несколько независимых центров гендерных (женских) исследований, некоторые из них существуют уже более десятилетия. Наибольшую известность получили Киевский, Харьковский, Львовский и Одесский. Их деятельность и интеллектуальная продукция послужили основным материалом для моего анализа. В этой статье я не собираюсь присоединяться к дискуссии о том, что можно считать феминизмом на постсоветском пространстве, оправдано ли использование западного термина «гендер» в украинском (русском) языке и чем отличаются постсоветские гендерные исследования от западных. Я исхожу из того очевидного факта, что феминистский дискурс, а точнее, множество дискурсов, существуют в современной Украине, как существуют и разнообразные академические проекты гендерных или «женских» исследований. В мою задачу не входит оценивать или классифицировать их с точки зрения «феминистского канона» – если таковой вообще существует. Гораздо более интересными мне представляются другие вопросы – как эти разнообразные дискурсы и интеллектуальные проекты соотносятся с доминирующим дискурсом национализма, как позиционируют себя по отношению к задачам национального возрождения, к ситуации незавершенности формирования нации и «размытости» национальной идентичности, как они видят свою роль в этих процессах. Стремясь уйти от традиционной постановки вопроса – как национализм манипулирует женскими инструментами и искажает феминистское сознание в Восточной Ев-

ропе, – я хочу посмотреть на эту взаимосвязь с другой стороны: как феминистские дискурсы участвуют в «изобретении» украинской нации, в переопределении ее границ, в формировании коллективной памяти и национальной идентичности.

Пожалуй, уникальная даже для Восточной Европы специфика украинской ситуации состоит в ее двойной неопределенности. Неясно не только, что представляет собой феминизм в постсоветской Украине, но и его «национальные границы». Сколько национализма требует феминизм? Кто репрезентирует украинский феминизм, всякий ли феминизм в Украине является «украинским»? Может ли украинский феминизм быть русскоязычным? Какое место занимают в современном постсоветском феминизме представительницы украинской диаспоры на Западе? Эти вопросы пока не стали предметом открытой феминистской дискуссии, да и общее дискурсивное пространство для нее пока отсутствует. Причина состоит в исторически сложившихся региональных различиях и фактическом двуязычии, сохраняющемся расколе в украинском обществе в отношении исторической памяти и культурной идентичности. Однако случай Украины – несовпадение национальных границ и границ национального дискурса феминизма – может помочь увидеть сконструированность, множественность и подвижность этих границ и в тех случаях, когда их стабильность и тождественность кажутся само собой разумеющимися.

Различные направления феминизма и феминистских исследований в Украине (критически дистанцируясь от национализма или будучи сознательно ангажированы в проект национального возрождения) так или иначе вынуждены самоопределяться по отношению к проблемам национального строительства, национальной идентичности и идеологии национализма. Сознательные стратегии такого самоопределения, равно как и имплицитная, часто непроговоренная зависимость украинского феминизма от националистического дискурса, и будут исследованы в этой статье. Прежде всего мы будем опираться на материалы тех центров гендерных исследований, что успели создать свою «школу», то есть специфическое направление, заметное на интеллектуальном фоне Украины, и прежде всего на те из них, идеи и концепции которых релевантны для обсуждения поставленной выше проблемы о связи феминистского и национального дискурсов в Украине. Но, прежде чем перейти к обсуждению конкретных феминистских проектов, я хотела бы сформулировать некоторые принципиальные соображения, касающиеся данной темы.

I.

1. «Национальный феминизм»: защитный альянс двух идеологий

«Феминизм мертв – перефразируя Ницше, отважусь я сказать на пороге третьего тысячелетия. И это наполняет мою душу печалью. То же самое можно констатировать и относительно национализма. У нас нет здоровой правой идеи, и у нас нет здоровой феминистской идеи». С этой пессимистической констатации

«конца истории» применительно к Украине начала София Онуфрив свое предисловие к № 17 журнала «Ї» за 2000 г., посвященного феминистской проблематике¹. Этот пассаж передает характерный настрой части украинского общества в эпоху Кучмы, реакцию женщины-интеллектуала на «постсоветское состояние», которое заключается в отсутствии пассионарности в украинском политикуме, в способности власти присваивать, обезвреживать и использовать в своих интересах альтернативные идеологии и радикальные дискурсы. Однако для нас он интересен как характерный пример, демонстрирующий тесную связь феминистского дискурса с национализмом в украинском контексте.

Если сегодня, по ностальгическому замечанию Софии Онуфрив, «золотой век» как национализма, так и феминизма лежит в прошлом, то их история, особенно в Восточной Европе, тесно связана. На протяжении XIX–XX вв. процессы эмансипации женщин шли рука об руку с процессами национальной эмансипации, распадом империй и формирования национальных государств. Американский историк Марта Богачевская-Хомяк, на протяжении последних лет работающая в Украине, на примере западноукраинского женского движения показала, что национализм и феминизм были по сути двумя сторонами процесса социальной и политической модернизации². Женщины принимали активное участие в работе по пробуждению национального самосознания, созданию массовых организаций, формированию политических движений и партий. Борьба за национальное освобождение и участие в национальном строительстве стала для них школой публичной и политической деятельности, а работа в женских организациях дала опыт, необходимый для «большой политики». Во многих странах Восточной Европы женское движение возникло как побочный эффект национальной мобилизации и в то же время стало самостоятельным фактором национального строительства.

Национализм, несомненно, обладает патриархатным потенциалом и стремится предписать женщинам определенные социальные роли, в то же время подавая себя как универсальную идеологию, отвечающую в том числе интересам женщин. По словам Богачевской-Хомяк, национализм оказывается привлекательным для них по двум причинам: во-первых, поскольку он обещает заботу о семье и детях и, во-вторых, потому что он превозносит женскую самоотверженность – как матерей и как национальных героинь³. В то же время, по ее мнению, сводить национализм к патриархату было бы ошибкой: демократический национализм способствует эмансипации женщин, обещая им равные с мужчинами права и открывая возможность участия в публичной деятельности. На определенном историческом этапе интересы нации и интересы женщин во многом совпадают. Поэтому украинские феминистки первой половины XX в. видели свою задачу в том, чтобы использовать демократический потенциал национализма в интересах женщин, а женскую энергию и способности задействовать в деле строительства нации.

В своем историческом исследовании украинского феминизма, опубликованном еще в конце 1980-х гг., Богачевская-Хомяк во многом предвосхитила дис-

куссии последующего десятилетия: об амбивалентности феминизма в Восточной Европе, его заимствованном/автохтонном характере, исторической связи с националистической идеологией и правыми политическими движениями. В отличие от стран Западной Европы, где процессы создания национальных государств были в основном завершены раньше (и без массового участия женщин) и где феминистские движения поэтому заняли позицию во многом критическую по отношению к собственным национальным государствам, в Восточной Европе задачи освобождения женщин и достижения равенства полов оказались подчинены первостепенным целям борьбы за национальное освобождение. Оправдывая «особый путь» украинского женского движения и ссылаясь на аналогичный опыт стран третьего мира, Богачевская-Хомяк предложила определение, учитывающее специфику положения женщин безгосударственных наций на окраине Европы: «прагматический феминизм». Поскольку задача создания украинской нации все еще не завершена, опыт «прагматического феминизма» остается релевантным и в новых исторических и геополитических условиях – в независимой Украине после распада Советского Союза.

В этой статье я хочу показать, что нарратив, исходящий из общих исторических корней национализма и феминизма и акцентирующий прогрессивную, демократическую основу двух идеологий, является сегодня доминирующим в украинских гендерных исследованиях. Что стоит за этим нарративом «национального феминизма»? Очевидно, что феминизм – отнюдь не самая популярная в современной Украине идея. Что же касается украинского национализма, то на протяжении 1990-х гг. и, по крайней мере, до 2004 г., он оставался, по определению британского украиниста Эндрю Вильсона⁴, «верой меньшинства» и был представлен маргинальными партиями. Используя элементы националистической идеологии в своих интересах, «партия власти» позиционировала националистов как опасных радикалов, при случае проводя исторические ассоциации с фашизмом. Подобным же образом власть использовала в своих интересах риторику гендерного равенства, в то время как феминизм оставался в глазах большинства чуждым продуктом Запада. Поэтому «национальный феминизм» исходит из того, что обе идеологии, находясь преимущественно в маргинальной позиции, нуждаются друг в друге, хотя и в разном качестве. Дискурс «национального феминизма» стремится реабилитировать национализм, ссылаясь на его изначальный демократический потенциал и отвергая авторитаризм и патриархат как неизбежное зло. Феминизм, который никогда не ставил своей целью достижение политической власти и поэтому не несет политической ответственности за безумия XX в., может служить национализму надежным союзником, обеспечивая его демократическую легитимность. В то же время лояльность по отношению к «национальной идее» оправдывает присутствие феминизма в постсоветской Украине, ведь одной из его задач является цивилизаторская функция по отношению к национализму. Как настаивает, например, Нила Зборовська, только феминизм способен придать национализму «человеческое», т.е. женское, лицо⁵.

Национализм и феминизм оказываются союзниками еще и потому, что оба предстают сегодня в качестве жертв коммунистической идеологии и тоталитаризма. Сталинский тоталитаризм положил конец проекту украинской нации, который из сегодняшней исторической точки представляется единственной существовавшей тогда демократической альтернативой коммунизму. Коммунистический режим репрессировал носителей этого проекта (украинскую интеллигенцию) и, используя голод как средство террора, подорвал его массовую базу – экономически независимое украинское крестьянство. Этот же антидемократический режим объявил женский вопрос решенным и блокировал любую независимую женскую инициативу, используя в то же время женскую рабочую силу и репродуктивные способности в своих интересах. Таким образом, феминизм и национализм видятся естественными союзниками, ведь общая задача состоит в преодолении последствий коммунистического режима и колониального статуса Украины. При этом социализм, его эмансипационная роль, исторические связи с женским движением и с национализмом с середины XIX в. вплоть до 1930-х гг. – эти сюжеты, как правило, остаются маргинальными для «национального феминизма». Государственный социализм ассоциируется с репрессивной политикой советского режима (империи), которая с позиций сегодняшнего дня оценивается как направленная одновременно и против интересов женщин, и против украинской нации.

Следует отметить, что дискурс «национального феминизма» – это не синтез двух идеологий, он возник в результате сознательного размежевания как с националистическим мейнстримом, неизбежно выталкивающим женщину в сферу частного, так и с западной феминистской традицией, тяготеющей к космополитизму. Как известно, национализм неизбежно порождает материалистский дискурс, вмещающий женщинам функцию биологического и символического воспроизводства нации в качестве основной социальной роли⁶. Поэтому феминизм обычно позиционирует себя в качестве последовательного критика материализма и неотрадиционализма. Украинский «национальный феминизм» не приемлет патриархатной идеологии и дискриминационных практик национализма, связывая возрождение нации с женской эмансипацией, а не с возвращением к традиционным гендерным ролям. В то же время «национальный феминизм» сам оказывается во многом вовлеченным в материалистский дискурс. Мифы о Берегине – хранительнице домашнего очага и об изначально матриархатном характере украинской культуры подвергаются научной критике, но в то же время используются для исторической легитимации феминистской традиции в Украине, ее укорененности в национальной культуре⁷. «Национальный феминизм» сталкивается также с проблемой определения своей позиции по отношению к украинскому женскому движению, которое является сегодня основным носителем материалистского дискурса⁸.

В то же время аффирмативная позиция по отношению к национализму, акцентирование его эмансипаторской и прогрессивной роли противостоит традиции западного феминизма, вплоть до «постколониального поворота» в 1980-х гг., игнори-

рующего национальный вопрос⁹. Занимая последовательную антимилицаристскую, антишовинистическую позицию и даже отрицая значение национальности для женщины¹⁰, представительницы феминизма «старых наций» часто рассматривали одержимую национализмом Восточную Европу в терминах «отсталости» и «опасности». Западный феминизм интернализировал характерную для социальных наук дихотомию «хорошего» (западного) и «плохого» (восточноевропейского) национализмов¹¹. Воссоединение Европы после 1989 г. обострило дискуссии между «западным» и «восточным» феминизмом, одним из основных пунктов которой стало «право» восточноевропейских женщин на аутентичный, национальный феминизм. К тому же война в бывшей Югославии, обернувшаяся массовыми преступлениями националистических режимов против женщин, способствовала новой ориентализации Восточной Европы и дискредитации национализма в глазах Запада.

Поэтому «национальный феминизм» в Украине, отстаивающий легитимность (демократического) национализма, конфронтрует в этом вопросе с западным феминизмом. С точки зрения национального феминизма, независимость нации открывает для женщин новые сферы публичной деятельности – хотя доступ к ним не дается без борьбы. Национализм дает украинским женщинам возможность обретения собственного голоса. Поэтому «национальный феминизм» вынужден позиционировать себя двояко: заявляя о европейском происхождении украинской культуры и политической ментальности, об общих корнях с западным феминизмом, он в то же время обращается к опыту постколониальных стран для оправдания своей пронациональной позиции.

Наконец, последнее замечание, касающееся связи феминизма и национализма, относится к профессиональным и, шире, жизненным стратегиям представительниц украинского феминизма. В Украине, как и на всем постсоветском пространстве, формирование феминистских идентичностей, начавшись в конце 1980-х гг., происходило параллельно с процессами формирования национального самосознания, в первую очередь среди интеллектуальной и политической элиты. Структурно и институционально академический и НГО-феминизм сформировался как часть новой национальной элиты, как одна их своеобразных групп национальных интеллектуалов¹². Зачастую исходным материалом была старая советская (или «имперская») элита: как заметила американская социолог Александра Грыцак, многие из «феминисток-основоположниц» были русскоговорящими женщинами с высшим образованием, некоторые вышли из комсомольской среды¹³. Однако не язык имеет в данном случае решающее значение. Гораздо более важной основой самоидентификации стал после 1991 г. новый социальный статус интеллектуала, непосредственно занятого в культурном производстве нации. Работа в «национальном» университете или академическом институте предполагает необходимость публиковаться и читать лекции на украинском языке, репрезентировать украинскую науку и украинские женские организации за рубежом. Новую «национальную» феминистскую идентичность подкрепляет и зависимость как от государственных источников

финансирования, так и от западных фондов и академических программ, поощряющих, как правило, использование украинского языка и ориентацию на украинскую проблематику. Важным фактором стало также обращение к наследию «золотого века» украинского национализма и феминизма, когда функция интеллектуала виделась в том, чтобы просвещать и воспитывать массы в национальном духе, т.е. вписывание себя в заново открытую «традицию». В этом контексте совмещение национальной и феминистской идентичности стало естественным выбором для большинства женщин, вовлеченных в новый проект развития и институционализации гендерных исследований.

2. История женщин как национальная история

Как и другие сферы академического знания, начиная с конца 1960-х гг. западная историческая наука подверглась интенсивному воздействию феминизма. По мнению феминистских критиков, традиционная историография как история войн, революций, дипломатических конфликтов оставляла мало места для женщины. «Женская история», возникшая как самостоятельное направление и как новая парадигма в исторических исследованиях, ставила своей задачей «вернуть женщин в историю», сделать их «видимыми». Женское участие в социальных движениях, в политике и структурах власти, изменения социального статуса женщины, трансформации приватной сферы, зарождение и развитие феминизма и женских движений стали первыми темами «женской истории» в США, а затем и в Европе. Однако в целом феминизм оказался только одним из факторов более общего процесса смены перспективы в историографии – поворота к социальной истории. «Гендерная история», история повседневности, материнства и детства, форм семьи и брака, сексуальности, интерес к маргинальным социальным группам изменили лицо истории как академической дисциплины¹⁴. В то же время парадигма «национальной истории» утратила свое монопольное положение, уступив место региональной, «местной» истории, «транснациональной» истории, *histoire croisée*, истории империй и т.д. В объединенной Европе эти изменения были ускорены, что называется, «сверху», в результате процессов интеграции и попыток конструирования наднациональной европейской идентичности.

Распад СССР и освобождение социальных наук от диктата официального марксизма создали предпосылки методологического и концептуального плюрализма и в постсоветских странах. «Женская» и гендерная история, хотя и остается маргинальным направлением, постепенно завоевала себе право на существование¹⁵. Как заметил немецкий историк Вильфрид Йильге, процесс написания новой национальной истории в Восточной Европе рассматривается сегодня в моральных категориях: на место «ложной» советской истории возвращается подлинная, украденная, замалчиваемая память нации¹⁶. Проект «женской» или «гендерной» истории

также соответствует пафосу возвращения «альтернативной памяти» из небытия: в новой национальной истории тем самым находится место и для репрессированной женской памяти. В то же время в отличие от Запада «женская история» в постсоветских условиях не означает перехода к постнациональной парадигме, она позиционирует себя, как правило, в качестве составной части нарратива «национальной истории», всего лишь дополнения к нему.

Не только в Украине, но и в большинстве постсоветских стран историческая наука оказалась заложницей нового нациоцентрического нарратива. Сегодня «национальная история» в этом регионе является доминирующей парадигмой в науке и образовании. Это неудивительно, ведь история, как никакая другая общественная наука, оказалась востребована в процессе строительства нации, для легитимации права на государственную независимость и в целях консолидации новой коллективной идентичности.

Украина, существующая как независимое государство с 1991 г., сталкивается с необходимостью конструирования национального нарратива, который бы обеспечил историческую преемственность разорванных во времени проектов украинской государственности (Киевская Русь, гетьманат, УНР и ЗНУР, постсоветская Украина), переоценку советского (имперского), прошлого и примирение исключających друг друга региональных версий исторической памяти (Восток и Запад). В отличие от «старых» наций, исторические нарративы которых также представляют собой культурные и политические конструкты, в «новой» украинской истории разрывы, натяжки и проблемные точки особенно заметны. Таким образом, женской и гендерной истории приходится бороться за существование в условиях, когда «право» Украины на собственную национальную историю все еще является предметом дискуссий¹⁷, но в то же время ограниченность парадигмы «национальной истории» становится все более очевидной.

С 1991 г. было опубликовано несколько серьезных исследований в области женской истории, большинство из которых посвящены развитию феминистских идей и женских движений в Украине. Кроме уже названной книги Марты Богачевской-Хомяк, это работа Людмилы Смоляр, исследующая становление женского движения Надднипрянской Украины¹⁸, а также изданный под ее редакцией сборник¹⁹, объемная работа Оксаны Маланчук-Рыбак о женском движении на западноукраинских землях в XIX – начале XX в.²⁰ Эти и другие публикации предлагают оценку социального и экономического статуса женщины в разные исторические периоды, различные схемы периодизации женского движения и обобщения закономерностей его развития, попытки классификации женских организаций. Кроме того, речь идет о новой интерпретации хорошо известных фигур, например украинской поэтессы Леси Украинки, а также об открытии новых или забытых – как, например, Милены Рудницкой²¹. Обращение к истории женского движения отражает интерес к собственным корням, поиск исторической идентичности украинского феминизма.

Поэтому результатом исследований в области женской истории является реконструкция национальной традиции украинского феминизма и женского движения.

Если в США и Западной Европе академический феминизм возник под влиянием женского движения 1960-х гг., то в постсоветских странах он стал скорее продуктом более общих социальных и политических преобразований, демократизации общества и открытости Западу. Поэтому отправной точкой реконструкции феминистской традиции в Украине неизбежно оказывается 1991 г. – год провозглашения украинской независимости. Начало нового этапа («возрождения») женского движения и феминизма в Украине совпадает, таким образом, с возрождением украинской государственности. Из этой же точки (1991) реконструируется традиция украинского феминизма – «возникновение и развитие» женских организаций в конце XIX – начале XX в., которая обрывается с наступлением эры сталинизма в советской Украине и с началом Второй мировой войны – в западноукраинских землях. Зарождение женского движения совпадает с зарождением национального самосознания на территории Украины, а его огосударствление – с репрессиями против национального возрождения 1920-х гг.

Встраивание «женской истории» в доминирующий национальный нарратив обогащает и усиливает его, но отнюдь не ставит под сомнение националистический принцип написания истории. Впрочем, и сами авторы видят свою задачу именно таким образом. «История женского движения в Украине второй половины XIX – начала XX ст., его опыт и традиции являются важной частью исторического опыта нации»²², – пишет Людмила Смоляр в предисловии к своей книге. «Изобретение традиции», включая собственную оригинальную традицию феминизма, обеспечивает дополнительную легитимность проекту украинской нации как современной, европейской и демократической. В то же время результатом «конгруэнтности» национального и женского исторического нарративов является то, что «женской истории» приходится иметь дело с теми же дилеммами, разрывами и проблемными точками, с которыми сталкивается национальная история.

Во-первых, речь идет о необходимости «сшивания» пространственных и темпоральных разрывов в общенациональном историческом нарративе. Территория Украины в ее нынешних границах формировалась на протяжении XX в.: в 1939 г. в результате пакта Молотова – Риббентропа к советской Украине была присоединена Галиция и Волынь, в 1944 г. чехословацкое правительство под давлением Сталина уступило ему Прикарпатскую область, ставшую «Закарпатьем», и, наконец, в 1954 г. Никита Хрущев передал Крым в состав Украины. Очевидно, что различные регионы являются «украинскими» в разной степени. Территория нынешней Украины находилась в течение веков под властью нескольких империй: Российской, Австро-Венгерской, Османской; ее фрагменты были в разное время в составе Советского Союза, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии. А особая роль диаспоры в новейшей украинской истории делает общую картину еще более сложной. Женские организации и движения возникали и развивались поэтому в крайне отличаю-

щихся политических и социальных условиях, испытывали влияние различных политических культур, традиций, административных и правовых систем. Не удивительно, что первые работы по истории женского движения представляют собой региональные нарративы. Это объяснимо и с практической точки зрения, принимая во внимание территориальное расположение архивов, традиционную специализацию историков на «родном регионе» и т.д. В то же время конструирование единого общеукраинского нарратива «женской истории» ограничивается пока скорее механическим соединением фрагментов в одно целое. Одной из редких попыток обсуждения этой проблемы с точки зрения методологии является статья Марты Кичоровской Кебало²³, которая предлагает рассматривать историю украинского женского движения как многоэтапный, идеологически многогранный, а главное – транснациональный феномен.

Во-вторых, попытки создания общенационального нарратива «женский истории» неизбежно сопровождаются иерархизацией региональных вариантов женского движения, как правило, с точки зрения зрелости национального сознания и завершенности национальной идентичности. В этой связи характерные выводы делает Оксана Маланчук-Рыбак, анализируя монографию Богачевской-Хомяк:

«Наилучший пример такого сочетания (феминистских и национальных стремлений. – ТЖ.) видим в общественной деятельности женщин Западной Украины. В сравнении с другими украинскими землями историческое развитие на этом пространстве наиболее благоприятствовало приближению женского движения к европейским стандартам и типологическим характеристикам. В противоположность этому, история эмансипационной борьбы женщин в Надднипрянщине в составе Российской империи не всегда четко соответствовала сочетанию национальной идеи и феминизма. Здесь мировоззрение украинских женщин формировалось, как правило, под влиянием русскоязычной феминистской литературы (в лучшем случае национально индифферентной, в худшем – имперско-шовинистической), они принимали участие в российских общеимперских женских организациях»²⁴.

Если «либеральный феминизм в Галиции и Буковине формировался по типично европейскому, собственно центрально-европейскому образцу»²⁵, то в подросийской Украине, следуя логике автора, эти процессы были искажены имперским влиянием.

Этот нарратив соответствует тенденции к переоценке роли различных регионов в современной украинской историографии. Роль Западной Украины в борьбе за национальное освобождение и в процессах национального строительства оценивается как определяющая («украинский Пьемонт»), ее политическая культура и идентичность – как европейская. Соответственно восточные регионы, и особенно Донбасс, бывшие флагманами советской модернизации, рассматриваются сегодня скорее как препятствие для национального строительства вследствие значительной

русификации и несформировавшейся национальной идентичности. Символическая иерархия «двух Украин»²⁶ постоянно воспроизводится в украинском политическом дискурсе и поэтому является важным фактором украинской политики, особенно проявившимся во время «оранжевой революции». Новый постсоветский дискурс «женской истории», следуя логике «национального нарратива», также воспроизводит символическую иерархию востока и запада Украины.

В-третьих, как было замечено критиками этой парадигмы, «национальный нарратив» ведет к этнизации истории (т.е. к концентрации на одной этнической группе при маргинализации остальных)²⁷. Эта опасность подстергает и «женскую историю», воспроизводящую логику национального нарратива. Так, история женского движения на западноукраинских землях оказывается историей прежде всего и главным образом «украинского женского движения», хотя вплоть до Второй мировой войны эта территория оставалась мультинациональным регионом, где действовали как украинские, так и польские, еврейские, русинские женские организации. Взаимодействия и конфликты между ними если и попадают в фокус анализа, то лишь в качестве фона, на котором развивалось украинское женское движение. В то же время «национальный нарратив» подчеркивает сотрудничество между украинскими женскими организациями в обеих империях, их естественную приверженность идеям ирредентизма и соборности украинской нации. Так возникает конструкция «украинских женщин» как коллективного субъекта, обладающего постоянной, заранее определенной национальной и гендерной идентичностью, которая реализует себя в ходе истории.

В-четвертых, «женская история», как и новая украинская историография в целом, сталкивается с проблемой советского прошлого, его адекватной оценки и инкорпорации в национальный нарратив. На первый взгляд, «женские исследования» пока еще остаются в стороне от острых дискуссий об исторической памяти, особенно обострившихся после «оранжевой революции»: об антиукраинском характере сталинских репрессий, о «голодоморе» как геноциде, о значении Второй мировой войны в украинской истории и роли УПА. Попытки дистанцироваться от коммунизма и советского режима как чуждого и навязанного нации извне посредством «оккупации» – характерная для Центральной и Восточной Европы тенденция. В логике «национального нарратива» как подлинной, «моральной» истории в фокусе оказываются в первую очередь репрессии и жертвы режима, а советский период предстает как пробел в национальной истории, как время, потерянное для нации и даже отброшенное ее назад (например, демографические потери в 1930-е гг.).

Следуя логике «национального нарратива», украинский феминизм также позиционирует себя в качестве жертвы коммунизма. Незрелость женского самознания, низкая популярность феминизма в Украине нередко рассматриваются как «обратный эффект» советской гендерной политики. Так, Оксана Кись пишет о «прерванной на долгое время традиции женских исследований в Украине, отравленных коммунистической идеологией и дискредитированных социалистической прак-

тикой основополагающих идей феминизма»²⁸. Соломия Павлычко также пишет об «пропущенном столетии»²⁹, после которого украинским феминисткам вновь приходится обращаться к аргументам вековой давности. Поэтому «женские исследования» в Украине развиваются не столько в результате потребности заново осмыслить достижения и провалы советского проекта женской эмансипации, сколько как возрождение «традиции», насильственно прерванной в начале XX в. Оценка противоречивой советской политики равенства полов – часть болезненного вопроса об отношении к советскому прошлому, и «женская история» пока еще не приступала к этой проблеме.

3. Украинский феминизм в поисках идентичности: между Россией и Европой

В результате дезинтеграции СССР независимое государство Украина оказалось в центре новой амбивалентной геополитической зоны – «пограничья» между Европейским союзом и Россией. Необходимость (и невозможность) окончательного геополитического выбора, тяготеющая над украинской политической элитой – «с Россией или в Европу», – стимулировала дебаты о степени принадлежности украинской культуры к европейской традиции, о ее месте между Востоком и Западом. Доминирующий «национальный нарратив», опирающийся на историческую схему Михайла Грушевского, подчеркивает изначальные различия украинской и российской политической традиций (традиции выборной власти, элементы демократии и конституционализма в Гетьманщине в противоположность московскому самодержавию), открытость украинской культуры западным влияниям, вестернизаторская роль украинской интеллектуальной элиты в России конца XVII – начала XVIII в. Переяславский договор, заключенный между Россией и Украиной в 1654 г., рассматривавшийся в советской историографии как важный шаг к «воссоединению» двух братских народов, оценивается теперь как результат неудачного стечения обстоятельств и ошибочных политических решений, приведший Гетьманщину под власть Москвы. Советский период истории Украины также описывается прежде всего в терминах ее насильственной изоляции от Запада и навязывания чуждой культурной и политической идентичности. Как и в других странах этого региона, дискурс «возвращения в Европу» стал доминирующим в дебатах об основных направлениях и содержании посткоммунистических реформ. Он приобрел особенно идеологизированные формы с приближением президентских выборов в 2004 г. Конец президентства Леонида Кучмы совпал, с одной стороны, с расширением Евросоюза на Восток, а с другой – с ростом антидемократических, авторитарных тенденций в России. В этих условиях выбор дальнейшего политического курса был сформулирован как выбор между демократической «Европой» и авторитарной «Азией».

Дискуссии вокруг культурной и исторической идентичности украинского феминизма во многом воспроизводят основные линии вышеописанного дискурса.

Так, в «женской истории» украинская женщина представлена обычно как более свободная³⁰ и обладающая в семье и обществе более высоким статусом, чем русская женщина, прежде всего в силу особенностей украинской культуры и истории. В качестве аргумента приводятся этнографические данные и свидетельства путешественников о высоком статусе украинской женщины в обществе и в семье, о праве на развод, относительной имущественной независимости и т.д. Одним из основоположников этого дискурса, крайне типичного для украиноведения, был историк Микола (Николай) Костомаров³¹.

Миф о традиционно матриархатном характере украинской культуры также служит целям дистанцирования украинской идентичности от российской. Так, украинская американская исследовательница Марьяна Рубчак, критикуя идеологическую инструментализацию мифа о матриархате в постсоветской Украине, приводит исторические и этнографические свидетельства его существования в прошлом. Этот аргумент она использует в полемике с российским историком Натальей Пушкаревой, которая, по мнению Рубчак, не видит различий в культурной эволюции России и Украины и рассматривает их всего лишь как региональные особенности одной национальной общности. Украинская традиция матриархата – относительная свобода, высокий социальный статус женщин, уважение к их традиционным ролям – были утрачены, согласно интерпретации Рубчак, в результате политического доминирования России и ее культурного влияния³².

Эта логика характерна для дискурса «национального феминизма», в рамках которого отношения патриархата в украинском обществе рассматриваются как результат имперской колонизационной политики, а утрата женщинами своих властных позиций тождественна упадку украинской культуры. И наоборот, национальное возрождение, преодоление колониального статуса украинской культуры способствуют возрастанию роли женщины в обществе. Статус женщины в национальной культуре, степень ее свободы становится маркером, обозначающим не только границу между украинской и российской культурами, но и между двумя цивилизациями – «Европой» и «Азией», то есть между демократией и авторитаризмом.

Если имперская (авторитарная) Россия и соответственно российская патриархатная культура являются одним из полюсов конструирования идентичности «украинской женщины» и «украинского феминизма», то вторым полюсом является Запад и западный феминизм. Хотя украинский феминизм позиционирует себя как часть общеевропейского движения, он рассматривает национальную культуру и «историческую традицию» скорее как ресурс для достижения гендерного равенства, чем как препятствие. Ведь если украинские женщины, в отличие от женщин Западной Европы, обладали относительной свободой и высоким социальным статусом, то очевидно, что задачи эмансипации и равенства полов, сформулированные западными феминистками, оказались для них слишком «узкими». Поэтому украинский феминизм не копирует западный, а в чем-то даже опережает его: так, Милена Рудницка говорит о западноевропейском феминизме равноправия как пройденном этапе,

предлагая новое видение феминизма гражданских обязанностей и практического действия³³.

Обсуждение вопроса об идентификации украинского феминизма по отношению к «Западу», как и вопроса об отношении к национализму, было бы неполным без рассмотрения особой роли украинской диаспоры. Первая волна украинской эмиграции, преимущественно экономическая, пришла на конец XIX – начало XX в. Начиная с 1945 г. украинская диаспора (прежде всего в США и Канаде) пополнилась десятками тысяч новых эмигрантов, преимущественно из Западной Украины. Большинство из них были сознательными националистами, многие боролись за независимость Украины с оружием в руках и поэтому имели все основания опасаться советских репрессий. Сильная национальная идентичность, а также традиции самоорганизации, экономической и социальной взаимопомощи были перенесены на новую почву и помогли украинской диаспоре избежать культурной ассимиляции. Украинские женщины-активистки, как правило, видели свою задачу в том, чтобы поддерживать культурные и религиозные традиции, передать детям свою культуру и язык³⁴. Женские организации стремились также сохранить традиции украинского женского движения. С провозглашением Украиной независимости диаспора стала достаточно важным фактором национального строительства – если не политическим, то идеологическим и культурным. Влияние диаспоры испытало в определенной мере и возрождающееся в Украине женское движение, особенно на начальной стадии. В начале 1990-х гг. происходил своего рода реэкспорт назад в Украину традиций организованного женского движения (прежде всего имеются в виду организации Союз Украинок и Товарищество Олены Телиги). Влияние женских организаций диаспоры было достаточно амбивалентным: с одной стороны, они стали своего рода мостом, соединяющим «прерванную традицию» с потребностями настоящего и предлагая альтернативную советской культуре женского активизма. С другой стороны, они способствовали укоренению в женском движении идеологии матернализма и национализма, рассматривая в качестве первоочередной для женских организаций задачу национального строительства.

В то же время представительницы украинской диаспоры сыграли важную роль в развитии в Украине феминизма и женских исследований. Упомянувшиеся выше Марьяна Рубчак и Марта Богачевская-Хомяк были одними из первых, кто использовал язык феминизма для артикуляции проблем женщин в постсоветской Украине. Сосредоточившись на обсуждении проблемы национализма и мифа о матриархате, они по сути задали направление феминистских дебатов в Украине. Кроме того, они сыграли важную роль и как организаторы женских исследований, иницируя и редактируя публикации, организовывая конференции, содействуя научным стажировкам украинских исследовательниц за рубежом, непосредственно участвуя в интеллектуальных дебатах. Феминистские исследовательницы из украинской диаспоры оказались, особенно вначале, посредниками между «Востоком» и «Западом», важным каналом коммуникации для зарождающихся в Украине женских исследо-

ваний, компенсировали недостаток международных контактов. Но, будучи представителями «Запада», они в то же время были и остаются частью общеукраинского феминистского дискурса. Феминизм украинской диаспоры, оставаясь «пограничным случаем», отнюдь не является маргинальным в украинских феминистских дискурсах, что подтверждает его de facto транснациональный характер.

II.

1. Киев: феминизм как модернистский проект в украинской культуре

Киевский центр гендерных исследований был создан в 1998 г. группой исследовательниц Института литературоведения Академии наук Украины: Соломией Павлычко³⁵, Верой Агеевой, Нилой Зборовской. Близкую к ним позицию занимает Татьяна Гундорова, а также известная писательница Оксана Забужко. Наверное, не случайно одна из первых и наиболее плодотворных феминистских инициатив возникла именно в этой среде. Представители узкой прослойки украиноязычной интеллектуальной элиты, сосредоточенные в Институте литературоведения и других подобных ему академических организациях, были в позднюю советскую эпоху первыми «профессиональными» носителями национальной идентичности и безоговорочно поддержали зарождающееся национально-демократическое движение. В то же время, будучи экспертами в области украинской культуры, вытесненной из повседневной жизни в сферу «экзотического» и видя свою задачу в ее «сохранении», многие представители этой среды занимали достаточно консервативные позиции. Поэтому феминистский проект в литературоведении возник, с одной стороны, в результате активной ангажированности женщин в национально-демократическое движение, а с другой – как протест против его консервативных культурных, в том числе гендерных, ориентаций³⁶. Уже в 1991 г. Соломия Павлычко опубликовала программную статью «Нужна ли украинскому литературоведению феминистская школа?»³⁷. В этой статье необходимость полноценной «нормальной» европейской культуры рассматривается в качестве основного побудительного мотива для развития феминистского литературного критицизма в Украине, а тексты украинских женщин-модернисток конца XIX – начала XX в. впервые интерпретированы как феминистские. С самого начала феминизм киевских литературоведов заявил себя в качестве инструмента анализа патриархата в литературе и проекта преодоления постколониальной ситуации. Главная исследовательская стратегия – поиск феминистских корней украинского модернизма и его новая «женская» интерпретация – сочетается с утверждением европейской идентичности украинской культуры и необходимости преодоления сохраняющегося провинциализма и постколониального статуса.

В 1997 г. Соломия Павлычко опубликовала книгу «Дискурс модернизма в украинской литературе», в которой предприняла попытку решительной деконструкции

сложившегося культурного канона. В противоположность традиционной народнической и «революционно-демократической» интерпретации украинской культуры, некритически заимствованной из советской эпохи, Павлычко сосредоточилась на менее известных и недооцениваемых модернистских тенденциях. По ее мнению, модернизм, открывший для украинской культуры новые перспективы в начале XX в., предполагал ориентацию на Европу, индивидуализм, интеллектуализм, отказ от культурных табу, но прежде всего – феминизм. В конце XIX в. модернизм возник как альтернатива и оппонент народничеству, для которого литература была средством просвещения масс в целях их социальной и национальной эмансипации. Конфликт модернизма с народничеством представлен в работе Павлычко как попытка вырваться из замкнутого круга колониальной культуры, ограниченной горизонтом национальной идеи, преодолеть комплексы периферийной и безгосударственной нации. Политическое и культурное народничество, рассматриваемое в качестве безусловно «прогрессивного» течения как советскими, так и национальными критиками, предстает в интерпретации Павлычко как патриархальная идеология. Она подразумевает существование идеального коллектива («громада») и высокую нравственность «народной души», идеализацию крестьянского образа жизни, патриархальной семьи и, конечно же, крестьянской женщины – представительницы народа. Литература в народнической традиции также предстает как пространство патриархата: большая семья во главе с «отцом» – Тарасом Шевченко – и его последователями – «сыновьями». Вызов установленной традиции рассматривается здесь как предательство народа, измена идее национального освобождения. В своей книге Соломия Павлычко показала, что Леся Украинка (псевдоним Ларисы Косач (1871–1913)) и Ольга Кобылянская (1863–1942) были первыми представителями модернизма в украинской литературе и что их радикальный модернизм был тесно связан с культурной ориентацией на Европу и с феминистскими идеями. Феминизм не был для украинских писательниц заимствованием западной моды или политической идеологией, он стал скорее способом артикуляции собственной позиции и ответом на наиболее болезненные вопросы современности. Феминизм открывал для украинской культуры европейскую перспективу, обещал освобождение от консерватизма, доминирования этнографического и дидактического подхода. Соломия Павлычко представила конфликт модернизма с народничеством в украинской культуре как гендерный конфликт, вызов женщин-литераторов господствующей патриархатной традиции.

Как показала Соломия Павлычко, новеллы Ольги Кобылянской, отражающие жизнь образованной женщины среднего класса, открыли новую страницу в украинской литературе. Эти «новые женщины», поглощенные собственными переживаниями и опытом, игнорирующие культурные табу, бросали вызов традиционному романтическому женскому идеалу. Мотив женской силы – мужской слабости возникает не только в повестях Ольги Кобылянской, но и в драмах Леси Украинки, причем мужская слабость ассоциируется с провинциальным консерватизмом и патриар-

хатом, а женская сила – с европейской ориентацией и открытостью культурной модернизации, другими словами, поработщающая дух «Земля», или «Природа», представлена как мужское начало, а эмансипирующая «Культура» – как женское.

Темы, поднятые Соломией Павлычко, были развиты ее коллегами. Так, Тамара Гундорова предприняла детальное психоаналитическое исследование творчества и интеллектуальной концепции Ольги Кобылянской на фоне европейских культурных и философских течений того времени (Ницше, Фрейд, социал-дарвинизм и пр.)³⁸. В творчестве Ольги Кобылянской «сопротивление, с одной стороны, романтическому отождествлению женщины с “Природой”, а с другой – протест против дарвинистского истолкования ее как биологической, репродуктивной силы рода»³⁹ порождают аполлонический миф «новой женщины» как культуротворческой силы. Ее «гендерная утопия», по определению Гундоровой, – это «феминная модель высокой современной культуры», в которой она реализовывает себя как культурная героиня.

Вера Агеева посвятила специальное исследование творчеству Леси Украинки⁴⁰, которое она, так же как Соломия Павлычко, рассматривает в контексте модернистских тенденций fin de siecle. В своей работе она опирается на постмодернистскую методологию, в частности феминистский анализ текста. Предметом исследования Агеевой являются главным образом драматические произведения Леси Украинки, не вошедшие в школьный канон литературы и посвященные радикальной реинтерпретации классических тем мировой литературы. В ее понимании Леся Украинка является одной из немногих, кто защищал индивидуалистические и «аристократические» ценности в провинциальной украинской культуре, и практически единственной, кто делает это с позиции женщины. Индивидуализм и «элитизм» поэтессы Вера Агеева рассматривает как свидетельство начавшейся переориентации украинской интеллигенции от народнической программы просветительства к формированию европейской по духу элиты. Вдохновленный философией Ницше, но отвечающий потребностям украинского культурного ренессанса, этот элитизм оказывается феминистским по своей сути. Литературные героини Леси Украинки бросают вызов массе, традициям и «здравому смыслу» ради того, что выше непосредственных интересов «народа». Они защищают творческий дух и свободу против примитивного прагматизма, правду против формальной законности и узкого рационализма, женскую любовь, невозможную без индивидуального выбора – против христианской «любви к ближнему». Антиавторитарная критика христианства, перекликающаяся с ницшеанской философией, обретает у Леси Украинки феминистское звучание, а украинский модернизм говорит языком европейской культуры.

В своей следующей книге⁴¹ Вера Агеева обращается к феномену женского письма в украинской культуре. Один из разделов посвящен, например, отношениям «мать – сын» в украинской культуре. Доминирование в украинской литературе образов сильной деспотической матери и инфантильного сына, лишённого маскулинных качеств, она объясняет комплексом колониальной нации: «Мужчина, пред-

ставитель колонизованного народа, живет с двойным бременем вечной сыновней вины и долга... Нереализованный сыновний долг вытесняет все другие жизненные роли. Сын не может разорвать материнскую пуповину, не может преодолеть детскую инфантильность и предстать в роли авторитетного мужчины, мужа»⁴². В то же время мать в патриархатной культуре принимает на себя функции власти и контроля по отношению к детям: мотив амбивалентности чувств по отношению к матери характерен для украинского модернизма. Эти тенденции радикализируются в литературе XX в.: тема матереубийства в новеллах Мыколы (Николая) Хвильевого может быть прочитана как принесение нации в жертву в угоду коммунистической идее. Десакрализация образа матери в современной украинской литературе символизирует гибель «подлинной», досоветской Украины, трагедию утраченной национальной идентичности, бессмысленность жертв гражданской войны и «голодомора».

Таким образом, Соломия Павлычко, Вера Агеева, Оксана Забужко не только реинтерпретируют историю украинской литературы, но и анализируют сегодняшнюю культурную ситуацию, в которой, по их мнению, по-прежнему воспроизводятся старые колониальные комплексы: неонародничество и утилитарное отношение к литературе как к «сознанию нации», ограниченность горизонтом нереализованной национальной идеи, мизогиния, обусловленная инфантильностью колониальной нации. Оживленные дискуссии на эту тему были во многом инициированы публикацией нашумевшего романа Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса». Свое видение «гендерного конфликта» в современной украинской культуре Оксана Забужко сформулировала в программном эссе «Женщина-автор в колониальной культуре»⁴³. Геокультурная ситуация Украины как провинции второй степени, периферии другой провинции – России является крайне неблагоприятной для женщины как агента культуры. Нереализованная национальная идея оказывается для нее западней: ведь, сосредоточившись на «женских темах», она тем самым избегает наиболее актуальных для нации проблем, однако, принимая на себя мужскую роль борца за национальную культуру, тут же оказывается под прессом жесткой системы маскулинных ценностей. Как показывает пример Леси Украинки, колониальная культура готова услышать голос женщины-автора, только если она способна доказать свои мужские качества. Украинская женщина-автор оказывается маргинализованной не только как представитель этой колониальной культуры, но и внутри нее – в силу иерархии гендерных ролей. Воспринимаемая коллегами-мужчинами в качестве «экзотического», «несерьезного» несущего угрозу или дискомфорт, женщина является колониальным субъектом вдвойне.

Позицию киевской феминистской школы образно сформулировала Нила Зборовская, противопоставив национализму как идеологии, эксплуатируемой и потребляемой структурами власти, утопию «женского национализма» как приватного, интимного чувства, не поддающегося присвоению и манипуляции. Парадоксальным образом именно феминизм способен породить альтернативу маскулинному дискурсу традиционного национализма, архаического, мертвого и неадекватного со-

временной реальности. «Женский национализм» – не отчужденная идеология, а глубокое личное чувство, непосредственное переживание, альтруистическая любовь (именно такие феминные мотивы видит она в творчестве Тараса Шевченко). Национализм и феминизм в таком прочтении разделяют общее качество – маргинальность, они противостоят как имперскому/космополитическому мышлению, так и господствующему патриархатному дискурсу власти.

2. Одесса: Вернуть женщину в национальную историю

Одесский научный центр женских исследований получил известность главным образом благодаря работам Людмилы Смоляр, ставшей основоположницей «женской истории» в Украине. Опубликованная в 1998 г. монография Смоляр «Прошлое ради будущего. Женское движение Надднепрянской Украины (вторая половина XIX – начало XX в.)» представляет собой фундаментальное исследование истории женского движения на той части территории Украины, которая находилась в составе Российской империи. Таким образом, оно дополняет работу Богачевской-Хомяк, посвященную в основном западноукраинскому женскому движению. Основанная на обширных архивных материалах, детально освещающая процессы в разных регионах (Киев, Одесса, Харьков и др.), монография Людмилы Смоляр включает, помимо собственно истории женского движения, анализ правового статуса женщин разных социальных сословий на украинских землях, обзор демографической ситуации, рассмотрение образовательного уровня женщин и их экономического положения в различных сферах занятости.

Безусловно, парадигма «национальной истории» служит автору своего рода канвой конструирования истории украинского женского движения. Возникновение «женского вопроса» структурно и хронологически связано с первой стадией украинского национально-освободительного движения, с бурным развитием этнографических, филологических и исторических исследований, интересом к прошлому Украины и национальной самобытности ее народа. Открытие женской проблематики во второй половине XIX в. оказалось частью «открытия» интеллигенцией национальной традиции, то есть особенностей отношения к женщине в украинской культуре, ее роли в семье, обществе и т.д.⁴⁴

Формулируя особенности женского движения Надднепрянской Украины, Людмила Смоляр связывает первые две характеристики с правовой и политической ситуацией Российской империи: речь идет, во-первых, об абсолютизме царской власти, отсутствии политических прав не только у женщин, но и у мужчин и, во-вторых, об относительной экономической независимости женщины, обусловленной особенностями имущественного права в России, которое в отличие от кодекса Наполеона позволяло замужним женщинам владеть и распоряжаться собственностью. Две другие особенности являются исключительно национальными. Во-первых, речь идет о традиции гендерного равенства в украинском обществе, отличающей

украинок не только от западноевропейских, но и от российских. Вторая особенность характерна, согласно Людмиле Смоляр, для всех безгосударственных наций: возникновение женского движения на волне национального возрождения, поисков решения «национального вопроса». В целом все четыре особенности обусловили универсальный, а не партикулярный, узкогрупповой характер феминизма, который «в Надднепрянской Украине развивался в своей гуманистической версии и никогда не впадал в крайность типа объявления “войны полов”»⁴⁵. Феминизм, таким образом, стал частью национально-освободительной борьбы (в другой работе она присоединяется к определению украинского феминизма как прагматического, данного ранее Богачевской-Хомяк)⁴⁶.

Определение украинского женского движения (и соответственно определение нации), используемое Людмилой Смоляр, является максимально широким. Национал-демократическое направление женского движения в Надднепрянской Украине рассматривается в ряду других, не менее репрезентативных течений – либерально-демократического и социал-демократического (хотя структура книги указывает на эволюцию, связанную с пробуждением национального сознания). Этот нарратив, подчеркивающий существование различных направлений в женском и феминистском движении, ориентированных не только на проект национального возрождения и разрыв с империей, но и на различные проекты общеперской модернизации и демократизации (в том числе революционными методами), выходит за рамки парадигмы «национальной истории». Более того, этот нарратив открывает простор для обсуждения методологических вопросов, важных для «женской истории»: если «украинское женское движение» шире его национально-демократической составляющей, как можно определить границы «украинского» в XIX в., когда Украина была частью Российской империи? Здесь становится очевидно, что феминистский дискурс, даже не отдавая себе в этом отчета, склоняется к тому или иному определению украинской нации, участвует в конституировании ее границ.

С одной стороны, Людмила Смоляр вроде бы отдает предпочтение территориальному определению нации, сосредоточившись на женском движении в украинских губерниях Российской империи. Однако этот подход в контексте размежевания с имперской историей имеет свои пределы: женщины дворянского сословия не обладали в XIX в. «национальной идентичностью» в современном смысле, не идентифицировали себя с этническим окружением, в лучшем случае они разделяли региональный патриотизм членов своей семьи. Как мы узнаем из книги Людмилы Смоляр, «украинские» семейные корни имели математик Софья Ковалевская и революционерка Софья Перова, которых привычно считают персонажами российской истории. К тому же центрами политической активности были Москва и Петербург; поэтому общественная и политическая деятельность многих женщин протекала именно в центрах империи. С другой стороны, в подходе Людмилы Смоляр присутствует определенная «презумпция этничности», поскольку другие национальные

группы, проживающие на этой территории (например, поляки и евреи), остаются за пределами ее исследования.

Трудности вычленения «национальной истории» из истории общероссийской и имперской указывают на проблему, общую для всей украинской историографии: насколько глубоко в прошлое могут быть экстраполированы категории «национального». Украинские дворянские семьи, ведущие свое происхождение от казацких гетманских родов, были, как правило, интегрированы в общеимперскую элиту, а региональный малороссийский патриотизм долгое время сочетался с лояльностью империи. Как показал, например, российский историк Алексей Миллер, помимо проекта украинской нации, на этих же территориях существовали и другие конкурирующие проекты идентичности: польской, а позднее «большой российской нации», включающей украинцев и белорусов, и выбор в пользу какого-либо из этих проектов не был предпринят заранее⁴⁷.

«Женская история» представлена в работах Людмилы Смоляр как одна из глав нарратива национальной истории, она дополняет и обогащает последний и даже придает ему дополнительную легитимность. В сборнике «Женщина в истории и сегодня», изданном под ее редакцией⁴⁸, Людмила Смоляр делает попытку сконструировать последовательный и гомогенный метанарратив украинской «женской истории» – от древности до украинской независимости. Тем самым создается неизменный и монолитный исторический субъект – «украинская женщина», обладающая постоянным и практически не меняющимся на протяжении истории характером. В статье, опубликованной в австрийском журнале L'HOMME, Людмила Смоляр ссылается на свидетельства иностранных путешественников, посетивших Украину в XVI–XVIII вв. и указывавших в своих путевых записках на особый статус украинской женщины в обществе и ее непревзойденные качества – прием, широко распространенный в украиноведческом дискурсе⁴⁹. Эссенциализация и идеализация украинской женщины усиливается ссылками на Юрия Липу, одного из видных идеологов украинского национализма. Его эссе «Украинская женщина» – текст скорее политический, чем научный, – Людмила Смоляр использует не как пример определенного типа дискурса, а как научный аргумент: цитата «о женщине как носителе общественной и расовой морали» даже вынесена на обложку.

3. Львов: от этнологии к устной истории женщин

В 1999 г. группа молодых ученых создала во Львове научно-исследовательский центр «Женщина и общество». Содиректор центра Оксана Кись приобрела известность в Украине своими работами по этнологии и гендерным исследованиям. Защитив в 2002 г. кандидатскую диссертацию на тему «Женщина в украинской крестьянской семье второй половины XIX – начала XX в.», она первой в Украине предприняла попытку последовательно применить гендерный подход в историко-

этнологических исследованиях национальной культуры. Многочисленные публикации Оксаны Кись посвящены различным аспектам украинской культуры этого периода, например процессам социализации девочек в украинской семье, социальным ролям женщины, распределению обязанностей в семье, материнству и детству⁵⁰. Впрочем, Оксана Кись пишет и о современной гендерной проблематике в Украине⁵¹, например, она обращается к анализу фигуры Юлии Тимошенко в украинской политике и объясняет ее популярность сознательным комбинированием двух нормативных моделей постсоветской женственности – Берегини и Барби⁵². В последние годы Оксана Кись обратилась к теме женской памяти – под ее руководством Львовский центр принимал участие в международном проекте, посвященном женской памяти в странах Восточной Европы. Оксана Кись одной из первых в Украине обратилась к биографическому методу и Oral History и, пожалуй, первой использовала эту методологию в гендерных исследованиях. Добавим, что интересы Оксаны Кись не ограничиваются исследовательской деятельностью: она читает курсы по гендерной проблематике и много сделала для институционализации гендерных исследований в высшей школе. Центр «Женщина и общество» организовал несколько феминистских акций, одна из которых была, например, посвящена сексистским стереотипам в украинской рекламе. Оксана Кись способствовала популяризации феминизма и гендерных исследований среди широкой аудитории: под ее редакцией вышли два тематических номера культурологического журнала «І», посвященные этой проблематике, и антология переводов феминистских текстов⁵³.

Работы Оксаны Кись интересны в данном случае тем, что позволяют увидеть, какие возможности открывает и какие ограничения налагает этнология как особый тип академического дискурса на исследователя, пытающегося реализовать в ее рамках феминистский проект. Нельзя не отметить, что с конца 1980-х гг. этнология оказалась одной из дисциплин, особенно задействованных в процессах возрождения национальной культуры и строительства новых наций. Подтверждением этого в Украине является, например, институционализация украиноведения как обязательной дисциплины в высшей школе, повсеместная трансформация бывших обществоведческих кафедр в кафедры истории украинской культуры и рост числа диссертаций по специальности «этнология». О политической ангажированности этнологического дискурса свидетельствует и появление новых направлений, претендующих на статус научных дисциплин – этнополитологии, этнопсихологии и т.д. Этнология, ориентированная на обслуживание процессов национального строительства, ориентирована, как правило, на концепцию культуры, утвердившуюся еще в XIX в. В ее основе лежит, по словам Ниры Ювал-Дэвис,

«эссенциалистское видение “культуры” как имеющей определенную фиксированную “культурную начинку”, состоящую из символов, способов поведения и артефактов, которые в своей целостности и непротиворечивости составляют культуры национальных и этнических коллективов»⁵⁴.

Возникновение и развитие этнологии (этнографии) в Восточной Европе было во многом связано с развитием национальных движений (если перевернуть известное положение Мирослава Гроха о том, что первой фазой национального возрождения малых наций – фазой А – была активная деятельность интеллектуалов по сбору и изучению материалов, касающихся языка, культуры и истории угнетенной национальности)⁵⁵. Безусловно, империи со своей стороны нуждались в экспертном этнографическом знании, необходимом для выработки соответствующей административной, культурной и экономической политики в отношении этнических и религиозных групп, проживающих на их территории. В любом случае этнография была инструментом конструирования этнических и национальных групп, хотя и с различными целями. Советская этнографическая наука, как показала, например, историк Франсис Хирш, также была средством «концептуального завоевания земель и народов». Как научная дисциплина со своей историей, враждующими течениями и концептуальными разногласиями, научным языком и корпоративными интересами, она была непосредственно вовлечена в создание новых советских наций⁵⁶. После 1991 г. этнография (этнология), апеллируя к «традиции» и «культуре» как субстанциальным признакам этноса, стала формой легитимации постсоветских проектов нации.

Этот этнологический дискурс, между прочим, всегда структурировался вокруг фигуры женщины, – как правило, матери, представительницы этноса, носительницы ее характерных особенностей. В фокусе интересов этнологии – семья и родство, обычаи, традиции – все то, что традиционно связано со сферой «женского» и составляет в то же время сердцевину народной культуры. По замечанию Ювал-Дэвис,

«гендерные отношения часто видятся как конституирующие сущность культуры... Особое значение имеет здесь конструкция “дома”, включая отношения между взрослыми, а также между взрослыми и детьми, приготовление и потребление пищи, домашний труд, игры и рассказы на ночь, все те элементы, из которых возникает и воспроизводится целостная картина мира, этическая и эстетическая»⁵⁷.

«Гендер» встроен здесь в этнологический дискурс заданным образом и непосредственно связан с конструированием этноса/нации.

Свою задачу Оксана Кись видит не только в том, чтобы дополнить и углубить наши знания о положении женщины в украинской крестьянской семье прошлого века, но и в том, чтобы внести свои, феминистские акценты в общепринятые в этнологии представления. Демистификация материнства и других табуированных тем, борьба против идеализации и романтизации традиционного уклада в интересах политической конъюнктуры – первые шаги феминистской критики в украинской этнологии. Не случайно ее интерес привлекают маргинальные женские

роли – одинокие и бездетные, вдовы, ведьмы. Во многих случаях Оксана Кись стремится использовать этнологическое знание как инструмент феминистской критики. Объектом этой критики является прежде всего матерналистская идеология, стереотип украинской женщины как Березини и миф об украинском матриархате. Так, используя обширный этнографический материал, Оксана Кись показывает в одной из своих публикаций несостоятельность мифа об «идеальном материнстве», укорененном как в обыденном сознании, так и в социально-гуманитарных науках. Основные постулаты этой мифологемы сводятся к тому, что ребенок якобы является безусловной ценностью в украинской семье, а материнство всегда было основной социальной ролью женщины и составляло смысл ее жизни. Ссылаясь на работы Адриен Рич и Нэнси Чодоров, Оксана Кись выступает против эссенциализации материнского инстинкта и рассматривает материнство как социальный конструкт⁵⁸. Она подробно прослеживает, как установка на материнство (реализация женского предназначения) программировалась на каждом этапе социализации девочки. Анализ распределения женщиной времени между различными обязанностями, связанными с домом и семьей, показывает, что материнские функции были часто подчинены хозяйственным интересам семьи, а мать нередко испытывала к новорожденному амбивалентные чувства. Демистификация материнства и других табуированных тем, борьба против идеализации и романтизации традиционного уклада в интересах политической конъюнктуры – первые шаги феминистской критики в украинской этнологии, которые сделала именно Оксана Кись⁵⁹.

В последние годы ее интересы распространились на новое для Украины исследовательское направление – устную женскую историю. Оксана Кись связывает особую продуктивность этого подхода с возможностью изучения бессознательных, скрытых, неартикулированных смыслов, которые особенно актуальны для посттоталитарного, по ее определению, украинского общества. Женщины в большей степени были лишены репрессивной властью индивидуального голоса и памяти, поэтому задача устной истории состоит в том, чтобы инкорпорировать индивидуальный женский опыт в наше знание о прошлом. Речь, таким образом, идет о восстановлении полноценной национальной памяти, включающей женскую память как наиболее табуированную. На фоне характерного отсутствия исследовательского интереса к советскому периоду украинской истории (за исключением отдельных политизированных тем) и очевидной ограниченности концептуального аппарата для этих целей «устная история» видится как одна из возможностей проникнуть в «смысл» советского прошлого через индивидуальную память и индивидуальный нарратив. Тем не менее феминистский проект возвращения «женского голоса» в историю с политической и методологической точки зрения не всегда однозначен. «Женский голос» не существует сам по себе – выбор фрагментов для анализа, интерпретационная рамка задаются исследователем. Так, статья Оксаны Кись «Рассказывая о несказанном: репрезентации этнических и региональных идентичностей в автобиографиях украинских женщин» основывается на интервью с двумя

пожилыми женщинами – выходцами с востока и запада Украины⁶⁰. Их жизненные истории отражают прошлое на уровне индивидуального женского опыта, что позволяет увидеть советскую историю в новом ракурсе. Однако две версии женской памяти ожидаемо расходятся в том, что касается отношения к советскому режиму и его оценки, подтверждая базовую для украинского политического дискурса дихотомию «украинский Запад – советизированный Восток». Интерпретация индивидуальной женской памяти оказывается подчинена доминирующему нарративу «национальной истории».

4. Харьков: феминизм как деконструкция национализма

Последний пример, который будет здесь рассмотрен, – это Харьковский центр гендерных исследований, созданный в 1994 г. Лицо этой организации определяет супружеская пара Сергей и Ирина Жеребкины. Инициатор и бессменный руководитель центра Ирина Жеребкина получила философское образование в Киеве, позднее ее карьера была связана с работой в Институте философии Российской академии наук. Концептуальной основой феминистских исследований Харьковского центра стала философия постмодернизма, литературный критицизм и психоанализ. Благодаря профессиональной маркетинговой стратегии Жеребкины смогли обеспечить для своих проектов стабильное финансирование, которым, как правило, не могут похвастаться женские организации подобного рода. С середины 1990-х гг. центр регулярно проводит международные летние школы, посвященные феминистской методологии в социальных науках, где собираются участники из бывших советских республик. Рабочим языком школ, традиционно проводимых в Форосе (Крым), является русский. На русском языке публикуется также журнал «Гендерные исследования», практически единственное регулярное феминистское издание не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Книги, публикуемые центром (в основном переводы зарубежных авторов и монографии Ирины Жеребкиной⁶¹), выходят в последние годы в России, главным образом в Санкт-петербургском издательстве «Алетейа».

Позицию Ирины Жеребкиной (а это, несомненно, сознательно избранная позиция) отличает от других рассмотренных выше феминистских проектов то, что она сознательно позиционирует себя вне дискурса «национального феминизма». Ирина Жеребкина не определяет ни свою локализацию, ни объект исследования как «Украину», предпочитая скорее временные категории: «постсоветские страны», «переходные общества» или «в бывшем СССР». Она не идентифицирует себя с украинским феминизмом и дистанцируется от того, что другие определяют как его «традицию». Ирина Жеребкина сознательно ускользает от определения своей позиции в навязанных извне категориях: «важно не участвовать в дискурсивном выборе и/или вновь предоставленном политикой сегодня, какие бы формы он ни принимал (гло-

бализация или локализация, универсальное или партикулярное, национальное или мультикультурное и т.д.)»⁶². В отличие от своих коллег она ставит под сомнение саму возможность феминизма и гендерных исследований в постсоветских странах, указывая на их симулятивный и манипулятивный характер.

Методологические предпочтения Ирины Жеребкиной и интерес к западным теоретикам «постфеминизма» (Рози Брайдогги, Джудит Батлер, Зила Айзенштайн, Рената Салецц) во многом объясняют ее позицию. Речь идет о кризисе и смене парадигм в современном феминизме, что подразумевает переход от «феминизма равенства» к «феминизму различия», критику классического либерального феминизма, тематизацию женской субъективности, деконструкцию бинарных оппозиций в самом феминизме (например, Восток – Запад). По мнению Жеребкиной, эта методология не является монополией Запада. Более того, она может быть эффективно применена для анализа особенностей постсоветского общества, функционирующего на уровне коллективного бессознательного. Каким образом власть в постсоветском обществе присваивает право говорить от имени и в интересах женщин? Как «женские интересы» сконструированы и представлены в официальном дискурсе и националистической идеологии? Сама постановка проблемы отрицает оптимистический взгляд на украинскую культуру как изначально «предрасположенную» к феминизму, ставит под сомнение нарратив «возрождения» женского движения.

Национализм в понимании Ирины Жеребкиной – скорее категория психоанализа, чем социологии или политической теории. Опираясь на предложенное Бенедиктом Андерсоном понятие «национального воображаемого», но интерпретируя его, вслед за Славоем Жижекком, в лакановском духе, она полагает, что именно «потеря» или «нехватка» стимулирует структуры воображаемого: например, утраченное единство территории стимулирует возникновение мифа о единой идентичности. Кроме того, в переходных обществах, в силу крушения старой идентификационной системы, символическое оказывается для людей более значимым, чем реальные экономические и социальные проблемы. Новая национальная идентичность, предлагаемая властью дезориентированным массам, служит компенсацией повседневных трудностей и «скрывает... новое перераспределение собственности и власти». Национализм, таким образом, носит исключительно манипулятивный характер. Наконец, «в национальном воображаемом образ “другого” чаще всего принимает коннотацию врага»⁶³ – национализм в интерпретации Ирины Жеребкиной с неизбежностью предполагает исключение «другого» и агрессию против него. Этот механизм объясняет, с ее точки зрения, рост насилия по отношению к женщинам в переходных обществах: «женщина служит архетипической жертвой, которая аккумулирует на себе невероятные потоки насилия, поднятые наружу общим состоянием коллапса идентичности»⁶⁴. Понятно, что такая трактовка национализма как идеологии и политики, однозначно виктимизирующей женщин, в корне противоположна дискурсу «национального феминизма».

В книге «Женское политическое бессознательное», опубликованной ХЦГУ в 1996 г. (и переизданной в 2002 г. в Санкт-Петербурге), Ирина Жеребкина непосредственно обращается к теме взаимодействия националистического и феминистского дискурсов. По сути, это единственная в Украине работа, где данная проблема рассматривается теоретически, кроме того, это единственная книга Ирины Жеребкиной, касающаяся непосредственно украинской проблематики. Поэтому интересен тот факт, что монография не была переиздана на украинском языке и практически не обсуждалась в украиноязычных феминистских публикациях, если не считать резкой критики «антиукраинской позиции» автора. Предметом анализа в книге становится «традиция украинского феминизма», однако в отличие от упомянутых выше авторов, Ирина Жеребкина занимает по отношению к нему критическую дистанцию. С ее точки зрения идеология национализма, оперируя романтическими образами «матерей нации», готовых к самопожертвованию ради своего народа, «насилует женщин символическим», предписывая им заранее определенные роли и мешая осознать собственные интересы. Основываясь на разнообразном историческом и культурном материале (украинская литература XIX–XX вв., история женского движения, документы современных женских организаций и конференций), Жеребкина демонстрирует трансформацию традиционных женских образов в украинской культуре, а также историческую преемственность украинского феминизма в до- и постсоветскую эпоху, детерминирующую роль национализма в женском движении. Таким образом, оперируя тем же историческим материалом, что и Марта Богачевская-Хомяк, Ирина Жеребкина практически пишет историю *несостоявшегося* украинского феминизма.

Используя те же мотивы и символы украинской культуры, что и феминистки-литературоведы Киевского центра, она приходит к противоположным выводам. Например, обращаясь к женским образам в поэзии Тараса Шевченко, отражающего пробуждение национального самосознания в середине XIX в., она анализирует центральный для его творчества образ «матери-покрытки»: украинской девушки, соблазненной и брошенной москалем. Символ «изнасилованной матери» является, с точки зрения Ирины Жеребкиной, центральным для политики национальной идентичности, символизируя колониальную Украину, страдающую под гнетом империи. Это позволяет ей сделать вывод о том, что украинская национальная идентичность формируется в результате противопоставления ненавидимому «другому» – имперской России и что этот образ Врага является центральным для украинской национальной идентичности.

Другой пример касается интерпретации гомосексуальных мотивов в украинской культуре. Если для Соломии Павлычко, Веры Агеевой и других феминистских литературоведов лесбийские мотивы в текстах Леси Украинки и Ольги Кобылянской символизируют принадлежность украинской культуры к европейской традиции модернизма, то Сергей Жеребкин, интерпретируя культуру украинского казачества как гомосексуальную, десакрализирует один из наиболее значимых наци-

ональных мифов⁶⁵. Тексты Ирины и Сергея Жеребкиных подверглись резкой критике со стороны сторонников «национального феминизма»⁶⁶. Критикуя противопоставление национализма и феминизма «как конкурирующих, враждебных друг другу дискурсов», а также «русоцентричную языковую и культурную политику школы», оппоненты зачастую обозначают «харьковский феминизм» как «имперский» и «антиукраинский». «Похоже, что, как и многие другие постсоветские руссофоны, представители харьковской гендерной школы не осуществили “работы траура” по Российской империи и находятся в состоянии меланхолической ностальгии по объединенному русскоязычному культурному пространству»,⁶⁷ – заметил Виталий Чернецкий. Другими аргументами критиков было упрощенное, с их точки зрения, видение национализма как исключительно репрессивной идеологии, отождествление украинской культуры с национализмом, а последнего – с государственной культурной политикой, а также сознательно занятая Жеребкиными позиция «постороннего» по отношению к украинской культуре.

Критическая рефлексия в отношении национализма и «нациоцентрического дискурса» в гендерных исследованиях отличает позицию Харьковского центра от других феминистских школ. Однако своеобразный проект «ненационального» феминизма имеет свои ограничения. Структурируя его вокруг «постсоветского», а не «национального», Жеребкины сталкиваются с проблемой неизбежной эссенциализации переходных, т.е. временных, моментов. Избранная ими локализация – «в бывшем СССР» – становится все менее оправданной концептуально и политически по мере дезинтеграции постсоветского пространства. Харьковский центр, приобретая известность и авторитет в русскоязычном интеллектуальном пространстве, сознательно занимает маргинальную позицию в украинском феминистском дискурсе.

Заключение

Рассмотренные выше феминистские проекты, возникшие внутри (и на пересечении) различных социальных и гуманитарных наук, по-разному решают вопрос о взаимоотношениях национализма с феминизмом. Их диапазон довольно широк: от феминистской реинтерпретации национального культурного канона, «изобретения традиции» национального феминизма и возвращения женщины в (национальную) историю до последовательной деконструкции идеологии и политики национализма на основе постмодернистской и постфеминистской парадигмы. В одних случаях самоопределение по отношению к национализму является сознательно избранной политической стратегией, в других эта связь не проговаривается, хотя горизонт «национального» так или иначе определяет цели, выбор парадигмы и методологию феминистского исследования.

Очевидная проблематичность (и идеологичность) определения «украинский феминизм» указывает на отсутствие в обществе консенсуса по более широкому во-

просу – об определении украинской нации и ее символических границах. Не всякий феминизм в Украине является «украинским», если понимать под этим языковую и культурную идентичность. Однако стоит ли рассматривать эту ситуацию как постколониальную и переходную, возможна ли вообще утопия окончательной «национализации»? Приведенные выше примеры показывают, что, несмотря на доминирующий националистический дискурс, украинский феминизм представляет собой *de facto* транснациональный феномен. В столкновении различных феминистских дискурсов становится виден зазор, возникающий между культурно-этническим и территориальным определениями нации, проявляется несоответствие национальных границ с границами дискурса украинского феминизма. Конфликты между феминистскими школами (или их демонстративное игнорирование друг друга) отражают также борьбу за культурную гегемонию, за право использования западного языка феминизма и постколониальной парадигмы для легитимации своих академических проектов и политических стратегий.

Примечания

- ¹ Онуфрив С. Вступ. // *І. Незалежний культурологічний часопис*. n.17. 2001.
- ² Bohachevsky-Chomiak M. *Feminists Despite Themselves. Women in Ukrainian Community Life, 1884-1939*. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. Украинский перевод: Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884–1939. Київ: Либідь, 1995.
- ³ Богачевська-Хомяк М. Націоналізм і фемінізм: провідні ідеології чи інструменти для з'ясування проблем? // *Гендерний підхід: історія, культура, суспільство* / Під ред. Л. Гентош, О. Кісь. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. С. 173.
- ⁴ Wilson A. *Ukrainian nationalism in the 1990s: A minority faith*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- ⁵ Зборовська Н. *Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків*. Львів: Літопис, 1999.
- ⁶ Yuval-Davis N. *Gender and Nation*. London: Thousand Oaks; New Delhi: Sage, 1997.
- ⁷ Rubchak M. J. In Search of a Model: Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and Russia // *European Journal of Women's Studies*. Vol. 2. Issue 2. May 2001; Rubchak M. J. Christian virgin or pagan goddess: feminism versus the eternally feminine in Ukraine // Rosalin March (ed.). *Women in Russia and Ukraine*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 315–330.
- ⁸ О матерналистском дискурсе в украинском женском движении см.: Нгуцак А. *Foundation Feminism and the Articulation of Hybrid Feminisms in Post-Socialist Ukraine* // *East European Politics and Societies*. Vol. 20. No. 1. P. 69–100.
- ⁹ Например, Гизела Каплан рассматривает обе идеологические позиции как «почти всегда несовместимые», а противоречащие этому правилу примеры Италии и Финляндии – как «экстраординарные» и «исключительные» (Kaplan G. *Feminism and Nationalism: European Case* // *Feminist Nationalism* / Ed. by Lois A. West. NY, London: Routledge, 1997).

- ¹⁰ Например, Вирджиния Вульф: Woolf V. *Three Guineas*. New York: Harbinger Book, 1938. P. 107–109.
- ¹¹ Историк Ханс Кон первым противопоставил западный национализм как либеральный, основанный на гражданских институтах и правах личности – восточноевропейскому национализму, рожденному в среде интеллектуалов и определяемому через «культуру» и «этнос», отдающему преимущество интересам целого перед правами индивидуума (Kohn H. *Western and Eastern Nationalism* // John Hutchinson and Anthony D. Smith (eds.). *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press, 1994). В той или иной степени это различие проводили и другие авторы: Михаэль Игнатъевф, Энтони Смит, Эрнст Геллнер (см. подробную критику у Тараса Кузьо: Kuzio T. *The Myth of the Civic State: A Critical Survey of Hans Kohn's Framework for Understanding Nationalism* // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 25. № 1 (January 2002). P. 20–39). Эта схема неявно предполагает, что западный национализм уже «в прошлом», тогда как Восточная Европа все еще никак не может переболеть этой болезнью молодых наций.
- ¹² Гапова Е. О политической экономии «национального языка» в Беларуси // *Ab Imperio*. 3/2005.
- ¹³ Нгусак А. *Foundation Feminism*.
- ¹⁴ Пушкарева Н. Гендерная проблематика в исторических науках. Введение в гендерные исследования. Ч.1. Учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя 2001. С. 277–311.
- ¹⁵ См. публикации Людмилы Смоляр, Оксаны Кись, Оксаны Маланчук-Рыбак (Украина), Натальи Пушкаревой (Россия), сборники под редакцией Елены Гаповой, Ирины Чикаловой (Беларусь).
- ¹⁶ Wilfried Jilge. *The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine (1986/1991–2004/2005)* // *Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas*. Band 54. 2006. Heft 1. Franz Steiner Verlag. S. 50–81.
- ¹⁷ Hagen M. von Does *Ukraine have a History?* // *Slavic Review*. 54 (1995) 3. S. 658–673.
- ¹⁸ Смоляр Л. *Минуле заради майбутнього: жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX – поч. XX ст. Сторінки історії*. Одеса: Фстропринт, 1998.
- ¹⁹ *Жіночі Студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні* // За ред. Л. Смоляр. Одеса: Астро-Принт, 1999.
- ²⁰ Маланчук-Рибак О. *Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях XIX – першої третини XX століття*. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.
- ²¹ Рудницька М. *Статті, листи, документи* / Упорядник М. Дядюк. Львів, 1998.
- ²² Смоляр Л. *Ук. соч.* С. 8.
- ²³ Kichorovska Kebalo M. *Exploring Continuities and Reconciling Ruptures. Nationalism; Feminism, and the Ukrainian Women's Movement* // *Aspasia. International Yearbook of Central; Eastern and Southeastern Women's and Gender History*. Vol.1. 2007. P. 36-60.
- ²⁴ Маланчук-Рибак. *Ук. соч.* С. 82.
- ²⁵ Там же. С. 255.
- ²⁶ Рябчук М. *Дві України* // *Критика*. № 10. 2001.
- ²⁷ Миллер А. *Империя Романовых и национализм*. М., 2006. С. 21.
- ²⁸ Кись О. Рецензия на книгу “Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні” / За ред. Л. Смоляр. Одеса: Астро-Принт, 1999. www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um4-5/Retsenziji/7-KIS%20Oksana.htm

- 29 Павличко С. Фемінізм. Київ: Основи, 2002.
- 30 В этой связи часто ссылаются на поэму Леси Украинки «Боярыня», повествующую о судьбе украинской девушки, вышедшей замуж по любви за соотечественника, находящегося на службе у московского царя. Запертая в тереме и лишённая привычной свободы, она гибнет не только от тоски по родной Украине, но и от гнета чуждых её культуре патриархатных традиций Домостроя.
- 31 Костомаров Н. Две русские народности // Основа. СПб., 1861. № 3. С. 33–80.
- 32 Rubchak Marian J. In Search of a Model. P. 154.
- 33 Рудницька М. С. 195–200.
- 34 Kichorovska Kebalo. Ук. соч. С. 52.
- 35 Соломия Павлычко, організатор и вдохновитель Киевского центра, трагически ушла из жизни в 1999 г. Она была не только страстным популяризатором феминистских идей в Украине (см. посмертный сборник её статей: Павличко С. Фемінізм. Київ: Основи, 2002), но и активно способствовала модернизации украинской культуры в качестве переводчицы и издателя. Основанное ею издательство «Основи» публикует переводы классической зарубежной литературы на украинский язык.
- 36 См., например: Павличко С. Листи з Києва. Київ: Основи, 2001.
- 37 Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? // Слово і Час. 1991. № 6.
- 38 Гундорова Т. Femina Melancholica. Стаття і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. Київ: Критика, 2002.
- 39 Там же. С. 227.
- 40 Агеева В. Поетеса злама століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. Київ: Либідь, 2001.
- 41 Агеева В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму. Київ: Факт, 2003.
- 42 Там же. С. 46.
- 43 Забужко О. Жінка-автор в колоніальній культурі, або знадоба до української гендерної міфології // Хроніки від Фортінбраса. Київ, 2001.
- 44 Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. С. 61.
- 45 Там же. С. 62.
- 46 Smolyar L. The Ukrainian Experiment. Between Feminism and Nationalism or the Main Features of Pragmatic Feminism // L'OMME Schriften 13. Reihe zu Feministischen Geschichtswissenschaft. Women's Movements. Networks and debates in post-communist countries in the 19th and 20th centuries. Edith Saurer, Margareth Lanzinger, Elisabeth Frysak (Hg.). S. 397–411.
- 47 Miller A. Shaping Russian and Ukrainian identities in the Russian empire during the 19th century: some methodological remarks // Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas. 2001. Band 49. Heft 4. S. 257–263.
- 48 Жіночі Студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні // За ред. Л. Смоляр. Одеса: Астро-Принт, 1999.
- 49 Smolyar L. The Ukrainian Experiment. P. 400–401.
- 50 Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім'ї XIX – початку XX століття. Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов'ян. Зб. Наук. Праць. Київ: Стило, 1999. С. 49–55; Она же. Украинская ведьма (эскиз социального портрета). Гендерные исследования // ХЦГИ. 2000. № 5. С. 274–285.

- ⁵¹ Кісь О. Моделі конструювання гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні // Незалежний культурологічний часопис “І”. № 27. Львів, 2003. С. 109–119.
- ⁵² Кісь О. Жіночі стратегії в українській політиці // Пошуки гендерної паритетності: український контекст / Під ред. І. Грабовської. Ніжин: ДС Міланік, 2007. С. 121–140.
- ⁵³ Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / Під ред. Л. Гентош, О. Кісь. Львів, “ВНТЛ-Класика”, 2003.
- ⁵⁴ Yuval-Davis N. *Op. cit.* P. 41.
- ⁵⁵ Hroch M. *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 22.
- ⁵⁶ Hirsch F. *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca, London: Cornell University Press, 2005.
- ⁵⁷ Yuval-Davis N. *Op. cit.* P.43.
- ⁵⁸ Кісь Оксана. Материнство и детство в украинской традиции: деконструкция мифа. Социальная история. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история / Под ред. Н.Л. Пушкаревой. М.: Российская политическая энциклопедия, 2003. С. 156–172.
- ⁵⁹ Кісь О. Кого оберігає Берегиня, або матріархат як чоловічий винахід // Дзеркало тижня. № 15. 23 квітня-6 травня 2005 року.
- ⁶⁰ Kis O. *Telling the Untold: Representations of Ethnic and Regional Identities in Ukrainian Women’s Auto biographies* // *Writing About Talking: Orality and Literacy in Contemporary Scholarship* / Ed. by Keith Carlson, Natalia Shostak, and Kristina Fagan. Toronto: University of Toronto Press, forthcoming.
- ⁶¹ Жеребкіна І. *Страсть*. СПб: Алетейа, 2002; Она же. *Гендерные 90-е или Фаллоса не существует*. СПб: Алетейа, 2003; Она же. “Прочти мое желание...” постмодернизм, психоанализ, феминизм. М.: Идея-Пресс, 2000.
- ⁶² Жеребкіна І. *Женское политическое бессознательное*. СПб: Алетейа, 2002. С. 10.
- ⁶³ Там же. С. 20.
- ⁶⁴ Там же. С. 23.
- ⁶⁵ Жеребкін С. *Гендерные «политики идентификации» в эпоху козачества* // *Гендерные исследования*. 1/1998. С. 228–252.
- ⁶⁶ Наприклад: Богачевська-Хомяк М. *Тендер довкола гендеру* // *Критика*. Рік 2 (1998). Число 3(5); Зборовська Н. *Феміністичні роздуми*.
- ⁶⁷ Чернецький В. *Протистоячи травмам: гендерно та національно маркована тілесність як наратив та видовище у сучасному українському письменстві* // *Виднокола*. Інтернет-видання Київського Інституту гендерних досліджень. Число 3. <http://www.vidnokola.kiev.ua/Magazine/N3/Num3.htm>.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В ПОЛЬШЕ 1989–2000 гг.

Социальные трансформации переходного периода в странах Центральной и Восточной Европы обнаруживают много сходства, в том числе в области изменения гендерных отношений. Общее в изменениях гендерной стратификации, отмечаемых исследователями постсоциалистических обществ, заключается в формировании «маскулинной» демократии, изначально представляющей собой систему маскулинного доминирования в экономике и политике¹. Однако особенности этих процессов определялись в каждом случае политикой государств.

Изменения в области социальной роли и политики государства являлись едва ли не самыми значимыми для изменения гендерной стратификации. Концепции социальных прав, типы социальной политики выражают содержание усилий государства по перераспределению социальных ресурсов и имеют гендерное измерение. Поскольку гендерные отношения, гендерная система в обществе зависят от участия полов в производстве и воспроизводстве, то в период системной трансформации практически весь комплекс мер по ее осуществлению оказывал влияние на гендерные отношения, вне зависимости от того, какие задачи стояли в области гендерных отношений. В любом случае, результатом политики стало изменение гендерной стратификации общества, так как изменяются возможности мужчин и женщин в доступе к экономическим и социальным ресурсам, асимметричного разделения труда в семье.

На социальную политику влияли не только задачи реформирования, но и та система, которая действовала на предшествующем этапе. В период народной Польши гендерная система разделяла общие для социалистических стран особенности. Это была этакратическая (или патримониальная) система, в рамках

которой был сформулирован и решен «женский» вопрос. Его формулировка и решение заключались в освобождении женщин для участия в социалистическом производстве, как трудового ресурса для модернизации². Таким образом, эмансипация, «трудовое освобождение»³, не являлось следствием собственной борьбы женщин. Женское гражданство заключалось в его особенности, связанной с репродуктивной функцией женщин, также имеющей чрезвычайное значение для социалистического государства. Исследователями используется концепт «контракта работающей матери»⁴, включающий участие женщины в производственной деятельности в сочетании с выполнением традиционных функций в частной, семейной сфере, так называемая двойная нагрузка (двойное бремя). Инструментом поддержания гендерной системы стал закон об аборте. В Польше, как ни в одной стране региона, этот вопрос обладает дополнительным смыслом демонстрация гендерной системы. В социалистический период в 1956 г. был разрешен аборт по социальному основанию, что знаменовало собой легализацию социалистического гендерного порядка. Женщинам было позволено контролировать свою репродукцию, хотя возможность индивидуального планирования и контроля репродукции ограничивалась только таким чрезвычайным методом.

Социальная политика государства варьировалась в рамках «контракта работающей матери» в зависимости от задач, встававших на повестку дня. В 1970-х гг., вследствие снижения количества трудовых ресурсов, социальная политика в Польше приобрела пронаталистскую направленность. Для стимулирования рождаемости были введены оплачиваемые декретные отпуска, больничные для матерей по уходу за детьми, кредиты для молодых семей. Государство гарантировало женщинам и мужчинам равные права на труд и оплату. Но существовала гендерная дифференциация в доходах вследствие структурной специфики занятости – женщины занимали менее оплачиваемые рабочие места и получали, соответственно, меньшую зарплату⁵. Гарантии женщинам-работницам выполнения материнских функций, двойная нагрузка ограничивали карьерный рост женщин, но материнство давало им помощь со стороны государства. Такая система позволяла не только использовать женский трудовой ресурс в производственной сфере, но и частично компенсировать неразвитость экономики в отраслях, связанных со сферой услуг и производством продукции широкого потребления. Практически не происходило перераспределения домашних обязанностей внутри семьи, хотя мужчина переставал быть единственным кормильцем в семье⁶. Государством создавалась система социальной защиты, частично компенсирующая функции социального воспроизводства: система бесплатных дошкольных воспитательных учреждений, бесплатного медицинского обслуживания населения⁷, организации детского досуга. Вся эта сфера брала на себя часть функций репродуктивной сферы, выполняя функции заботы. Она финансировалась государственным бюджетом и определялась соответствующими министерствами.

Социалистическая гендерная система могла существовать за счет специфической социальной системы государства, обладающего функциями абсолютного контроля и распределения. Она была построена таким образом, что различия между социальной и экономической функцией государства стирались⁸. Основа социальных прав заключалась скорее в правах работника, чем гражданина, поскольку система перераспределения социальных благ (в том числе гендерно маркированных) осуществлялась через предприятия, обладающие не только производственными, но и социальными функциями и обязательствами.

Патерналистская социальная политика была частью социализма и, как и он, имела ограничения в эффективном периоде своего существования. В условиях трансформации эта политика стала бесперспективной. Как и сам социализм, она выполняла задачи ускоренной модернизации и отнюдь не ставила перед собой задачи благополучия индивида через обретение прав и возможностей. Социалистический опыт не прошел бесследно – он обеспечил выход женщин на рынок труда в рамках ускоренной модернизации, не так, как это происходило в странах Запада, но тем не менее обеспечил. Несмотря на безработицу, отрицание предшествующей эпохи, реанимацию традиционалистских гендерных ценностей в 1990-е гг., оказалось невозможным вернуться к традиционной модели гендерных отношений как к универсальной даже на время.

Перспективы трансформации

Перспективы формирования новой социальной политики определялись изменившимися принципами государственного участия в экономической деятельности, отказом от полного контроля над перераспределением средств госбюджета, изменением самих основ наполнения этого бюджета, разделением экономических и социальных функций предприятий, появлением частной собственности и конкуренции. Приватизация, конкуренция выводили социальную сферу из круга непосредственной деятельности предприятий.

Перспективы социальных преобразований так или иначе не могли не быть связаны с опытом стран с развитой рыночной экономикой. Выбор модели социальной политики в новых рыночных условиях должен был определить особенности гендерной стратификации. Одной из наиболее распространенных и традиционных классификаций для гендерного анализа является классификация Эспинг-Андерсена, представленная в его книге «Три мира социального капитализма»⁹. Эспинг-Андерсен выделяет три типа государств всеобщего благосостояния и соответствующих им принципов социальной политики: социал-демократический тип (Скандинавские страны); сочетание консервативных и корпоративно-этатистских режимов стран континентальной Европы (Германия, Австрия, Франция, Италия); либеральная модель (США, Канада, Австралия, Британия). Скандинавская модель гарантирует социальные права гражданства и подразумевает перераспределение способности к

оплате за счет налоговой системы. Либеральная модель помогает избежать бедности при минимальном участии государства (минимальных затратах из бюджета), значительная часть социальной поддержки остается за частной инициативой и благотворительностью. Консервативно-корпоративная модель представляет собой сложную систему совмещения государственного и частного страхования. Этим трем моделям соответствует три типа страновых моделей семьи-с-мужчиной-кормильцем: страны со «слабой» моделью; «переходный» вариант; «сильная» модель такой семьи¹⁰.

Вопрос о прямом заимствовании Польшей какой-либо из указанных моделей не мог стоять потому, что на период начала реформ страна не располагала необходимыми ресурсами для их эффективного осуществления, как финансовыми, так и институциональными. Их появление должно было бы стать одним из последствий в ходе осуществления реформ. Но, так или иначе, ориентация на какую-либо модель должна была проявиться. Клигман и Гал отмечают, что главной особенностью стран Центральной Европы в отношении выбора социальной модели развития является противопоставление государства и рынка, в результате которого теряется все разнообразие различных видов государственных мер и форм регулирования рынка¹¹. И гендерные последствия той или иной политики редко привлекают внимание на тех же основаниях: в других исторических условиях отсутствуют такие «тонкости» рыночных моделей, как артикуляция гендерных интересов и проведение соответствующих политик.

Представления о социальной политике государства и, как следствие, гендерная составляющая этой политики определялись отношением к предшествующему социалистическому опыту в его представлениях о социальной справедливости и «женском» вопросе; в его патерналистском характере разрешения этого вопроса и, как следствие, отсутствии групп, отстаивающих интересы женщин; в неолиберальной экономической теории реформаторов¹² с сокращением участия государства в экономической жизни, переоценкой рынка в регулировании социально-экономических процессов, игнорированием воспроизводительного труда.

Исходя из задач реформирования, в реальную социальную политику государства не могло быть включено идей гендерного равенства, идеологическим ресурсом здесь оставался социалистический после отторжения эмансипаторских концепций, т.е. идеология защиты репродуктивных функций женщины. Основная особенность этой политики заключалась в том, что она не формулировалась как гендерная, перед ней не ставилось задач целенаправленного изменения гендерного порядка общества. При ее осуществлении она опиралась скорее на традиционные представления о гендерных ролях и динамика изменения этого подхода менялась на протяжении рассматриваемого периода. Не менее важное значение имело то, каким образом она интегрирована в программы рыночного реформирования. Хотя осуществление реформ затрагивало самым непосредственным образом гендерные отношения, «гендерная» тема отсутствовала в теориях трансформации, она не воспри-

нималась как интегральная часть изменений, а скорее как нечто второстепенное по значимости. Таким образом, уже сами концептуальные основы социальной политики в условиях перехода к рынку могли стимулировать негативное влияние на положение женщин в новой гендерной стратификации.

Влияние социальной политики на гендерные отношения

Развитие Польши в переходный период имело ряд особенностей, отличавших ее от других стран региона. К ним относится успешность экономических реформ за счет быстрого и относительно безболезненного перехода к рыночному обществу, хотя Польше не удалось избежать негативных социальных последствий трансформации¹³, среди которых рост бедности, проявляющийся в снижении доходов населения, рост неравенства доходов и благосостояния населения, рост неравенства в оплате труда между мужчинами и женщинами, безработица, неполная занятость, перетекание рабочих мест в теневую, незаконную экономическую деятельность. Значительная (относительно других стран) и постепенно сокращающаяся, но сохраняющаяся роль государства в этой сфере и в регулировании процессами экономической трансформации в целом способствовала завершению институциональных реформ¹⁴.

Трансформация проходила при активном участии международных организаций, поощрявших сокращение социальных расходов и приватизацию социальных служб. От роли государства в экономических и социальных реформах перехода зависели и гендерные последствия преобразований. Излишнее государственное вмешательство в экономику в теориях системной перестройки и предложениях международных финансовых организаций рассматривалось негативно, поскольку считалось, что оно приводит к нарушению распределительной функции рынка, увеличивает бюджетный дефицит. Программы развития, предлагавшиеся МВФ и ВБ еще в 1980-е гг., формально считались гендерно-нейтральными, но, по мнению ряда исследователей, они содержат скрытый «гендерный крен», провоцируя преобладание женщин в сфере неоплачиваемого труда и неравное распределение ресурсов внутри домохозяйств¹⁵. Социальные затраты сдвигаются в частную сферу, возрастает нагрузка на эту сферу по обеспечению социального воспроизводства, а именно на женщин, и, следовательно, именно женщины компенсируют социальные издержки системной трансформации.

Внутренние политические участники процесса, в первую очередь Солидарность и либеральные партии, вышедшие из нее, относились к социалистическому наследию крайне отрицательно и были сторонниками радикального реформирования¹⁶, свидетельство чему ускоренная программа реформ Лешека Балцеровича. Что касается социальной политики, то в условиях системной трансформации на первых ее этапах создавались институциональные основы новой политической и

экономической системы, социальные изменения происходили во многом как следствие этих процессов¹⁷. Рассматривая реформы, следует отметить, что социальная сфера подверглась реформированию относительно поздно, в конце 1990-х гг., после реализации основной части программы перехода к рынку, пришедшейся на начало 1990-х. Сначала была унаследована старая система социальной защиты. Х.-Ю. Вагенер указывает на это как на системный подход, в рамках которого предполагалось провести приоритетное реформирование – стабилизацию, приватизацию, либерализацию – и после этого работать с системой социальной защиты¹⁸. В целом, несмотря на частую смену кабинета министров и правящих блоков на протяжении изучаемого периода (с 1990 до 2001 г. блоки правоцентристских сил два раза были у власти, блок левоцентристских сил – один), внутренняя политика в стране осуществлялась без резких отклонений от принятого курса либеральных реформ.

Собственно, основной задачей в начале трансформации являлось проведение необходимых экономических изменений, которые создали бы основу для формирования новой социальной системы. А на следующем этапе консолидации происходили бы изменения в области социальной политики государства, отгалкивающиеся от сложившейся рыночной основы, что соответствует этапам перехода (transititon), как их определяют Д. Придам и А. Аг¹⁹. На практике социальные вопросы оказались заложниками перехода, поскольку, прежде чем в Польше наступил экономический рост, она пережила серьезный спад. Экономическим развитием и нахождением у власти разных политических сил определяется динамика влияния социальной политики на гендерные отношения в обществе.

Первый этап, 1989–1993 гг., включает начало реформирования, осуществляемое представителями партий либерального направления, вышедшими из Солидарности.

Второй, 1994–1997 гг., этап – этап положительной динамики экономического развития, продолжения институциональных реформ, правление левого блока, возглавляемого Союзом демократических левых сил (SLD).

Третий этап, 1998–2001 гг., – завершение реформ, проводимое правоцентристским блоком Выборной акции Солидарности и Союза Свободы (AWS-UW).

Первый этап трансформации, связанный с деятельностью либерального правительства (правительств Т. Мазовецкого и К. Белецкого; после выборов 1991 г. – Я. Ольшевского, В. Павляка, Х. Сухоцкой), был призван решать процессы срочной экономической трансформации, демонтажа планово-распределительной экономики, что подрывало существовавшую базу социального обеспечения. Социальная система, включенная в госбюджет в качестве одного из механизмов распределения, не могла сохраняться в новых условиях, когда функции государства менялись. Однако в первые годы реформ социальная система не реформировалась. Социальная система не считалась приоритетом реформ в начале 1990-х гг. Так, Лешек Бальцеревич в своей книге о трансформации даже не рассматривает вопросы о социальной защите²⁰.

Экономический смысл реформы сводился к монетаристским схемам подавления спроса через ограничение денежной массы, установление высокой ставки рефинансирования и сокращение бюджетного дефицита. Сокращение совокупного спроса, необходимое при стабилизации, достигалось как сокращением расходов бюджета, так и ценовой политикой. Влияние этой политики на гендерные отношения в сфере занятости было самым прямым. В гендерных отношениях такая практика привела к уменьшению сбережений домохозяйств, они минимизировали свое потребление рыночных благ, а беднейшие практически сводили его к нулю. Удовлетворение существующих нужд достигалось через производство благ в домашнем хозяйстве, в частной сфере. Нагрузка при этом ложится в основном на женщин, поскольку возрастала нагрузка на воспроизводственную деятельность: обслуживание членов семьи и поддержание домохозяйства.

На этом этапе реформы в отношении женского труда действовала парадоксальная для развитого рынка, но естественная для трансформации ситуация, а именно неэффективность использования труда женщин, ограничение его сферой домашнего труда. Гендерная специфика государственной политики в области занятости исчерпывалась заботой о биологическом воспроизводстве и адресовалась, таким образом, женщинам. Отсутствовали концепции, отражающие гендерную специфику положения работника с целью обеспечения ему равных возможностей, будь то мужчина или женщина. Специфика положения женщин на рынке труда заключалась в охране ее репродуктивных возможностей, а не профессионального продвижения. Протекционная направленность социальных гарантий Трудового кодекса очевидна, когда он регулирует положение работающих женщин при рождении ребенка. Защита беременных женщин является составной частью государственной социальной политики. Кодекс гарантировал беременным и воспитывающим маленьких детей женщинам дополнительные права. Кроме того, с 1989 по 1993 г. было принято три законодательных акта, касающихся отпусков по воспитанию детей²¹, дополнивших старый Трудовой кодекс. Беременная женщина и женщина, находящаяся в декретном отпуске, пользовались защитой трудового законодательства: их нельзя было уволить, пока не истечет контракт, а также необходимо было согласие профсоюза на увольнение²². Беременная женщина, с одной стороны, не должна была работать сверхурочно или в ночные смены, ее нельзя переводить на другую работу без ее согласия, с другой стороны, работодатель должен был перевести ее на другую работу, если ее обычные обязанности могли нанести ущерб ее здоровью или если она предоставляла медицинское свидетельство, что ей требуется смена условий труда²³. При рождении ребенка женщине гарантировался оплачиваемый материнский отпуск (*urlor macierzyński*): 16 недель в случае первых родов, 18 недель в случае вторых родов и 26 недель в случае каждых последующих²⁴. Женщины, усыновлявшие детей, также имели указанные права: 14 недель при усыновлении, после постановления суда, или до достижения ребенком возраста 4 месяцев²⁵. Режим работы кормящих матерей регламентировался таким образом, чтобы

дать возможность осуществлять вскармливание: гарантировались два перерыва по 30 минут на кормление в течение рабочего дня, включенных в рабочее время²⁶. Во время материнских отпусков женщина имела право на специальную, практически символическую, выплату, осуществлявшуюся из декретного фонда, учрежденного правительством²⁷. Выплата заработной платы сохранялась в размере 100% от ежемесячной официальной зарплаты, а послеродовые выплаты 15%²⁸. Указанные права касались только женщин, это был материнский отпуск в связи с родами. Что касается последующего неоплачиваемого отпуска по воспитанию ребенка (*urlor wuchowawczy*) в течение трех лет, больничных в связи с болезнью ребенка, то эти обязанности-привилегии также возлагались на женщин. Отцам до 1995 г. не гарантировались ни оплачиваемые больничные по уходу за больным ребенком, ни – до 1996 г. – отпуска для воспитания ребенка в течение трех лет.

Между тем ситуация на рынке труда складывалась не в пользу женщин. Появился гендерный разрыв в уровне безработных. Хотя женщины в среднем были лучше профессионально образованы, их сокращали в первую очередь, а брали на работу – в последнюю²⁹. Женская безработица была выше мужской примерно на 2,5–2,8%³⁰ вследствие более низкой конкуренции на рынке труда, связанной с деторождением. Причем целенаправленное сокращение женщин накладывалось на бытовавшие в обществе идеи возрождения традиционной модели семьи как возвращение к польским традициям, избавление от социалистического прошлого. Уже на первом этапе сложились такие особенности гендерной безработицы, как более долгосрочная женская безработица, более продолжительный и сложный поиск работы для женщин. Если после первого тяжелого кризиса конца 1989–1990 гг. у мужчин количество длительно не работающих стало сокращаться, то среди женщин оно росло: долговременная безработица среди безработных мужчин составляла в 1992 г. 40,6%, среди женщин – 49,2%; в 1993 – 39,6% и 49,6% соответственно³¹. Государство не имело опыта борьбы с безработицей, тем более не имело опыта борьбы с долговременной безработицей и с гендерно структурированной. Решение проблемы неправильного распределения рабочей силы в его гендерном аспекте, в условиях безработицы, оказалось логически связано с традиционными моделями гендерных отношений. Традиционная модель семьи и, соответственно, гендерных отношений оставалась легитимным выходом из положения для женщин, при этом оправдывая и какую-либо поддержку именно для них как для гендерной группы.

Позиция государства, по оценке женских организаций, заключалась в таком отношении к самой «женской занятости, которое защищает женские репродуктивные функции, способствует объединению профессиональной деятельности с материнством и обязанностями по дому. Ни законы, ни социальная политика не предполагали согласования профессиональных обязанностей мужчин с семейными обязательствами. На практике, у женщин было два места работы: на работе и дома»³². Основа государственной гендерной политики в области социального воспроизводства, семьи заключалась в структурных изменениях социальной политики. До на-

чала рыночных реформ социальная политика, влияющая на гендерные отношения в области социального воспроизводства, осуществлялась через государственные предприятия. В период народной Польши в качестве субъекта, оказывавшего социальную поддержку, выступало государственное предприятие, теперь его функции становятся экономическими, социальный компонент из них уходит. По данным А. Ковальской, в период 1989–1994 гг. количество яслей сократилось на 59%, количество детских садов на 25%³³. Социальные обязательства государства в области гендерных отношений претерпевали серьезные изменения. К ним относится сокращение сферы бесплатных услуг, влияющих на распределение функций социального воспроизводства в семьях: затруднился доступ к бесплатным медицинским и воспитательным услугам. Возникла необходимость решать вопрос о компенсации времени и усилий, необходимых для воспитания детей. В такой ситуации вопросы обеспечения поддержки в сфере социального воспроизводства, от которых отказывалось государство, должны были лечь на семью. При сохранении государственных социальных выплат, связанных с материнством, безработицей, пенсиями, их реальные размеры резко упали и не имели серьезного значения как материальная поддержка. Семья фактически становилась субъектом, обеспечивающим социальную поддержку индивиду³⁴, что составляло обращение к традиционалистским моделям гендерных отношений и ценностям. Активность женщин на рынке труда совмещалась с расширением деятельности по воспитанию и заботе. При снижении реальных доходов семья, по меньшей мере с двумя кормильцами, становилась более эффективной, чем теоретический неолиберальный рыночный индивид.

Такая политика приводила к двум последствиям. Во-первых, формировалась гендерная диспропорция в структуре рынка, не в пользу женщин, усугублявшаяся тем, что не имелось ни старых, ни новоприобретенных механизмов ликвидации дискриминации при приеме на работу. Уровень заработной платы женщин в данных условиях был ниже, чем у мужчин, несмотря на более высокую образованность женщин: даже в 2001 г. при равном образовании женщины получали более низкие зарплаты, и только при высшем образовании уровень зарплаты женщин превышал средний по стране, тогда как у мужчин он был ниже лишь в случае начального образования. Во-вторых, не достигались цели и задачи собственно этой политики, так как неофициально предприниматели и сами женщины-сотрудники вынуждены были идти на нарушение законодательства, особенно в сфере частного предпринимательства, поскольку того требовали условия рынка с его конкуренцией. Так что в результате специфические интересы женщин как участников социально-экономической жизни не соблюдались ни в их профессиональном, ни в их репродуктивном смысле.

Конечно, государство не снимало в себя всех обязательств в социальной сфере. Социалистическая политика оказания поддержки матерям в рамках контракта работающей матери в новых условиях не могла сохраняться как часть распределительной политики и не имела смысла как политика контроля трудового ресурса.

В этих условиях закон об абортах 1993 г. послужил показателем изменения гендерной системы, став результатом продолжительного и последовательного изменения ситуации в течение рассматриваемого периода. Закон запрещал аборт, за исключением (не позже срока 12 недель) случаев угрозы жизни матери, патологических повреждений плода, беременности вследствие насилия. Социальные обстоятельства не вошли в список исключений, а закон, следствия которого имеют прямые социальные последствия, рассматривался как защита морально-этических норм. Если во всех направлениях социальной гендерной политики изменения протекали незаметно, то запрет абортов наглядно характеризовал отход от сохранения контракта работающей матери как элемента социалистической системы. Начиналось осуществление просемейной политики, исходившей из традиционных семейных ценностей и предполагавшей поэтому выполнение женщинами практически всего комплекса деятельности по социальному воспроизводству.

С 1993 г. в Польше осуществляется Национальная программа развития пренатального здравоохранения. Программа была направлена на сохранение репродуктивного потенциала: ее целью было сокращение заболеваний и смертности матерей и новорожденных. Вся проблематика такой политики вращается вокруг пренатального, перинатального и послеродового периодов. Гендерная составляющая в данном случае была направлена на женщин постольку, поскольку она является инструментом социального воспроизводства, и за ней закреплялись такие функции. Практически игнорировался круг вопросов, связанных с дальнейшим воспитанием детей, положением матерей на рынке труда, с сохранением их социального статуса, при том что уровень жизни семей с детьми в целом ниже: так, в 1993 г. из семей за чертой бедности того года было 3,5% семей без детей, 16,4% одиноких матерей, 6,1% с одним ребенком, 11,7% – с двумя, 22,9% – с тремя, 42,6% – с четырьмя детьми³⁵.

Итак, на первом этапе социальная защита ограничивала профессиональные возможности женщин (которые приоритетны для индивида в условиях рынка) в связи с рождением детей. Ситуация совпадения начала реформ с высоким уровнем безработицы и возросшим значением домашнего труда в обеспечении необходимого спроса, реализации концепции гендерного разделения сфер жизнедеятельности усугубляла положение. При том, что гендерная политика сводилась к защите репродуктивных функций, игнорировался вопрос дискриминации при найме на работу – ключевой момент в обеспечении экономических возможностей индивида³⁶. Сложно причислить эту политику к этатистской политике социалистического периода, однако в ней содержится мало изменившееся со времен социализма инструментальное использование женщин как репродуктивного ресурса и традиционалистские представления о гендерных отношениях. Также не находил отражение прямо связанный с реформированием процесс, заключавшийся в том, что экономическая зависимость индивида от государства снижалась, а зависимость от рынка росла и должна была набирать темпы, в связи с чем политика не могла сохранять соответствие целям социального государства без коррекции в направлении

гарантий равенства на рынке. С другой стороны, политика определенно не могла считаться либеральной, поскольку предлагала чересчур большие льготы (отпуска, режим работы) для матерей, что противоречит жесткому «гендерно-нейтральному» отношению к работнику в либеральной экономической теории. Политика в области занятости скорее отражала отсутствие отличного от социалистического опыта (и представления о его необходимости) гендерной политики и неразвитость рынка, чем планомерную концепцию гендерной политики. Ее эволюция определялась складыванием рынка. Государство единственным аспектом гендерной политики видело репродукцию, особенно как биологическую репродукцию, и почти не компенсировало социальную репродукцию. Функции социального обеспечения брала на себя семья, а в семье женщина. Экономические процессы, протекающие в стране, привели к тому, что политика государства в области рыночных отношений вела к гендерному дисбалансу в доступе к ресурсам. Таким образом, на первом этапе политика правительства в сфере трудового законодательства явно носила традиционалистский характер по своим последствиям, но вместе с тем была ситуативной по обстоятельствам осуществления. Тем не менее именно она определяла основания гендерной стратификации в новых рыночных условиях.

Время нахождения у власти блока левых сил во главе с SLD (правительства В. Павляка, Ю. Олексы, В. Чимошевича) было временем закрепления рыночных изменений, их коррекции. Стабилизировалось финансовое положение, продолжалась рыночная трансформация экономики, приватизация. В середине 1990-х гг. в Польше наметились тенденции выхода из кризиса, что особенно важно для сферы социального воспроизводства, так как это вызвало рост уровня потребления. Продолжалась институционализация рынка, которая в перспективе должна была привести к изменению гендерной ситуации, к коррекции «переходной» гендерной традиционалистской модели социальной политики. В целом при положительной динамике развития все ощутимей обозначало себя несоответствие социальной системы, оставшейся в наследство от планово-распределительной экономики, рыночным условиям. Практически это означало, что с экономическим ростом и ослаблением политики ограничения потребительского спроса удовлетворение некоторых базовых потребностей становится более дешевым за счет рынка (в выражении денежных, временных или даже психологических ресурсов), т.е. более престижно покупать, а не производить дома. Таким образом, семья сокращала свои функции социальной защиты³⁷. Положительные тенденции в экономике могли способствовать расширению возможностей женщин в производственной деятельности, в частности и за счет изменения разделения труда в семье. Но даже повышение доходов женщин не обязательно может приводить к усвоению эгалитарной модели семейных отношений. Кроме того, повышение уровня жизни в целом было не настолько значительным, чтобы привести к распространению эгалитарной модели семьи без помощи государства. Так, особенности занятости целой группы – сельского населения предполагали существование традиционного разделения труда. Несмотря на

среднее улучшение уровня жизни населения, бедность в Польше сохранялась. Хотя сокращалось число людей, живущих на физиологический минимум³⁸, общая бедность росла в период с 1989 по середину 1990-х гг. с 7 до 10%. Происходило это за счет увеличения зоны бедности, определяемой социальным минимумом³⁹.

В этих условиях социальная политика государства могла бы оказать большое влияние на гендерные отношения. Возможные варианты заключаются в альтернативе между переходным, условно традиционалистским, направлением и политикой равенства возможностей мужчин и женщин.

Что касается непосредственно социальной политики правительства, то с Левицей были связаны некоторые надежды на ее корректировку. На теоретическом уровне левые стояли за смягчение жестких неолиберальных постулатов, за необходимость ограниченного влияния государства на экономику и стимулирующее воздействие социальной дифференциации на экономическое развитие⁴⁰. Основанием служил принцип, ставший одним из основных положений Поствашингтонского консенсуса, определяющего экономическое развитие в мире: «Если пренебречь институциональными мероприятиями и сбиться на спонтанные действия, давая свободу либеральному рынку, неофициальная институционализация заполнит системный вакуум»⁴¹. Практически это означало сохранение влияния государства на формирование социально ориентированной рыночной экономики. Следует отметить, что к концу периода происходит переоценка вопросов социальных затрат МВФ и ВБ. В середине 1990-х (1997) позиции были скорректированы в связи с опытом латиноамериканских и восточноевропейских реформ, в том числе польских. Одним из положений, в частности, была переориентация государственных расходов к умело направленным социальным расходам⁴². Если до этой переоценки считалось, что рост социальной дифференциации может положительно сказаться на экономическом развитии, то после нее, исходя из реальной ситуации в странах с переходной экономикой, оказалось, что «за определенными пределами поляризация доходов не только не стимулирует экономический рост, но и начинает препятствовать ему»⁴³.

Однако, хотя вопросы о высокой социальной цене реформ ставились именно Левицей, смена правительства в существующих условиях создания и укрепления рыночной экономики не могла кардинально изменить ситуацию в области социальной политики. Представитель левого крыла реформаторов Гжегож Колодко⁴⁴, продолжавший реформы на посту вице-премьера (1994–1997), разработал стратегию развития Польши, исходящую из необходимости провести институциональные рыночные изменения, прежде чем завершить переход к новому обществу осуществлением социальной реформы. Поэтому на данном этапе левые не инициировали проведение социальной реформы, основанной на рынке и представляющей его интересы, т.е. использование индивидуального потенциала действующих на рынке индивидов вне зависимости от пола является одним из самых главных. Широкая социальная политика оказывается невозможной, осталось лишь, по возмож-

ности, смягчать жесткую линию – снижать налогообложение малоимущих, уменьшать безработицу, увеличивать субсидии для семей с низкими доходами. Что касается мер социальной политики, направленных на женщин, то здесь в качестве основной сохраняется тенденция предшествующего этапа. В сфере занятости в целом продолжается протекционистская политика, однако проявляются некоторые тенденции к ее изменению. В сентябре 1996 г. Совет Министров принимает список профессиональных сфер, в которых запрещена женская занятость. До этого действовало ограничение 1979 г., распространявшееся на 90 профессий в 20 видах деятельности (включая, например, вождение автобуса). Новое распоряжение Совета Министров⁴⁵, расширившее список доступных для женщин профессий, выделяло профессии, запрещенные для всех женщин, и профессии, запрещенные для беременных и кормящих женщин, на основании норм физических нагрузок с учетом климатических условий, определявшихся в распоряжении. Цель этого распоряжения заключалась в защите здоровья женщин. Небольшое изменение в протекционистский характер гендерной политики в сфере занятости внесло получение с 1996 г.⁴⁶ мужчинами возможности брать отпуск по уходу за детьми до трех лет. Однако это не произвело практически никакого изменения в гендерной дифференциации на рынке труда, поскольку мужчины крайне редко брали и берут подобные отпуска⁴⁷. Показательно, тем не менее, что подвижки в сторону равенства начались именно с воспитательных отпусков.

С дальнейшим развитием рынка продолжали существовать и закреплялись такие практики, как предпочтительный найм мужчин, которые воспринимаются как менее затратные работники. При найме женщин интересуются их матримониальными планами, планами на будущее в отношении детей, вынуждают проходить гинекологический осмотр⁴⁸. Распространилась практика увольнения женщин, бравших отпуск по воспитанию ребенка, вскоре после возвращения из отпуска⁴⁹. Возрастная структура участия в экономической деятельности показывает, что наиболее активный возраст у мужчин совпадает с возрастом относительно низкой активности женщин, поскольку в этот период (между 24–34 годами) женщины рожают и воспитывают детей младшего возраста, поэтому их участие в публичной сфере ограничено⁵⁰. Такие практики противоречили законам, распоряжениям Министерства здравоохранения, но отсутствие механизмов, позволяющих отслеживать дискриминацию и бороться с ней, не позволяет считать государственную гендерную политику эффективной в соблюдении гарантированных Конституцией норм равенства. В апреле 1997 г. была принята новая Конституция Республики Польша. Основной Закон заявляет о принципах социального государства⁵¹. Новая Конституция закрепляла отсутствие дискриминации и равные права полов на труд и оплату, повышение по службе, занятие должностей⁵², свободу выбора места работы и профессии⁵³. Однако положения Конституции в отношении трудовых прав практически продолжали сохраняться в старых формулировках, не признавая реальное неравенство экономических возможностей полов⁵⁴. По Конституции, госу-

дарство брало на себя социальные обязательства в случаях нетрудоспособности гражданина, безработицы (ст. 67), для обеспечения доступа к работе, в том числе и за счет подготовки и переподготовки кадров (ст. 65).

В основах социального законодательства государство предоставляет помощь гражданам в ситуации нетрудоспособности и исходя из интересов семьи. Во-первых, социальное обеспечение касается граждан, являющихся инвалидами, находящихся на пенсии, а также граждан, «оставшихся без работы не по собственной воле и не имеющих иных средств на содержание»⁵⁵. Размеры пособий были небольшими и не включали, например, всех затрат по уходу за инвалидами или зависимыми членами семей. Во-вторых, государство в своей социальной и экономической политике учитывало интересы семьи: «п. 1. Государство в своей социальной и экономической политике учитывает благо семьи. Семьи, находящиеся в трудном материальном и социальном положении, особенно многодетные и неполные, имеют право на особую помощь со стороны публичных властей. п. 2. Мать до и после рождения ребенка имеет право на особую помощь публичных властей, объем которой определяется законом»⁵⁶. Гендерная специфика этого положения исходила из государственной поддержки, адресованной малоимущим семьям с детьми, соответственно «гендерные» социальные права, предусматривавшие благо семьи, определялись через категории материнства в довольно традиционном толковании деятельности, связанной с воспитанием детей, да и самой семьи. Особая помощь властей исчерпывалась социальными выплатами, не учитывавшими временные и квалификационные потери женщины-работника. Социальная политика в этой сфере сохраняла особенность переходной политики: государственная политика продолжала оставаться ситуативной политикой борьбы с низким социальным положением женщин-матерей путем предоставления государственной поддержки за счет пособий. Пособия в связи с материнством предоставлялись и по факту рождения ребенка, и на основании уровня совокупного семейного дохода⁵⁷. Так, некоторые женщины получили право на денежное пособие по уходу за ребенком, которое выплачивалось в течение двух лет. В 1996 г. женщины, воспитывающие ребенка до 4 лет, получили право на пособия для себя и для членов своих семей⁵⁸. Особая помощь предоставляется государством как дополнительная к тем средствам, которые получает женщина в виде сохраненной заработной платы, которую должен выплачивать работодатель. Лицо, получившее отпуск по уходу за ребенком, имело право на государственное пособие, если отпуск не короче 3 месяцев, если доход на человека в семье ниже 25% такого же дохода в среднем за предшествующий календарный год⁵⁹. Эти пособия финансируются государством через Фонд социального страхования, кроме того, работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, сохранял право на медицинское обслуживание. До марта 1995 г. только мать (отец – в исключительных случаях) имела право на пособие в связи с материнством или болезнью ребенка до 14 лет. В 1995 г. отец также получил это право⁶⁰. Гарантируются также пособия по уходу за ребенком до 8 лет в случае перерыва в работе дошколь-

ного заведения или школы. Пособие рассчитывается на 70 дней за год, но оно не предоставляется, если в семье есть лицо, способное сидеть с ребенком или имеется финансовая возможность нанять няню.

Размеры социальных пособий росли, что позволяло им превышать рост расходов на социальный минимум, и они выполняли свою функцию поддержки малоимущих семей. В целом, однако, этот рост не способствовал улучшению социального положения лиц, связанных с социальным воспроизводством, т.е. женщин. Все больше затруднялся доступ к бесплатным медицинским услугам и услугам воспитания детей дошкольного возраста. Семейные пособия, которые лишь отчасти компенсировали социальные потери женщинам, занимающимся вскармливанием и воспитанием детей и уходом за больными, несмотря на их увеличение, не являлись эффективным средством борьбы с гендерно-маркированной бедностью, обеспечения относительной экономической самостоятельности. Пособия не могли разрешить ситуацию, в которой репродуктивные функции женщин приводили к более низким социальным позициям: снижению дохода и социальных возможностей или к зависимости в рамках семьи от более высокого дохода мужчины.

Ситуация продолжала складываться таким образом, что даже более высокий уровень образования женщин не мог полностью исправить ситуацию. В структуре безработицы, при общем ее снижении, сохраняется прежняя тенденция превышения уровня женской безработицы над мужской, на которую не повлияло даже успешное развитие экономики в этот период⁶¹. Разница между мужским и женским уровнем безработицы составила в среднем за период 3,3%⁶², при этом долговременная безработица чаще угрожала женщинам. Структура занятости сохраняла тенденцию к преобладанию женщин в низкооплачиваемых отраслях, на невысоких должностях, их доходы в среднем были на 20% ниже доходов мужчин.

Тем не менее в этот период в связи с заявкой Польши на вступление в ЕС и с Пекинской конференцией наметилась новая тенденция в социальной политике, связанная с принципами гендерного равенства. В апреле 1994 г. Польша подала заявку на вступление в ЕС, что означало в перспективе приведение своего социального законодательства в соответствие с нормами ЕС, среди которых присутствует принцип гендерного равенства. Однако на первых порах осуществлялась в основном экономическая интеграция. Копенгагенские критерии, которые Польша подписала, по мнению исследователей⁶³, не содержали строгих требований к социальной политике государств-кандидатов. Впрочем, отсутствие здесь жестких рамок предполагало то, что сначала страны-кандидаты должны добиться успешных преобразований в демократическом процессе и рыночных реформах⁶⁴. Подразумевалось, что успешное экономическое развитие на основе рыночной экономики и демократии в политике само создаст необходимый уровень социальной защиты. На первых этапах интеграции, при еще не завершенном переходе к рынку, в середине 1990-х гг. «гендерное равенство практически игнорировалось во время переговоров о вступлении в ЕС»⁶⁵. Здесь необходимо отметить, что в самом ЕС к середине

1990-х произошел пересмотр концепции социальной политики. Он заключался в том, что акцент в социальной политике смещался с перераспределения государственной помощи на развитие и оптимизацию сферы занятости, инвестирование в человеческий фактор⁶⁶. «Равенство возможностей мужчин и женщин» вошло в число приоритетных в социальной политике Евросоюза в 1990-е гг. как подготовка рабочей силы нового типа, соответствующей потребностям современного производства, создание условий для гармонизации профессиональной и семейной жизни мужчин и женщин, расширение и гарантии социальных и гражданских прав, доступ к культуре и созданию условий для всестороннего развития и реализации возможностей каждого, независимо от принадлежности к той или иной социальной группе⁶⁷. Данная концепция вполне отвечала рыночным принципам и заботилась о продвижении тех женщин, которые способны конкурировать с мужчинами. И, хотя сначала влияние ЕС на гендерную составляющую польской социальной политики не замечалось, ЕС, несомненно, начинало его оказывать, и содержание и объемы этой политики должны были определяться исходя из потребностей развивающегося рынка, что в перспективе требовало серьезного изменения концепции защиты репродуктивных прав.

Пекинская конференция сама по себе имела большое значение, поскольку на ней были изменены концептуальные основы отношения к гендерным вопросам в политике. Программной целью в соответствии с Платформой действий, подписанной на конференции в том числе и Польшей, было достижение гендерного равенства путем реструктуризации гендерных отношений, которая бы расширила для женщин доступ к ресурсам. В работе Пекинской конференции, составлении рапорта о положении женщин в Польше участвовали женские неправительственные организации. Уполномоченная по делам семьи И. Банач, депутат сейма от SLD, после Пекинской конференции руководила выработкой (совместно с женскими НПО) Национального плана действий для Польши (утвержден 29 апреля 1997 г.) согласно постановлениям конференции, утверждающим равные возможности для мужчин и женщин и предлагающим меры по таким направлениям, как расширение политического участия женщин, преодоление дискриминации на рынке труда, развитие социальных мер для расширения возможностей профессиональной деятельности женщин, меры в областях образования, здравоохранения, продвижение принципов равенства женщин и мужчин в СМИ.

Несмотря на то что Национальный план был одобрен, правительство не ассигновало дополнительных средств на его осуществление, а в дальнейшем реализация его была сорвана. После выборов 1997 г. победившие правоцентристы практически заморозили осуществление плана. Но, хотя на этом этапе правительство левых не изменило основной концепции социальной политики в отношении гендерной проблематики, однако обозначилась потенциальная готовность к ее изменению, обращению к политике гендерного равенства.

История антиабортного законодательства в тот же период демонстрирует попытки изменений. В 1996 г., после выборов и смены правящей коалиции, были разрешены аборт по социальным обстоятельствам; в 1997 г., после решения Конституционного трибунала о несоответствии закона положениям Конституции, снова запрещены⁶⁸. Так что следует отметить, что в области социальной политики церковь скорее способствует усилению традиционной гендерной модели, сдерживая социальную мобильность женщин. В данном случае социальные права женщин имеют отличие от прав мужчин на практике, хотя основной закон, конечно, и говорит об их равенстве в этой области: «женщина и мужчина в Республике Польша имеют равные права в семейной, политической, социальной и экономической жизни» (ст. 32 п. 1).

Так или иначе, несмотря на декларируемое равенство, даже развитие процессов системной трансформации не изменило ситуацию в стратегическом плане. Законодательство регулировало трудовое поведение женщин исходя из репродуктивной, а не из их рыночной ценности. Рынок в Польше на этом этапе не находился на той стадии, которая позволила изменять гендерные отношения настолько радикально, чтобы изменять приоритеты политики.

Можно сказать, что в целом тенденция предшествующего периода продолжала реализовываться. А именно: к гендерной политике в области занятости подходили исключительно с протекционистских позиций, что является наследием социалистического периода. Тем не менее происходит дальнейшее формирование новой гендерной структуры общества, при которой государственная политика неэффективна в формально заявленном соблюдении равенства прав полов и в обеспечении женщинам возможностей совмещать профессиональную деятельность с репродуктивной. Углубляются противоречия между социальной политикой и развивающимися рыночными условиями. Одновременно обозначается перспектива представления интересов женщин через женские НПО. Гендерные проблемы в сфере занятости сначала должны были сформироваться, чтобы возникла необходимость их решать. Равным же образом сначала должен был сформироваться тот уровень рыночных отношений, при котором возникла бы потребность в социальной политике, руководствующейся концепцией равных возможностей и эффективного использования профессионального человеческого ресурса вне зависимости от гендерного статуса. В период правления левых, период положительных тенденций в экономике, наблюдаются перспективы такой эволюции гендерной политики. Результатом сохранения такой политики была, с одной стороны, большая нагрузка на бюджет, с другой – сравнительно низкий реальный уровень государственной социальной помощи. К концу данного периода обозначились негативные экономические тенденции, справиться с которыми предстояло следующим, правым правительствам.

Для третьего периода, связанного с правлением коалиции партий Избирательная акция «Солидарность» – Союз свободы (AWS-UW; правительство Е. Бузека),

целью которого было уже не остановка прогрессирующего спада, а стремление к сбалансированности экономики, развивающейся по законам рынка, основной была социальная составляющая. «Только когда новый экономический порядок более-менее установлен, страны Центральной Европы перешли ко второй фазе – реформирование социального государства»⁶⁹. На этом этапе страна завершала реформирование в областях, ранее не затронутых или слабо трансформированных, кроме того, на реформы повлияла интеграция Польши в ЕС.

Экономическая конъюнктура требовала сокращения бюджетного дефицита, т.е. проведения политики ограничения внутреннего спроса, и, значит, некоторого снижения уровня жизни населения. Впрочем, удалось добиться лишь снижения темпов роста индивидуального потребления: в 1999 г. рост составлял 5,4%, в 2000 г. – 2,4%.

Завершая преобразования, социальные реформы должны были сократить социальные траты государственного бюджета. В 1998 г. была опубликована «Финансовая стратегия развития государства», где заявлялось о проведении финансовой, пенсионной, образовательной реформ и реформы здравоохранения, завершающих децентрализацию социальной сферы. Административно-территориальная реформа началась в 1998 г. и привела к тому, что центральный бюджет снимал с себя часть социальных и других расходов, теперь до 60% средств перераспределялись через местные бюджеты.

Правительственный отчет о положении польских семей подчеркивал, что для улучшения положения женщин приоритетными должны быть борьба с безработицей и переподготовка женщин⁷⁰. Однако реализация этой рекомендации не состоялась. Была предпринята попытка разработать (июнь 1998) и провести (в 1999 г.) закон о равном статусе, поддерживающий специальные меры защиты против дискриминации в сфере занятости, но парламент не утвердил его⁷¹. Не последовало мер по развитию институциональных механизмов по соблюдению имеющихся гарантий гендерного равенства. За этот период значительно увеличилась безработица, вызванная экономическим кризисом. Причем разрыв между мужской и женской безработицей только вырос по сравнению с началом 1990-х гг. В 1998 г. безработица составила 9,3% для мужчин и 12,2% для женщин, а в 2000 г. уже 14,2% для мужчин и 18,1% для женщин⁷². Причем скачок уровня безработицы пришелся на 1999 г. (13% безработных мужчин и 18,1% – женщин), когда гендерный разрыв в процентном соотношении был максимальным – 5,1%. То есть экономический кризис начался для рынка труда с потери работы женщинами.

В этих условиях социальная политика обрела ярко выраженную просемейную направленность (*polityka prorodzinna*), что сформулировано в «Программе просемейной политики AWS», в основу которой были положены традиционные взгляды католической церкви. Она была направлена на укрепление семьи как универсальной ячейки общества, строилась на традиционных ценностях, поддержке антиабортного закона, выведении сексуального образования из школ, цензурировании СМИ, предоставлении пособий и налоговых льгот семьям с детьми, осо-

бенно многодетным⁷³. В ноябре 1997 г. служба уполномоченного по делам семьи и женщин преобразовалась в службу уполномоченного по делам семьи. На должность уполномоченного был назначен Казимеж Капера, представитель консервативного Христианско-национального союза, чьи взгляды на гендерные отношения соответствовали церковным представлениям о сущности и функциях мужчин и женщин. К 1999 г. были приостановлены все программы по выдвижению женщин и защите их прав во всех сферах, Национальный план действия, реализация международных соглашений по гендерным вопросам. В связи с этим Еврокомиссия поставила вопрос о недостаточной подготовленности к вступлению в ЕС Польши из-за социальных проблем. Требования ЕС относительно равенства возможностей включали защиту беременных и кормящих матерей на рынке труда, предоставления им гарантированного отпуска. В области трудовых отношений в 1999 г. сейм принял изменения по предоставлению женщинам отпусков по уходу за детьми и декретных отпусков⁷⁴. Материнский отпуск был продлен до 6 месяцев (с 4,5). Горячие споры вызвало первоначальное положение об обязательности предоставления женщинам этого отпуска. В результате сенат принял компромиссное решение: предоставить право выбора женщине брать или не брать дополнительные недели отпуска⁷⁵.

В ноябре 1999 г. правительство предложило на рассмотрение сейму просемейный налоговый законопроект. Он заключается в том, что налоговые льготы получают семьи с двумя и больше детьми и низким доходом⁷⁶. Хотя закон облегчает положение таких семей, он не решает для них проблему положительной вертикальной социальной мобильности. И женщина, как основной агент репродукции, в таком случае обретает все основания для закрепления своего положения в первую очередь как матери и под большим вопросом как конкурентоспособного специалиста.

Социальная реформа, прошедшая на этом этапе, определила модель социальной политики страны как наиболее близкую консервативно-корпоративской⁷⁷, что соответствует переходной модели семьи, которая отличается функциями патриархатного контроля, выполняемыми в семье, преимущественными правами женщин как матерей, жен, но также признание их интересов как наемных работников⁷⁸. Особенность принятой модели связана с тем, что ее выбор представлял собой не самостоятельную продолжительную эволюцию, как в исходных странах, а, в частности, находился под влиянием такой наднациональной структуры, как Всемирный банк. Кроме того, эта система являлась компромиссным результатом попыток сохранения системы социальной защиты в новых условиях⁷⁹. Вместе с тем модель, установившаяся в Польше, сохраняла за государством значительную роль в социальной поддержке, особенно это касается пенсионной системы⁸⁰. Устранялось прямое государственное финансирование социальных услуг⁸¹. Услуги здравоохранения предоставлялись через медицинское страхование. Финансирование здравоохранения осуществлялось на местном уровне, где «финансовая ситуация складывается более благоприятно, чем на центральном»⁸². Пенсионная реформа, осуще-

стившаяся в конце 1998 – начале 1999 г., вызвала критику со стороны женских НПО. По оценкам Центра прав женщин, положения новой системы противоречат статьям Конституции, гарантирующим равенство полов на рынке труда и в социальном обеспечении⁸³. Основанием для таких утверждений явилось то, что накопительная структура пенсии делает сумму пенсии зависимой от стажа работы, что уже принципиально приводит к более низкому уровню пенсий для женщин⁸⁴, поскольку не учитываются особенности женского стажа (снижение уровня профессиональной активности в возрасте 24–34 лет в связи с репродукцией), а планка пенсионного возраста для женщин на 5 лет ниже (60 лет), чем для мужчин (65 лет). В пенсионном законодательстве отсутствовали механизмы, компенсирующие гендерный дисбаланс расчета пенсий. Такой подход вполне соответствовал общей политике правых, поскольку отталкивался от представлений о том, что основная занятость женщины связана с домашним хозяйством⁸⁵. Кроме того, он в результате являлся одним из механизмов использования семейного ресурса и экономии социальных расходов.

Вместе с тем на этом этапе усилилось внимание ЕС к адаптации польского социального законодательства к законодательству Союза. Требования относительно гарантированного обеспечения в случае нетрудоспособности (в том числе по причине материнства), обязательного предоставления медицинских услуг, казалось бы, были излишни в случае с бывшими социалистическими странами, поскольку все они были заявлены и гарантировались законодательством. Различен, тем не менее, подход и понимание этих социальных норм: в Польше это была «*polityka prorodzinna*». Социальная политика, проводимая правительством правоцентристской коалиции, закрепляла низкие позиции женщин в гендерной структуре, что пыталась компенсировать с помощью социальной адресной поддержки малоимущим семьям, из необходимости осуществления которой она исходила в своих социальных представлениях. В Европе политика равных возможностей мужчин и женщин определяла основные вопросы, которые касались оплачиваемого труда и положения женщин на рынке труда: равенство в оплате труда, равный подход в отношении занятости, защита беременных и кормящих матерей, отпуск по уходу за ребенком⁸⁶. Поэтому излишне продолжительные отпуска женщин, связанные с деторождением, не могли положительно оцениваться с европейской точки зрения. Однако конкретизированных и жестких рекомендаций и требований в пункте равноправия мужчин и женщин не предъявлялось, каждой стране-члену и кандидату ЕС предоставляется свобода выбора собственной политики как в указанном направлении, так и в других, важно соблюдение равных возможностей как основополагающей цели такой политики⁸⁷. В 2000 г. в своем регулярном отчете Европейская комиссия подчеркнула, что «в вопросе равного отношения к мужчинам и женщинам, несмотря на объективные критерии принятия *acquis*, за прошедший период в Польше не наблюдалось никакого прогресса, и, более того, вопрос о равном отношении к мужчинам и женщинам продолжает требовать к себе самого присталь-

ного внимания»⁸⁸. Коалиция правых, находившаяся у власти, проявляла упорство, рассматривая в качестве гендерной политики, скорее, меры по защите семьи и материнства⁸⁹. Однако давление наднациональных организаций и женских НПО способствует развитию тенденций предшествующего периода обращения к концепции равенства возможностей мужчин и женщин. Под давлением ЕС незадолго до выборов в сентябре 2001 г. удалось внести поправки в законодательство, защищающие равные возможности полов в сфере занятости. Подход к гендерному равенству, предлагаемый ЕС, на практике предполагал ту модель гендерных отношений, которая соответствует эффективному рыночному развитию, рассчитана на оценку человека/женщины как рыночного индивидуума. То есть позиции ЕС характеризуются приоритетом эффективности экономического развития, что не обязательно исключает элементы традиционализма из гендерной стратификации. По мнению экспертов, не столько сам процесс вступления, но членство Польши в ЕС дает женщинам больше инструментов для борьбы за свои экономические и социальные права через взаимодействия на наднациональном уровне⁹⁰. Такая возможность связана с деятельностью женских организаций и касается тех женщин, которые заинтересованы в продвижении концепции равных возможностей, имеют такую установку и потребность, соответствующее сознание, тех, кто часто сталкивается с ограничением своих возможностей по гендерному признаку и осознает это. Чаще всего это женщины-профессионалки, для которых гендерное равенство необходимо для собственного продвижения.

Структура женской занятости в целом сохраняла особенности всего изучаемого периода. Женская занятость концентрировалась в сфере услуг, в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, много женщин работало в традиционной сфере неоплачиваемого домашнего труда; женщины после 35 лет сталкивались с большими трудностями в найме на работу, особенно по специальности⁹¹. Гендерный фактор (пол и, для женщины, семейное положение, наличие и возраст детей, ее матримониальные планы) являлся часто решающим при найме и оказывал негативный эффект на возможность устроиться для женщин из-за недостатка детских учреждений, которые бы освободили рабочее время женщины⁹². Изменения оплаты медицинских услуг, рост стоимости услуг присмотра за детьми затрудняли доступ к ним. Так, сумма оплаты детского сада составляла на рубеже 1990–2000-х гг. 30–45% от средней зарплаты женщины с университетским дипломом. Услуги няни также были доступны только ограниченному количеству семей. Вместе с тем существовала тенденция роста числа женщин с высшим образованием на рынке труда, поскольку только такой механизм для женщин способствовал превышению уровня заработной платы на среднем⁹³. По уровню образования женщины в целом опережали мужчин. Несмотря на структурные особенности женской занятости, все же можно говорить о формировании слоя женщин, которые могли позволить себе воспитательные услуги на основании своей профессиональной деятельности. Некоторая часть женщин с высшим образованием и способностью приобретать

платные услуги в деятельности по социальному воспроизводству, несомненно, принадлежала к числу неработающих жен мужей с высокими доходами. Но на формирование группы женщин-профессионалов указывало растущее число гражданских браков, разводов, постепенное смещение пика рождаемости для городских женщин на более поздний возраст (с 20–24 лет до 1990 г. на 26–30 лет в течение всего периода)⁹⁴. При этом имеются данные, показывающие, что просемейная политика в отношении планирования рождаемости вступала в противоречие с потребностями общества, например, рост использования контрацепции⁹⁵. Просемейная политика на этом этапе уже противоречила социально-экономической реальности.

Дальнейшая социальная политика указывала на перспективы постепенного перехода к концепции равных возможностей мужчин и женщин. Внешними условиями в данном случае выступала интеграция и адаптация к ЕС, причем значимыми факторами являются не только требования к социальной политике, но и миграция польской рабочей силы внутри ЕС. Внутренне такие перспективы были обусловлены общими социально-экономическими потребностями успешного развития, которые находили выражение в растущей активности женских НПО, их сотрудничестве с левоцентристскими силами. В динамике эволюции социальной политики нельзя сбрасывать со счетов позиции политических партий в отношении гендерных вопросов. При выбранной модели социальной политики возможен широкий спектр действий в рамках «переходной модели»⁹⁶ гендерных отношений. Реальная степень воплощения политики равенства возможностей в жизнь зависит от состава правительства и сейма. Так, после выборов 2001 г., когда к власти опять пришла Левица, социальная политика была направлена на установление гендерного равенства: утвержден уполномоченный по равному статусу мужчин и женщин при Совете Министров с отдельным бюджетом, новый Национальный план действий⁹⁷, который отражал рекомендации ЕС по проблеме гендерного равенства в Польше, направленные на поддержку женщин на рынке труда, на достижение равных возможностей, оказание социальной помощи государства через обеспечение доступности услуг, освобождающих рабочее время женщины.

Общие тенденции развития социальной политики с точки зрения ее влияния на гендерную стратификацию заключались в некотором противоречии интересам современного развитого рынка с концептуальной точки зрения. Политика носила скорее ситуативный характер, решая имеющиеся проблемы имеющимися в наличии средствами, в том числе исходя из имеющихся социальных представлений. Социальная политика играла не последнюю роль в формировании такой гендерной структуры, в которой представители разных полов обладают неравными возможностями доступа к властным и экономическим ресурсам. На первом этапе трансформации, включающем два рассмотренных периода, происходила стихийная социальная трансформация, представляющая в сфере гендерных отношений шаг к традиционалистской модели. Возможная коррекция данного варианта изменения гендерной стратификации, когда было достигнуто более стабильное положение в

экономике, не произошла, хотя нельзя говорить о классическом традиционализме как универсальном принципе гендерной структуры. На третьем этапе страна жила уже в рыночных условиях, следовательно, были сформированы в целом те условия, которые привели в странах с развитой рыночной экономикой к изменению гендерных отношений. Развивающийся рынок создает условие для того, чтобы вопрос о гендерном равенстве начал входить в политическую и социальную повестку дня, в частности формированием потребности в использовании человеческого фактора вне зависимости от его места в гендерной стратификации. Интеграция с ЕС, активизация деятельности женских НПО определяют перспективы изменения концепций социальной политики. Однако перспективы развития гендерного равенства ограничены этими же факторами: потребностями рынка, ориентацией на экономическую эффективность ЕС. Корпоративно-элитарный тип социальной политики также не предполагает полного приближения к гендерному равенству. В таких условиях важным фактором должна будет стать позиция правительства, т.е. политических партий.

Примечания

- ¹ Einhorn B. Cinderella Goes to Market. London, 1993; Watson P. The Rise of Masculinism in Eastern Europe // *New Left Review*. 1993. N198. P.71–82; Gal S. and Kligman G. (eds). *Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism*. Princeton: 2000.
- ² Marody M., Giza-Poleszczuk A. Changing Images of Identity in Poland: from the self-sacrificing to the self-investing woman? // *Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life*. ed. Susan Gal and Gail Kligman. Princeton, 2000. P. 155–161.
- ³ Titkow A. Status evolution of Polish Women: The Paradox and Chances // *The Transformation of Europe: Social Conditions and Consequences* / Ed. Matti Alestalo et al. Warsaw, 1995. P. 316–338.
- ⁴ Разработан в исследованиях Е. Здравомысловой, А. Темкиной, А. Rotkirch и др. (Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // *О муже(N)ственности*. Сб. ст. / Сост. С. Ушакин, 2002. С. 332–351; Здравомыслова Е., Темкина А. Советский этатистический гендерный порядок // *Социальная история-2002. Специальный выпуск, посвященный гендерной истории* / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева М.: РОССПЭН, 2002; Rotkirch A., Temkina A. Soviet Gender Contracts and Their Shifts in Contemporary Russia // *Idantutkimus*. 1997. N4. P. 6–24).
- ⁵ Marody M., Giza-Poleszczuk A. Changing Images of Identity in Poland: from the self-sacrificing to the self-investing woman? // *Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life*. ed. Susan Gal and Gail Kligman. Princeton, 2000. P. 155.
- ⁶ Marody M., Giza-Poleszczuk A. Changing Images of Identity in Poland: from the self-sacrificing to the self-investing woman? // *Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life* / Ed. Susan Gal and Gail Kligman. Princeton, 2000. P. 155.
- ⁷ До 1989 г. государство обеспечивало бесплатность медицинских услуг для населения. Частная медицинская практика была официально разрешена, но доступна не всем, а тем, кто имел связи и возможности платить. *Women of the World: Laws*

- and Policies Affecting Their Reproductive Lives. East Central Europe. New York, 2000. P. 105.
- ⁸ Wagener Hans-Jurgen. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka. London, 2002. P. 155.
- ⁹ Asping-Andersen. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press, 1990. (Буссмейкер Дж. Гражданство, типология государств всеобщего благосостояния и материальное обеспечение семьи: истоки и опыт осуществления политики равенства полов // Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. М., 2000. с. 256.) Wagener Hans-Jurgen. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka. London, 2002. P. 159.
- ¹⁰ Выявление данной типологии в отношении европейских стран содержится в работе Lewis & Ostner «Gender and the Evolution of European Social Policies» (ZeS-Arbeitspapier. 1994 № 4. Bremen). Слабой модели (Скандинавские страны) соответствует высокая доля женщин, занятых полный рабочий день, индивидуальная система налогообложения и соцобеспечения, развитая сеть дошкольных учреждений, возможность беспрепятственного получения родительского отпуска. Переходная модель (Франция) отличается функциями патриархатного контроля, выполняемыми семьей, преимущественными правами женщин как матерей, жен, но также и наемных работников. Сильная модель – неполная занятость женщин, неразвитость системы государственных детских дошкольных учреждений, разграничение зон ответственности государства и семьи, контроль за соблюдением патриархатных норм выполняется институтами публичной сферы (по: Буссмейкер Дж. Гражданство, типология государств всеобщего благосостояния и материальное обеспечение семьи: истоки и опыт осуществления политики равенства полов // Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. М., 2000. С. 262–264).
- ¹¹ Гал С., Клингмен Г. Формы государств, формы «семьи» // Семейные узы: модели для сборки / Под ред. И.С. Кона. М., 2003. С. 233.
- ¹² Журженко Т. Анализ положения женщин в переходной экономике: в поисках феминистской эпистемологии. www.owl.ru/library/040t.htm. 10/04/05.
- ¹³ Здесь приводится формулировка и группировка по работе: Говорова Н. Бедность в европейских странах с переходной экономикой. <http://www.ieras.ru/journal/journal2.2001/14.htm> 12/04/06
- ¹⁴ Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. Т. 3. Ч. 2. С.197.
- ¹⁵ В работах Дайан Элсон, Ингрид Палмер (Elson D. Male Bias in the Development Process. Manchester University Press, 1991; Palmer I. Social and Gender Issues in Macroeconomic Policy Advice // Social Policies series. Eschborn, 1994. N 13) и др. (Мезенцева Е. Гендер в программах социально-экономического развития // Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза мировой практики. М., 2002. С. 38–39).
- ¹⁶ Либеральные реформаторы находились под влиянием политики и риторики М. Тэтчер об ограничении социальных функций государства (Hans-Jurgen Wagener. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka. London, 2002. P. 159).
- ¹⁷ В последующий период перехода к рыночным демократическим системам, определяемый исследователями как консолидация, и должна происходить коррекция соци-

- альной трансформации за счет усиления и развития институтов гражданского общества и расширения политического участия. Attila Agh. *The Politics of Central Europe*. London, 1998. P. 16–17.
- ¹⁸ Hans-Jurgen Wagener. *The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka*. London, 2002. P. 156.
- ¹⁹ Attila Agh. *The Politics of Central Europe*. London, 1998. P. 17.
- ²⁰ Balcerovicz L. *Socialism, Capitalism, Transformation*. Budapest, 1995.
- ²¹ Dz.U. 1990 nr 54 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych. Dz.U. 1990 nr 76 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych. Dz.U. 1992 nr 41 poz. 179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
- ²² Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141), ст. 177. Также случай, при котором беременная женщина может быть уволена, – банкротство или прекращение деятельности работодателя.
- ²³ Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141), ст. 178 (1), 179 (1,2).
- ²⁴ Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141) ст. 180. Это положение оставалось в силе до 2000 г. Отпуск начинается за две недели до родов (ст.180/5).
- ²⁵ Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141), ст 182, 183 (1).
- ²⁶ Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141), ст 187 (1). (Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. *Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre*. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03).
- ²⁷ Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141), ст 184.
- ²⁸ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. *Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre*. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ²⁹ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. *Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre*. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ³⁰ Уровень женской безработицы превышал мужской примерно на 3% (в диапазоне 12-16%) в первой половине 1990-х гг. Report on the MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS. Poland. Warsaw, 2002. Published by UN Representative in Poland. // <http://www.un.org.pl> 12/05/06. P. 42. табл. 3.1.
- ³¹ Report on the MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS. Poland. Warsaw, 2002. Published by UN Representative in Poland. // <http://www.un.org.pl> 12/05/06. p.46. Source: Bezrobocie rejestrowane w 1994 r. (Registered unemployment in 1994), GUS (CSO), Warsaw 1995; Bezrobocie rejestrowane w 2000 r. (Registered unemployment in 2000) GUS (CSO), Warsaw 2001.
- ³² Women on the Labor Market/ The Women's Rights Center / <http://free.ngo.pl/temida/jo-report.htm> 20/06/03.

- ³³ Kowalska A. Aktywność ekonomiczna kobiet I ich pozycja na rynku pracy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1996. S. 56.
- ³⁴ Эти функции семьи в кризисный период прекрасно иллюстрирует количество разводов: с 42,4 тыс. в 1990 г. оно сокращалось и достигло в 1993 г. 27,9 тыс. – минимального числа за всю трансформацию. По данным Głównego Urzędu Statystycznego.
- ³⁵ Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 2003.
- ³⁶ Women on the Labor Market/ The Women's Rights Center. / <http://free.ngo.pl/temida/jobreport.htm> 20/06/03.
- ³⁷ На что указывает растущее количество разводов по сравнению с прошлым периодом. По данным Głównego Urzędu Statystycznego, в 1994 г. количество разводов возрастает с 27,9 тыс. (1993) до 31,6 тыс., в 1997 – 42,6 тыс. (на 0,2 тыс. выше уровня 1990 г.).
- ³⁸ В 1994 – 6,4%, в 1996 – 4,3%, в 1997 – 5,4% (там же).
- ³⁹ Душевой социальный минимум, обеспечивающий удовлетворение базовых потребностей человека.
- ⁴⁰ Гжегож Колодко настаивал на сохранении за государством на данном этапе значительной роли в экономике. Колодко Гж. Десять лет постсоциалистического перехода: уроки политических реформ // Чиновник. 2000. № 2. <http://www.rusref.nm.ru/indexzop.htm>// 23.10.2004.
- ⁴¹ Колодко Гж. Десять лет постсоциалистического перехода: уроки политических реформ // Чиновник. 2000. №2. <http://www.rusref.nm.ru/indexzop.htm>// 23.10.2004.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ Гринберг Р. Экономическая политика: стратегия и тактика // Критика отечественных реформ отечественными и зарубежными экономистами // <http://rusref.nm.ru/indexhoor.htm> 23.10.04.
- ⁴⁴ С 1994 по 1997 г. – первый заместитель премьер-министра и министр финансов в Польше, в 1998 г. – старший визит-ученый в отделе экономической политики Всемирного банка.
- ⁴⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz.U. 1996 No 114. pos.545.
- ⁴⁶ Kodeks Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. No 24. pos.141), ст 186, 189. Все права работника при получении этого отпуска остаются защищены: его нельзя уволить или пересмотреть его контракт до истечения срока отпуска. Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ⁴⁷ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ⁴⁸ Ibidem.
- ⁴⁹ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ⁵⁰ Fuszara M. New gender relations in Poland in the 1990s. // *Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life*. Eds. Gal S. & Kligman G. Princeton, 2000. P. 266–267.
- ⁵¹ «Республика Польша есть демократическое правовое государство, осуществляющее принципы социальной справедливости». The Constitution of the Republic of Poland

- 1997, ст.2. <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm> 01.09.04 «социальное рыночное хозяйство, основанное на свободной хозяйственной деятельности, частной собственности, а также солидарности, диалоге и сотрудничестве социальных партнеров, является основой экономического устройства республики Польша». Там же. С. 20.
- ⁵² The Constitution of the Republic of Poland, ст. 32,33. <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm> 01.09.04
- ⁵³ The Constitution of the Republic of Poland, ст. 65. <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm> 01.09.04
- ⁵⁴ Так, в самих статьях Конституции не указаны способы реализации этих прав или ссылки на них.
- ⁵⁵ The Constitution of the Republic of Poland, ст. 67. <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm> 01.09.04
- ⁵⁶ The Constitution of the Republic of Poland, ст. 71. <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm> 01.09.04
- ⁵⁷ Dz.U. 1993 nr 97 poz. 441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
- ⁵⁸ Dz.U. 1996 nr 123 poz. 577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
- ⁵⁹ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market. // Polish Women in the 90's. The Report by Women's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ⁶⁰ Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
- ⁶¹ «As the experience of the years 1994–1996 has shown, economic growth alone (and the fall in unemployment) does not diminish differences in the unemployment rates of men and women. The legal measures and actions taken so far are insufficient». Report on the MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS. Poland. Warsaw. 2002. Published by UN Representative in Poland. // <http://www.un.org.pl> 12/05/06. p.14.
- ⁶² Report on the MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS. Poland. Warsaw. 2002. Published by UN Representative in Poland. // <http://www.un.org.pl> 12/05/06. P. 42. табл. 3.1.
- ⁶³ Копенгагенские условия, определяющие вопросы достижения уровня развития, необходимого для членства в ЕС, по мнению Вагенера, недостаточно уделяют внимания социальной защите. Н.-J. Wagener. The Welfare State in Transition Economics and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation. Ed. By Peter Mair and Jan Zielonka. London, Frank Cass Publishers, 2002. P. 153; Рейналда Б. Формирование позиции международных организаций по вопросам равноправия // Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. М., 2000. С. 276–296.

- ⁶⁴ Wagener H.-J. The Welfare State in Transition Economics and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka. London, Frank Cass Publishers. 2002. P. 153.
- ⁶⁵ Gender equality and EU accession: the situation in Poland. By Kinga Lohman and Anita Seibert. // KARAT Koalition. 2003. <http://www.eurosur.org/wide> 20.10.04.
- ⁶⁶ Положения новой социальной политики закреплены в Зеленой книге «Европейская социальная политика: размышления для Союза» (1993 г.), Белой книге «Европейская социальная политика: путь для Союза» (1994 г.). Каргалова М.В. Роль социального измерения в процессе европейской интеграции. <http://www.edc.spb.ru/activities/conferences/40years/kargalova.html> 13/08/06.
- ⁶⁷ Głębicka K. Polityka socjalna w Unii Europejskiej // Studia Europejskie. 1997. N4. Il. 45-60; Швейцер В.Я. Контуры социальной Европы // Современная Европа. 2000. № 2. <http://www.ieras.ru/journal/journal2.2000/11.htm> 12/12/05.
- ⁶⁸ Women of the World: Laws and Politics Affecting Their Reproductive Lives. East Central Europe. N.Y. 2000. P. 109. Статьи 1 (Республика Польша является демократическим государством, управляется на основе закона и действия принципов социальной справедливости) и 76 (Брак, материнство и семья находятся под защитой и опекой Польской Республики), также нарушение конституционных гарантий защиты жизни человека на любом этапе развития.
- ⁶⁹ Hans-Jurgen Wagener. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU // The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka. London, 2002. P. 171.
- ⁷⁰ Raport o sytuacji polskich rodzin – przyjęty przez Radę Ministrów dnia 21 lipca 1998 r. / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Warszawa 1998.
- ⁷¹ Joint Program of the Network Women's Program and the Open Society Foundation Romania. Budapest, Open Society Institute, 2002. P. 359.
- ⁷² Report on the MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS. Poland. Warsaw, 2002. Published by UN Representative in Poland // <http://www.un.org.pl> 12/05/06. p.42. табл. 3.1.
- ⁷³ Urszula Nowakowska. The Position of Women in the Family // Polish Women in the 90's. The Report by Wjmen's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.). P.66-67. Umowa koalicyjna AWS-UW. // Rzeczpospolita. 12.11.97. Nr.263.
- ⁷⁴ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Women's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ⁷⁵ Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Women's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- ⁷⁶ Women of the World: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives. East Central Europe. New York, 2000. P. 107.
- ⁷⁷ Wagener Hans-Jurgen. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU / The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation. Ed. By Peter Mair and Jan Zielonka. London. 2002. P. 160
- ⁷⁸ Буссмейкер Дж. Гражданство, типология государств всеобщего благосостояния и материальное обеспечение семьи: истоки и опыт осуществления политики равенства полов // Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. М., 2000. С. 262–4.

- 79 Wagener Hans-Jurgen. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU / The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation. Ed. By Peter Mair and Jan Zielonka. London, 2002. P. 162-163.
- 80 Wagener Hans-Jurgen. The Welfare State in Transition Economies and Accession to the EU / The Enlarged European Union: Diversity and Adaptation / Ed. by Peter Mair and Jan Zielonka. London, 2002. P. 171.
- 81 Women of the World: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives. East Central Europe. New York, 2000. P. 104.
- 82 Центральнo-Восточная Европа во второй половине XX века. Т. 3. Ч. 2. М., 2002. С. 190.
- 83 Urszula Nowakowska, Anna Swkdrowska. Women in the Labour Market // Polish Women in the 90's. The Report by Women's Rights Centre. Warsaw, 2000. <http://temida.free.ngo.pl/rapcont.htm> 20/07/03.
- 84 По расчетам, представленным Центром прав женщин, разница в пенсионном возрасте приводит к существенной разнице в пенсии: пенсия женщины будет составлять 61,8% от пенсии мужчины (Women on the Labor Market/ The Women's Rights Center. / <http://free.ngo.pl/temida/jobreport.htm> 20/06/03).
- 85 По данным Центра изучения общественного мнения, на момент осуществления реформ 56% респондентов считают вполне уместным для женщин более ранний возраст выхода на пенсию, оправдывая это необходимостью для женщины исполнять роль матери, бабушки, жены. 30% полагают, что это дискриминация.
- 86 Эти вопросы вошли в число приоритетных моментов социальной политики ЕС. Głabicka K. Polityka socjalna w Unii Europejskiej // Studia Europejskie. 1997. N4. S. 52.
- 87 Ibidem.
- 88 European Commission . 2000. 1.2 Human rights and the protection of minorities. Economical and cultural rights. (Country reports: Poland // Joint Program of the Network Women's Program and the Open Society Foundation Romania. Budapest: Open Society Institute, 2002. P. 367.)
- 89 Нежелание Польши принять закон ЕС по равному отношению к мужчинам и женщинам было причиной того, что в 2001 г. чуть не сорвалось заключение соглашений с Польшей в сфере социальной политики (Rzeczpospolita, 11 april, 2001).
- 90 Рейналда Б. Формирование позиции международных организаций по вопросам равноправия // Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. М., 2000. С. 276–296.
- 91 Women of the World: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives. East Central Europe. New York, 2000. P. 114.
- 92 Wplyw procesu prywatyzacji na polozenie kobiet: Kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji. Raport z badan. Centrum Praw Kobiet. Warszawa, 2000.
- 93 Как указывают данные, приведенные в Kinga Lohmann and Anita Seibert, Gender equality and EU accession: The situation in Poland. Karat Coalition, Poland 2003. <http://www.eurosur.org/wide> 12/05/06.
- 94 Report on the MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS. Poland, Warsaw, 2002. Published by UN Representative in Poland. <http://www.un.org.pl> 12/05/06.
- 95 Women of the World: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives. East Central Europe. New York, 2000. P. 108.

- ⁹⁶ Буссмейкер Дж. Гражданство, типология государств всеобщего благосостояния и материальное обеспечение семьи: истоки и опыт осуществления политики равенства полов // Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы. М., 2000. С. 262–4.
- ⁹⁷ Krajowy Program Działan na rzecz Kobiet (luty 2003) (drugi etap wdrożeniowy na lata 2003–2005), by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mezczyzn, Warszawa, February, 2003.

БЕЛАРУСЬ: ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Современная Беларусь часто ассоциируется с русскоязычным пространством, более того, с единственной бывшей колонией России, в которой русский язык не вытесняется родным. Однако это мнение справедливо лишь отчасти и не отражает всей специфики языковой ситуации в стране.

Действительно, хотя русский язык является одним из двух государственных языков Республики Беларусь (вместе с белоруским¹), но, по существу, именно он доминирует как язык коммуникации. По данным переписи 1999 г., 73,7% населения назвали родным языком белорусский, 24,1% – русский, 2,2% – другой. А вот дома на белорусском, получилось, говорят 36,7% населения, причем «домашним» белорусский язык является для 19,8% городского населения. Хотя в реальной жизни совсем другая картина. Объяснения таким цифрам нашли такие: во-первых, многие белорусским языком назвали «трасянку», во-вторых, люди «подняли» белорусский язык из чувства национального самолюбия и стыда за его статус в стране. А вот данные национального соцпроса от Независимого института социально-экономических и политических исследований в ноябре 2004 г.: по-беларуски дома говорят 20,8% жителей нашей страны. За то, чтобы одним государственным языком был белорусский, выступают 16,8% населения, русский – 7,1%, за двуязычие – 71,8%. Вместе с тем за этим формальным доминированием скрываются весьма сложные и неоднозначные процессы функционирования и взаимоотношения белорусского и русского языков.

Беларуский язык в Беларуси

Первый вопрос, который обычно возникает в отношении белорусского языка, – это его престижность/непрестижность как для носителей других языков, что сталкиваются с *беларускамоўнай* средой, так и для носителей собственно белорусского языка. В оценке этой ситуации прежде всего следует учитывать, что белорусский язык долгое время был только языком деревни – среды, в которую меньше всего проникали колониальные практики власти, насаждавшей свои языки. Однако последние десятилетия в корне изменили ситуацию – белорусский язык исчезает из деревень естественным образом (здесь свою роль сыграли как средства массовой информации, по преимуществу русскоязычные, так и вымирание самих деревень). Вместе с тем национальные элиты, как правило, владеют и пользуются белорусским языком как в публичной коммуникации, так и дома. При этом они обычно свободно пользуются русским языком, в большинстве своем понимают польский и украинский, а также владеют (в разной мере) одним или несколькими западноевропейскими языками. Это свидетельствует о том, что в своем большинстве носители белорусского языка представляют высокообразованную часть общества и тем самым реально обеспечивают этому языку статус престижного. Поэтому основные интеллектуальные события в современной Беларуси проходят с активным участием белорусского языка и порой даже с его доминированием.

Безусловно, ситуацию усложняет тот факт, что официальные власти не приветствуют использование белорусского языка, считая его «недоразвитым», к тому же на него цепляются ярлыки «оппозиционного», тем самым создавая у обывателей представление о нем как о языке, который обслуживает потребности только «оппозиционных маргиналов».

Очевидно, что зафиксированное в Конституции равноправие языков не подерживается на официальном уровне и это создает определенные проблемы. Вместе с тем неформально белорусский язык функционирует, и довольно активно. Однако при этом его функционирование усложняется внутренней оппозицией двух основных вариантов белорусского языка – «тарашкевіцы»² и «наркамаўкі»³. Стоит отметить, что большей популярностью среди носителей белорусского языка пользуется вариант «тарашкевіцы», или классический вариант, который провозглашает более радикально дистанцироваться от русского языка и тем самым заявить о своей (в том числе и политической) позиции. Но отсутствие государственного института, который бы сформулировал правила «тарашкевіцы» и в дальнейшем транслировал бы их через систему образования, приводит к тому, что у многих его носителей формируется чуть ли не собственный вариант этого языка. Другими словами, в ситуации отсутствия единого легитимного кодификатора языка по многим параметрам отсутствует представление об ошибках, и в результате к сознательному или несознательному языкотворчеству присоединяются все носители языка. Понятно, что в процессе кодифицирования языка узус играет важную роль, но только в том случае,

когда все носители языка получают одинаковую информацию об этом языке через общую для всех систему образования, книги, газеты и т.п. (тогда систематические отклонения от нормы должны учитываться при очередной реформе языка). В ситуации с белорусским языком, как мне представляется, кодификация главным образом должна происходить на основе его системных исторических черт, а только после того, как эти нормы будут усвоены большинством носителей, можно обратить внимание на узус как на легитимный источник изменений. В противном случае мы рискуем получить множество вариантов языка под влиянием как диалектов, так соседних и мировых языков, которые привносят множество лингвистических заимствований, что, впрочем, является проблемой не только для белорусского языка.

Нужно отметить, что определенные усилия в создании единого свода правил «классического» варианта белорусского языка предпринимались, хоть и не государственными институтами, а самими носителями языка, среди которых немало выдающихся лингвистов. Изданная несколько лет назад коллективная работа, сделавшая попытку унифицировать «тарашкевіцу», является важным этапом в этом деле, но еще далеко не определяющим.

На «мультиязыковое сознание» носителей белорусского языка влияет также и наличие в истории языка латинки. Не являясь специалистом в этом вопросе, отмечу только, что сегодня существует определенный круг сторонников латинки, которые систематически используют ее на письме (понятно, это не касается письменных контактов с официальными учреждениями). Во всяком случае в белорусскоязычной среде сложно удивить кого-нибудь написанным латинкой текстом на белорусском языке. К тому же показательно, что отдельные независимые белорусские издания печатают иногда материалы латинкой (правда, в начале прошлого столетия и в начале 1990-х доля таких материалов была значительно большей). Делаются попытки исследовать и систематизировать «беларускую» латинку, чтобы придти к одному, унифицированному варианту.

Русский язык в Беларуси

Ситуация с русским языком и его употреблением в Беларуси кажется простой только при первом приближении к этой проблеме. Прежде всего, не стоит ставить знак равенства между русским языком Беларуси и русским языком России. Со стороны России ситуация системного искажения российского языка в Беларуси обычно оценивается через его недостаточно глубокое знание. Хотя вполне закономерно, что в результате языковой интерференции (фонетической, морфологической, лексической, а также синтаксической) белорусами употребляется модифицированный вариант русского языка.

В оценке этой ситуации прежде всего следует учитывать следующие моменты.

Во-первых, вряд ли будет правильно характеризовать Беларусь как «территорию ошибок» русского языка, которые необходимо исправить. Дело в том, что

все беларусы в общем одинаково обучаются русскому языку в школе, через средства массовой информации, книги и т.д., другими словами, процесс освоения русского языка беларуским обществом происходит достаточно равномерно и однородно. И что, может быть, наиболее важно, эти «ошибки» транслируются и закрепляются системой образования, хотя бы уже по той причине, что учителя русского языка в большинстве своем сами выросли в этой языковой среде. Во-вторых, именно коллективные, статистически значимые «ошибки» рано или поздно узакониваются через языковые реформы, которые проводят носители этого языка, чтобы обеспечить себя более удобной коммуникацией. Поэтому, наверное, более правомерно считать русский язык в его беларуской модификации не «территорией ошибок», а чем-то типологически близким к креольским языкам. С другой стороны, эту ситуацию можно сравнить и с вариантами английского языка в бывших колониях Великобритании – с **English-english** (ниже ситуация с английским языком будет прописана более подробно).

Конечно, несоответствия между русскими языками России и Беларуси пока не столь значимы, чтобы возникали систематические сложности при взаимопонимании, но их уже вполне достаточно, чтобы обозначить определенную тенденцию.

В связи с этим следует также помнить, что русский язык (как и любой другой) принадлежит не конкретной стране, а всем его носителям, которые могут и даже должны сами определять его дальнейшее развитие. Поэтому беларусы, в случае необходимости, имеют полное право влиять тем или иным образом на развитие того русского языка, который они используют.

Кстати, беларуские носители русского языка уже сегодня не всегда признают авторитет российского русского языка, сознательно устанавливают свои правила в нем и даже иногда пробуют навязывать эти правила «москвитам»⁴.

Беларусь как территория новых языковых практик

Как уже отмечалось выше, существуют две системы беларуского языка – «тарашкевіца» и «наркамаўка». Слова, относящиеся к парадигме «тарашкевіцы», будут даваться с верхним индексом **by-t**, к парадигме «наркамаўкі» – с верхним индексом **by-n**. В свою очередь, беларуский вариант русского языка далее будет обозначаться верхним индексом **ru-by**, соответственно, русский (московитский) вариант русского языка – верхним индексом **ru-ru**.

Еще в советских школах детей учили как нормативным следующим вариантам: 1) по-русски: русский^{ru-ru} (язык), Россия^{ru-ru}, Белоруссия^{ru-ru} (позже – Беларусь^{ru-ru}), белорус^{ru-ru}, белорусский^{ru-ru} (язык) (школьный вариант русского языка по этому параметру не отличался от варианта, принятого в России); 2) по-беларуски: руская^{by-n} (мова), Расія^{by-n}, Беларусь^{by-n}, беларус^{by-n}, беларуская^{by-n} (мова).

Беларуская мова ^{by-t} (классический вариант)	Беларуская мова ^{by-n} (нормативный вариант)	Русский язык ^{ru-by} (вариант русского языка в Беларуси) (=english???)	Русский язык ^{ru-ru}	English ⁵
<i>Беларусь</i>	<i>Беларусь</i>	<i>Беларусь</i>	<i>Белоруссия, Беларусь</i>	Belorussia – Belarus
<i>Беларус</i>	Беларус	Беларус	Белорус	Belarusan, Belarusian, Belorussian (о гражданах Республики Беларусь); Byelorussian (о гражданине Белорусской Советской Социалистической Республики)
<i>Беларуская</i> (мова)	<i>Беларуская</i> (мова)	<i>Белорусский – Беларусский – Беларуский</i>	<i>Белорусский</i>	Belarusan, Belarusian, Belarussian (о независимой Республике Беларусь); Byelorussian (о Белорусской Советской Социалистической Республике)
Расея	Расія	Россия	Россия	Russia
<i>Расейская</i> (мова)	<i>Руская</i> (мова)	<i>Русский, российский*</i> (по отношению к ru-ru), <i>русский*</i> (по отношению к ru-by)	<i>Русская</i>	Russian

* Два варианта, обозначенные звездочками, носят характер исключений, а не тенденций; кроме того, таким образом некоторые говорящие демонстрируют свое отношение к разным вариантам русского языка (беларуского и собственно русского/московитского) с тем, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть их разницу, а с другой стороны, «вернуть» на свою территорию прилагательное «руски», реконцептуализированное, освоенное и присвоенное русскими (москвитами) в XVIII в.

«Классический» вариант белорусского языка («тарашкевіца») использует (подобно польскому и украинскому языкам) слова *расейскі* (=руски^{by-n}), *расейцы* (руския^{by-n}) и, соответственно, прилагательное *расейскі/расейскае/расейская*^{by-t} мова (=руская^{by-n} мова). Это существенно, поскольку таким образом освобождается прилагательное «руски^{by-t}» для номинации государственного языка ВКЛ, что позво-

ляет избежать путаницы, когда одинаково называется (по-беларуски) *современный русский язык*^{ru-ru} и *руски*^{by-t, by-n} язык, который был языком ВКЛ. Иными словами, современный русский язык лишается той – не своей – истории, которую он себе присвоил, назвавшись *русским*^{ru-ru}. Но, с другой стороны, слова *расейскі*^{by-t}, *расейцы*^{by-t} находятся в одном словообразовательном ряду со словом *Расея*^{by-t}, что ошибочно переносит на другие (сегодняшние) колонии Расеі^{by-t} содержание, которое говорящий хотел бы соотносить исключительно с метрополией. (Кстати, такой возможности лишены также польский и украинский языки.) Однако этот вопрос более подробно рассмотрим ниже.

Беларуские носители русского языка иногда спорят с российскими (главным образом – московскими) о названии страны (*Беларусь*^{ru-by}), которую определенная часть (в том числе и молодого поколения, уже выросшего в Республике Беларусь) по старой привычке называют *Белоруссия*^{ru-ru}. Внимание привлекает уже сам факт инициативы беларусов объяснить Москве, как правильно «по-русски^{ru-ru}» должно звучать название страны⁶. К тому же названием страны эти споры обычно не ограничиваются.

В какой-то момент русскоязычные беларусы (имеются в виду именно те, кто идентифицирует себя с беларусами) решили, что использование названий «*Беларусь*^{ru-ru, ru-by}», «*белорус*^{ru-ru, ru-by}», «*белорусский*^{ru-ru, ru-by}» не корректно, и даже попробовали убедить в этом москвитов, которые, однако, убеждаться не спешили. Но сегодня среди беларусов наблюдается определенная тенденция к написанию по-русски «*беларус*^{ru-by}», «*беларусский*^{ru-by}» и даже с одним «с» – *беларуский*^{ru-by}, – выстраивая, таким образом, в русском языке суффиксы по аналогии с беларуским языком. Основным аргументом несогласных с этим написанием является то, что в русском языке нет соединительной гласной «а», а только «о»/«е», поэтому иногда даже предлагается в качестве ответной реакции пересмотр написания страны (*Беларусь*^{ru-ru}) с тем, чтобы писать по-русски его как *Белорусь*^{ru-ru}. В качестве контраргументов беларуские носители русского языка выдвигают вполне антиколониальный тезис о том, что русский язык в этом вопросе должен отталкиваться от беларуского, и вообще название нации (как и производные от него) не должно соотноситься с образованием от соединения слов «белая+Русь». Здесь акцент делается на то, что эта номинация (*Беларусь*) является целиком самостоятельным понятием (даже если когда-то это слово образовывалось именно через подобное соединение). То есть, кроме всего прочего, предложение ориентироваться не на русский язык, а в первую очередь на беларуский (хотя бы только в вопросах, связанных с названием «Беларусь») – это в определенном смысле попытка сделать беларуское точкой отсчета (если по-беларуски пишется «*Беларусь*^{by-n, by-t}», «*беларус*^{by-n, by-t}» и «*беларускі*^{by-n, by-t}», то и по-русски должно писаться точно так же – то есть предлагается обычная транслитерация беларуских слов на русский язык). И неважно даже, насколько удачны эти попытки убедить русских (москвитов) – для беларуской ситуации существенно уже само их наличие. Естественно, в ответ формулируется вполне логичная критика

со стороны носителей *русского* русского языка, мол вы же пишете «расейскі», а не «рускі» в своем языке. Чем, впрочем, только подчеркивается и укрепляется разница между двумя русскими языками – белорусским и собственно русским.

Думается, можно и нужно адаптировать как русский, так и белорусский языки не только к новым реалиям, но и к тем, которые раньше по разным причинам языком (языками) не замечались. Приведем пример подобной адаптации английского языка, описанный Эвой Томпсон⁷:

«Еще одним основанием для идеальной справедливости является концептуальный аппарат, созданный постколониальным дискурсом. Постколониальные критики сделали возможным создание корпуса академических текстов, концептуальные корни которых выходят за рамки нормативного английского языка. Они расширили границы английского языка, иногда почти насильственно, заставляя его принять концепты, которые были чужими для его фундаментальных структур. Этот процесс был, как известно, инициирован Жаком Деррида (Jacques Derrida); в своих сознательных попытках разрушить западную онтологию он обращался к таким стратегиям, как игнорирование слов, которые привычно употреблялись, несмотря даже на то, что их значение было “ненастоящим”. Постколониальные критики подобным образом изменяют семантику слов и фраз, а также английский синтаксис, активно пользуются неологизмами и каламбурами. <...>

Такие стратегии избираются сознательно, и постколониальные критики теоретизируют их. Автор работы “Имерия пишет ответ” (“The Empire Writes Back”, 1989) называет две положенные в основу стратегии, важные для адаптации английского языка к опыту и способу мышления, которые пришли из разных культурных традиций: первая – *отказ* и вторая – *освоение*. Отказ описывается как “откидывание категорий имперской культуры, ее эстетики, иллюзорного стандарта нормативного или “корректного” употребления и понимание существования традиционного дополнительного значения, “вписанного” в слова”⁸. В границах бывшей Британской империи этот постколониальный язык называется английским с малой буквы (english), в отличие от нормативного английского (queen’s English), которым пользовались бывшие колонизаторы. Это привело к синкретичному использованию языка с накладыванием синтаксических и грамматических правил одного языка, или языков, на другой. Некоторые критики полагают, что синкретический английский язык (“english”) появился благодаря склонности незападных авторов к метонимии, а не к метафоре, которая до этого являлась наиболее типичным западным тропом. “Тем, кто тропы текста прочитывает как метонимии, легче приспособиться к социальным, культурным и политическим силам, которые стоят за текстом”, – утверждает Билл Эшкрофт (Bill Ashcroft)⁹. Более того, переплетение языков, которое произошло в “english”, само по себе является метонимичным: в терминах Деррида это отличие (*différence*) между двумя культурными пространствами.

Проиллюстрируем теперь аналогичную проблему несоответствия/некорректности формы и содержания на некоторых словах в белорусском языке (в его «клас-

сическом» варианте). Возьмем для примера следующие словосочетания: *расейская літаратура (гісторыя, культура), расейскія літаратары (гісторыкі, культурныя дзеячы)*. Известно, что Российская Федерация позиционирует себя как поликультурное и полиэтничное государство. Поэтому, используя приведенные выше слова, мы имеем в виду как относящееся ко всему государству (всей Российской Федерации), так и относящееся только к ее метрополии (центру). А значит, в *расейскій гісторыі* исчезает *гісторыя якуцкая, чачэнская* и т.д. Это приводит к различным недоразумениям во многих конкретных ситуациях (и даже умышленным фальсификациям), особенно в тех случаях, когда разграничение относящегося только к метрополии и только к локальным историям империи является чрезвычайно важным для высказывания.

Для решения этой проблемы можно было бы предложить разнообразить лексику *расейскі/расейская/расейскае* в зависимости от тех компонентов, которые являются существенными для говорящего. Например, для отражения государственного компонента (который, конечно, относится ко всей Российской Федерации) можно и далее использовать слово *расейскі (расейская тэрыторыя = территория всей России, расейская культура = культура всей России)*. А для обозначения национально-этнического компонента следовало бы употреблять другое слово, например *маскоўскі* или *маскавіцкі* (когда-то эти слова и употреблялись в отношении Московского государства, которое, в общем-то, и по сей день является метрополией Российской Федерации) – таким образом, получаем *маскавіцкую гісторыю, культуру, літаратуру* (историю, культуру, литературу метрополии Российской Федерации).

Отметим, что описанная выше проблема характерна не только для белорусского, но и для польского, украинского, а также и для самого русского языка, который пока что также «не научился» отличать различные по своему содержанию *русские^{ru-ru, ru-by?}* сущности. Естественно, что подобная путаница идет на пользу только имперскому дискурсу, заинтересованному сегодня в собственном возобновлении и дальнейшем манипулировании значениями. Мы же, постепенно реформируя свои языки (беларуский и белорусский вариант русского языка), привносим ясность в формулировки и тем самым содействуем более корректному и адекватному выражению своих мыслей.

Літаратура

- Бабкоў І. Каралеўства Беларусь. Вытлумачэньні ру[і]наў. Менск, 2005.
Ashcroft B. et al. The Empire Writes Back. London: Routledge, 1989.
Bhabha H. DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
Thompson E. Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism. Greenwood Press, 2000.
Withlock G., Tiffin H. eds. Re-Siting Queen's English: Text and Tradition in Post-Colonial Literature. Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1992.

Примечания

- ¹ Здесь и далее – в транскрипции автора (*прим. ред.*).
- ² Вариант языка до реформы 1933 г., когда советские власти провели реформу белорусского языка, которая в значительной мере приблизила его к русскому языку. Используется большинством активных носителей белорусского языка.
- ³ Реформированный и русифицированный в советское время белорусский язык, признанный сегодня белорусскими властями в качестве нормативного; преподается в школах, университетах, используется в официальных изданиях и документах.
- ⁴ Здесь мы основываемся в первую очередь на материалах дискуссий, что разворачиваются в Интернете на разнообразных форумах и блогах, где определенные тенденции «задают» сами носители языка. Обращение к интернет-материалам не снижает ценности нашего анализа, тем более что в официальном пространстве Беларуси выяснять подобные вопросы чересчур сложно, если вообще возможно. К тому же в блогах и на форумах во множестве представлены те белорусы, которые сегодня определяют главные направления развития независимого белорусского общества. Таким образом, выборка подобных тем в байнете достаточно репрезентативна.
- ⁵ Примеры взяты из электронного словаря АБВУУ Lingvo 10. О переводах на английский язык слов *русский*^{ru-ru}, *российский*^{ru-ru} и пр. подробно написала в своей книге Эва Томпсон (Thompson E. *Imerial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*. S. 16–18).
- ⁶ Ситуация усложняется тем, что в современном литературном русском языке, который для белорусского общества преимущественно репрезентируется через СМИ, используется как *Белоруссия*^{ru-ru}, так и *Беларусь*^{ru-ru} (Республика Беларусь^{ru-ru}).
- ⁷ Thompson E. *Imerial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*. P. 37–38.
- ⁸ Ashcroft B. et al. *The Empire Writes Back*. P. 38–39 (цит. по: Thompson E. *Imerial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*).
- ⁹ *Ibid.* 52. (цит. по: Thompson E. *Imerial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*).

КАНВА (БЕЛОРУССКОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ¹

В данной статье я хотел бы ограничиться проблемой смысловых, интеллектуальных «просекций» институциональных отношений, возникающих на сцене экспертной деятельности. Другими словами, я ничего не скажу по поводу других, не менее важных аспектов этих отношений – идеологических, политических, экономических и т.д. – или же затрону их лишь в той степени, в которой они связаны с институтами, т.е. функционирующими в поле экспертизы «правилами игры» – формальными и неформальными ограничениями (социальными нормами и правилами поведения). Мы рассмотрим идею, согласно которой определенный набор правил профессиональной деятельности и взаимодействия способствует структурированию концептов, идей и проблем в головах у исследователей в сменяющиеся моменты времени $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$.

1. Экспертная деятельность и ее условия

Говоря не о научной, но об «экспертной» деятельности (или «экспертизе»), я тем самым намереваюсь сосредоточить внимание на «продуктивной» компоненте науки – в отличие от «репродуктивной», – отталкиваясь от исторического разграничения четырех типов ученого: исследователь, эксперт, учитель, администратор (но не следуя этому разграничению жестко). Разумеется, в реальной жизни перечисленные типы чаще всего предстают как смешанные. Если ипостаси ученого, привязанного к функциям обучения или управления научно-образовательным процессом, все еще сохраняют определенные наследственные черты, то разграничительную линию между исследованием и экспертным анализом (в собственном смысле)

провести довольно затруднительно, поэтому «исследование» и «экспертиза» используются сегодня преимущественно как синонимы. В самом деле: для того, чтобы ОБСЕ или ООН вынесло очередную резолюцию по Беларуси, требуется заключение экспертов, которое, в свою очередь, базируется на результатах исследований, нередко осуществленных на фундаментальном уровне (предполагающем выявление симптоматики, предположим, «соревновательного авторитаризма»). Особая роль науки в современном обществе, определяющая адекватные практические решения и легитимирующая их, определяет и место экспертов в этом обществе, где без последних, что называется, ни шагу нельзя ступить. Сегодня практически ни одно значимое решение в области политики, экономики и социальной жизни не принимается без предварительной экспертизы. Вместе с тем мы являемся свидетелями «размывания» специфических черт экспертизы (классическим вариантом которой является юридическая экспертиза) в обществе, в котором «класс» экспертов (т.е. профессионалов в определенной области) имеет тенденцию к беспрецедентному расширению.

Экспертами в сфере социально-политических и экономических знаний мы будем называть производителей специфических интеллектуальных благ, чья компетенция подтверждается, с одной стороны, актом самопровозглашения, с другой же – гарантируется культурным капиталом (дипломом, сертификатами) и признанием со стороны самого экспертного сообщества. Другими словами, эксперт, будь то политический аналитик, социолог, экономист и т.д., – это профессионал в определенной сфере интеллектуальной, научной деятельности, располагающий, если говорить языком социологии, четырьмя измерениями капитала: 1) академическим статусом, 2) областью исследования (например, философ может быть экспертом в области «современной критической теории»), 3) социологическими характеристиками, 4) политической лояльностью (прежде всего по отношению к самому экспертному сообществу и его ценностям)². Ясно, что возможны различные («слабые» и «сильные») комбинации экспертного капитала, так что в качестве экспертов зачастую выступают не только ученые-исследователи, но также «компетентные» политики (наподобие А. Добровольского), представители «комитетов мудрецов» при политических партиях или журналисты с устойчивой «интеллектуальной» репутацией (Ю. Дракохруст) или же просто – стабильной специализацией, обеспечивающей накопление специальных знаний (Светлана Калининна, к примеру, сочетает две последние из перечисленных ипостаси, являясь главным редактором «Народной воли» и советником лидера КПБ С. Калякина)³.

Как уже сказано, конечным продуктом экспертной деятельности выступают специфически интеллектуальные блага – научные, околонучные, научно-популярные, – принимающие вид различного рода документов или публичных акций: политические и социально-экономические программы, стратегии, аналитические справки, доклады, научные статьи, выступления на конференциях, в СМИ и пр. Качество и количество данных благ является главным показателем состояния

экспертизы в стране. Широко распространено ошибочное, на мой взгляд, мнение, согласно которому достаточно развитый политический рынок – рынок экспертных предложений и заказов – сам по себе выводит экспертизу на путь совершенствования (альтернативное воззрение, также распространенное в постсоветском мире, гласит: лишь разумная государственная политика в области науки и образования обеспечивает необходимый потенциал научной экспертизы). Накопленный опыт (в том числе в странах Восточной Европы) между тем позволяет говорить о «провалах» рынка и «провалах» бюрократии также и в поле науки, причем данный опыт имеет образцовое теоретическое обоснование. Дело в том, что уже в силу своих сущностных характеристик экспертиза создает ситуацию информационной асимметрии, в нашем случае – когда продавец, т.е. эксперт, – просто в силу того, что он профессионал в производстве данного конкретного блага, – лучше осведомлен о качестве реализуемого товара, чем покупатель.

Как показал в своей сенсационной статье «Рынок лимонов. Неопределенность качества и рыночный механизм» Джордж Акерлоф, на тех рынках, где потребители вынуждены пользоваться «статистикой» для вынесения суждений о качестве предложения, у продавцов имеется стимул выставлять на продажу товары низкого качества, ибо высокое качество создает репутацию преимущественно не конкретному торговцу, а всем продавцам на рынке, к которому эта статистика относится⁴. Подобная ситуация довольно типична для большинства стран третьего мира (с 1990-х для многих стран с переходной экономикой), где нет единой рыночной инфраструктуры, предполагающей набор институтов (прежде всего общественных), устраняющих асимметрию информации. Подобная ситуация также в высшей степени типична для белорусского административного рынка и серого политического рынка. Очевидно, что в научной сфере, так же как и в других, социальный лифт работает таким образом, что в конечном итоге на вершине оказываются те, у кого руки не связаны обременительной профессиональной этикой. Довольно показательна в смысле снижения профессиональных стандартов по отношению к специалистам в сфере финансовой политики, к примеру, цепочка смещений на посту главы Национального банка РБ: С. Богданкевич, Т. Винникова, П. Прокопович (последний вообще пришел из строительной отрасли).

Предположим, что замечательный перуанский экономист Эрнандо Де Сото (который в 1980-х умудрился запустить реформы в охваченной гражданской войной, отсталой и нищей стране) согласился помочь Лукашенко провести группу определенных рыночных преобразований, издержки которых для системы будут ниже, чем предпринимаемые ныне крайне непоследовательные действия. За свои услуги эксперты, возглавляемые Де Сото, рассчитывают получить, скажем, 30 млн дол. в течение двух лет. Наверняка найдется группа российских экономистов, которые предложат проделать то же самое, но еще быстрее (просят 15 млн). Наконец, обязательно найдется в правительстве или в самой администрации президента группа людей, которая готова проделать это и лучше, и быстрее, и дешевле – всего за 5 млн

дол. И поскольку Лукашенко относится как раз к тому типу покупателей, которые не всегда способны отличить качество продукта, он, разумеется, предпочтет «лучший» (по цене сделки и объему издержек предлагаемых мероприятий). Наконец, возникнет ситуация, когда показатели кривых спроса и предложения достигнут таких значений, когда все возможные сделки в данном секторе административного рынка будут заблокированы (как это происходит сегодня).

Я полагаю, что если исследовать ситуацию с социальным лифтом, то в ряде очень важных для страны случаев мы получим критическую массу «лимонов». К примеру, в академической науке: сделки в области защиты диссертаций близки к состоянию блокировки, поскольку власть не готова платить за защиту выше установленной административным рынком средней цены (имеются в виду определенные «пучки прав»), которая значительно ниже той, по которой готовы предлагать себя потенциальные кандидаты.

Серый политический рынок в ряде случаев производит все тот же ухудшающий отбор. Профессиональные политики, полагающие, что могут отличить хорошего эксперта от плохого, легко становятся заложниками информационной асимметрии. Те эксперты, которые хоть как-то способны адекватно диагностировать ситуацию, предлагать какие-то продуктивные идеи, не готовы предлагать себя по цене, по которой готова оплачивать их услуги партийная оппозиция (поэтому А. Лебедько с воодушевлением отзывается о волонтерах⁵). В результате «комитет мудрецов» при центральном штабе единого кандидата оказался сформирован из таких людей, которые, по признанию А. Добровольского, так и не сумели выработать какой-то сценарий на 19 марта в 2006 г. (Ценностная альтернатива..., 2007). Наконец, если проанализировать положения принятой на II Конгрессе демократических сил «стратегии», то напрашивается все тот же вывод об удручающем состоянии экспертных анализов и политтехнологий. Разработчики указанного документа попросту не в состоянии оценить ресурсную ситуацию и рассчитать адекватную политическую стратегию на ее базе. Вместе с тем потребители подобной продукции – по той причине, что они не намерены оплачивать весь «пакет услуг», – сами превращаются в экспертов в смысле подбора наиболее подходящих и наименее затратных практических мер, соответствующих экспертным программам предполагаемых.

Таким образом, должно существовать нечто, что являлось бы необходимым предусловием и залогом нормальной работы рынка (или поля) экспертных предложений и заказов. В идеальном (нормативном) варианте сцена экспертной деятельности должна характеризоваться автономией, т.е. определяться собственными, а не заемными ставками и капиталами. Сказанное не означает, что экспертиза должна располагать алиби собственной непорочности, нейтральности по отношению к интересам заказчика и, соответственно, предметам собственной заинтересованности. Поскольку экспертный (научный) капитал отличается от прочих прежде всего тем, что эксперты ищут признания прежде всего у своих конкурентов, то социальная наука не является нейтральным в политическом отношении предприятием⁶. Можно

согласиться с тем, что попытка навязать ту или иную доктрину – это всегда форма завуалированной цензуры, однако здесь особое значение имеет, является ли цензура «внешним» или «внутренним» фактором экспертной сцены.

В конечном счете мы говорим о наличии институтов, призванных устранить асимметрию информации за счет, с одной стороны, «экспертизы экспертизы», обеспечивающей профессиональное признание экспертов со стороны экспертов, с другой стороны – за счет признания широкой общественности. Словом, часть интеллектуальных благ должна получать оценку со стороны самих экспертов, во вторую очередь – со стороны граждан (не только непосредственных потребителей экспертной продукции или государства). Именно таким образом формируется представление об «именных», «фирменных» благах – в отличие от «статистического» представления о средневзвешенной экспертизе (как, скажем, в ситуации с разработкой анонимной группой экспертов стратегии демсил Беларуси, с которой, если я не ошибаюсь, широкая общественность не ознакомлена по сей день). Наконец, именно условие автономии экспертной сцены придает продуцируемым экспертами и исследователями благам – во всяком случае, их значимой части – характер *public goods*, т.е. публичных, общих благ, у которых нет собственника в строгом смысле. Такие блага характеризуются исключительной важностью для публичной сферы, равно как и общества в целом, поскольку специфические блага, производимые экспертами, – это знания, задающее топографию реальности для социальных агентов.

Для формирования полноценной публичности имеют значение не только указанные блага сами по себе, но и также их «by-products» – самые разнообразные экспертные трансакции (сделки), интеракции (взаимодействия) и интерференции (противодействия), протекающие в форме конфликтов. Я склоняюсь к мысли, что реальная (не просто воображаемая) профессиональная солидарность, само по себе экспертное сообщество возможны на условиях, так сказать, системы дифференциальных расхождений, предполагающей оппозицию, конфликт. «В самом деле, как можно не видеть, – напоминает Пьер Бурдьё, – что в конфликте и посредством конфликта рождается определенная форма консенсуса? Прежде всего потому, что для ведения спора необходимо иметь согласие относительно самих понятий, терминов размежевания, а также потому, что конфликт интегрирует или, по меньшей мере, позволяет определить общую проблематику, общие принципы видения (*vision*) и деления (*division*) мира, которые таким образом эксплицируются, объективируются и становятся общеизвестными»⁷. В приведенном отрывке содержится положение, на мой взгляд, принципиальное для понимания феномена публичности в целом и экспертной сцены в частности, а именно: полноценная публичность и, соответственно, экспертная деятельность возможна лишь там, где отношения асимметрии (т.е. насилия или монополии, будь то монополия государства или медиакратии) замещаются или, по меньшей мере, уравновешиваются симметричными отношениями, в основе которых – конфликт и, с другой стороны, – многосторонняя

договоренность по поводу коллективных действий. Таким образом, мы подходим к тому, что основой автономии экспертного поля является *общественный договор* (в частности, по поводу «воображаемого общества», принципы которого должны быть эксплицированы, «опубликованы» и критически осмыслены), практической реализацией которого должны выступать экспертные автономии в виде *think tanks* (фабрик мысли), исследовательских институтов, профессиональных ассоциаций и пр., словом, все известные в случае экспертной и исследовательской деятельности типы общественных (гражданских) объединений – с юридической пропиской или же без нее.

Следует сразу отметить, что с момента провозглашения независимости Беларуси в стране начался процесс создания независимых экспертных институтов, однако буквально с середины 1990-х произошел откат: в течение последующих 10 лет усилиями правительственных чиновников была ликвидирована большая часть без того немногочисленных независимых экспертных организаций – Центр конституционализма и сравнительно-правовых исследований, Международной институт политических исследований, Национальный центр стратегических инициатив «Восток – Запад», Независимый институт социально-экономических и политических исследований (причем сегодня существует фактический запрет на опросы общественного мнения), общественное объединение «Социальные технологии», Европейский гуманитарный университет, при котором существовал ряд исследовательских центров, и т.д. В контексте авторитарной системы это было частью общей стратегии по зачистке третьего сектора. Сегодня среди «чудом выживших» организаций и центров можно упомянуть Институт приватизации и менеджмента, который умудряется продавать правительственным учреждениям свои разработки, и лаборатория «Новак», которая сосредоточена на маркетинговых исследованиях и официально проведением «политических» соцопросов не занимается, Аналитический центр «Стратегия»⁸.

Часть белорусских исследовательских институтов была вновь открыта за рубежом – преимущественно в Литве, так что можно утверждать, что в настоящее время существует порядка 10–12 различного рода независимых структур, которые ассоциируют себя с экспертной и аналитической деятельностью. Но лишь малое их число имеет организационную структуру, необходимую профессиональную подготовку и действует на постоянной основе. Из-за специфики экономической и политической ситуации в стране эти структуры не могут существовать за счет оказания аналитических и консалтинговых услуг, посему они осуществляют свою деятельность главным образом за счет зарубежных проектов и грантов (исключение составляет «Новак»), остальная часть существует на уровне гражданских инициатив и клубов. Полноценного рынка аналитической продукции в Беларуси не существует.

Большая часть экспертного сообщества остается не у дел и вынуждена существовать при образовательных учреждениях, при политических партиях либо при масс-медиа – таких, как «Радио Свобода», «Немецкая волна», газетах «Белорусы и

рынок», «Белгазета», сетевых проектах «Wider Europe», «Наше мнение», «Белорусский партизан», «Агoга», журналах «ARCHE», «Палітычная сфера» и др. Часть экспертов перешла на работу в государственные учреждения. К примеру, с закрытием в Минске Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) многие его научные кадрыполнили преподавательские ряды государственных вузов: весьма показательнo, что более двух десятков участников экспертного сообщества, ныне работающих в Национальной академии наук Беларуси (НАНБ), Белорусском государственном университете (БГУ) и Экономическом университете, публикуются на сайте «Наше мнение» (специализированном сайте экспертного сообщества) под псевдонимами⁹. Символическим, можно сказать, этапным моментом «полураспада» без того слабого и атомизированного сообщества исследователей и экспертов стал переход на работу в БГУ руководителя НИСЭПИ Олега Манаева. Наконец, часть известных белорусских экспертов (таких, например, как Александр Федута или Александр Войтович¹⁰) фактически переехала работать в Россию или Украину в качестве политехнологов, консультантов в коммерческих предприятиях и пр.

В результате известная часть исследовательских программ была свернута. Означает ли все это окончательное уничтожение гражданского сектора в поле экспертной деятельности? Я бы не стал торопиться с подобными выводами, поскольку описанные тенденции имели отнюдь не только негативные последствия. Во-первых, ликвидация белорусских фабрик мысли косвенно способствовала интенсификации экспертных коммуникаций в сети, т.е., по сути дела, формированию сетевых сообществ. Развернувшиеся (в т.ч. в Lj-комьюнити) дискуссии с участием представителей «белорусскоязычного» и «русскоязычного» секторов экспертных и интеллектуальных сцен – такие, как, например, вокруг языка вещания радио «Немецкая волна», – вообще ранее казались невозможными, поскольку указанные секторы существовали изолированно друг от друга (вплоть до того, что ссылаться друг на друга считалось дурным тоном). Во-вторых, начался процесс формирования «параллельного сообщества» (термин Сергея Паньковского¹¹, впервые сформулированный им на одной из конференций в Киеве), зримым воплощением которого стало учреждение в сентябре 2006 г. в Вильнюсе Белорусского института стратегических исследований, под эгидой которого объединились ряд исследовательских организаций и медиа-проектов (к этому примеру мы вернемся ниже). Наконец, в-третьих: активизировалась часть академического сообщества, ранее показательнo нейтральная по отношению к актуальной политической повестке. В частности, это касается группы научных сотрудников и преподавателей Белорусского государственного университета, Национальной академии наук Беларуси (НАНБ), интеллектуалов, связанных с ЕГУ.

Теперь следовало бы поставить вопрос о том, каким образом описанные альтернативные тенденции сказались на результатах экспертной работы, на ее качестве. Возможно, временной лаг, который мы берем в рассмотрение, недостаточен для каких бы то ни было обобщений, но предварительное резюме таково: никаких

существенных изменений не произошло. Пока сложно говорить о каких-то качественных сдвигах в сфере гуманитарных исследований, а равным образом – о преодолении основного проклятия белорусского экспертного сообщества – его гетерономии и фрагментарности, обусловленной слабостью горизонтальных связей. И поскольку, несмотря на «фрагментарность» взятого в рассмотрение предмета, можно констатировать в этих фрагментах определенные инварианты «развития» (если, разумеется, не брать в расчет обнадеживающих исключений), постановка проблемы «канвы» применительно к экспертной сцене представляется уместной.

2. Регрессивная экспертиза

В принципе, проблему «канвы» (или «русла») применительно к экспертизе можно рассматривать как частный случай использования разделов неoinституциональной экономики и исторической социологии, трактующих о пути зависимости от однажды избранной траектории (path dependence)¹². В экспертной деятельности можно обнаружить существование своего рода QWERTY-эффектов: подобно тому как реклама некогда существовавшей лондонской фирмы «Qwerty», размещенная на клавиатуре производимых ею печатных машинок, в последующем блокировала более продвинутые с эргономической точки зрения проекты (например, Dvorak keyboard)¹³, так и в научной деятельности действие неких «исходных» институциональных выборов, закрепленное определенным соотношением сил, практик обучения, социальных стандартов деятельности и пр., продолжается даже тогда, когда исчезли соответствующие «исходные» факторы или же их действие не является значительным. Словом, существует нечто, с давних пор оказывающее свое подавляющее и неизменное воздействие на организационную и содержательную часть социально-политических наук – так, что даже в ситуации, когда сама по себе социально-политическая и экономическая жизнь подвержена определенным флуктуациям, экспертиза, что называется, остается верна своему стилю и практически не демонстрирует «развития». Другими словами, она, подобно испорченной виниловой пластинке, оказывается загнана в определенный трек, причем переход (точнее сказать, перевод) ее на новый виток сам по себе оказывается серьезной проблемой, решение которой без каких-то специальных процедур (определение которых, в общем, не является задачей настоящего исследования, ограничивающего себя диагностическими задачами) оказывается невозможным. Назовем этот феномен перманентного возврата экспертного сообщества к старым, казалось бы, подтвердившим свою неадекватность объяснительным схемам *регрессивной экспертизы*¹⁴. Типовым примером регрессивной экспертизы являются, скажем, относительно недавние события – когда после повышения цен на газ для Беларуси и ее фактического вывода из состава Союзного государства подавляющее большинство экспертов ограничились объяснительным принципом «российского империализма». Хотя речь, казалось бы, должна была вестись об интенсификации процесса

капитализации российских корпораций и его «побочном продукте» – сбросе, выражаясь языком бизнеса, непрофильных активов, каковыми в данном случае являются многие фрагменты постсоветикума.

Специально отметим, что «частный случай» path dependence, каковым здесь выступает поле экспертного анализа, никак не влияет на общие выводы неонституционализма, высказанные Д. Нормом: 1) институциональная система определяет направление, по которому идет приобретение знаний и навыков; 2) это направление может быть решающим фактором долгосрочного развития общества¹⁵. Данные выводы, на мой взгляд, предоставляют частичное алиби для, казалось бы, сомнительной процедуры инкорпорации теоретического раздела из одной сферы знаний (экономика) в другую (социология науки): социально-политические науки или то, что их замещает (идеология, псевдонаучная мифология), оказывают вполне ощутимое воздействие на институциональную систему и – посредством последней – на самих себя, поскольку она определяет путь, по которому идет накопление знаний. Полное алиби обеспечивается тем простым обстоятельством, что, как уже отмечено, «нелояльные» белорусские эксперты в какой-то момент оказались полностью вытеснены за пределы официальной «публичности» и, следовательно, были предоставлены сами себе в выработке новых «правил игры». С этим оказалось не так просто: при всех оговорках независимый экспертный анализ как бы привязан к исходной канве, соответственно, некогда возобладавшим объяснительным схемам.

Коротко говоря, постановка проблемы «канвы» проистекает из многолетних наблюдений за «поведением» экспертизы, которая оказывается индифферентной к основным вызовам времени. В течение последних 10–15 лет перечень основных вопросов, которые ставились экспертами (например, по поводу «национальной идентичности», «выбора между Западом и Востоком», «белорусской модели», «кризиса модели»), равно как и опорный словарь анализов, не претерпел изменений или претерпел их в несущественной степени. Об этом можно судить на основании контент-анализов экспертных предложений по целой группе проблем, выявляющих «временную» или, если угодно, «топологическую» идентичность исследователей, которые, находясь в «центре современной Европы», тем не менее, умудряются пребывать где-то в третьем мире.

Характерный пример. В свое время в Палате представителей обсуждался «демографический кризис» в Беларуси, причем депутатами высказывались довольно радикальные предложения – вплоть до запрета аборт. Подавляющая часть критиков проекта регулирования абортов, как правило, склонялась к мысли, что подобные ограничения не являются панацеей. Практически никто не ставил под вопрос целесообразность увеличения рождаемости – при том, что в «центре Европы» актуальнее все же является проблема снижения смертности или, того более, – проблема занятости. Зачем Беларуси сохранять и преумножать 10-миллионное население в ситуации, когда нормальных (по региональным меркам) рабочих мест в стране – не более одного миллиона? Словом, до определенного момента (кризис в российско-

белорусских отношениях) проблема интенсивного пути развития не ставилась, и по сей день как правительственные, так и «оппозиционные» эксперты мыслят в парадигме экстенсивного развития, как если бы они жили проблемами эпохи раннего или среднего модерна, озобоченного масштабами – производства, прироста ВВП, народонаселения и пр.

Приведенный пример позволяет указать на одну «особенность» экспертного поля, которая в рамках настоящего исследования представляется существенной, а именно: очевидные политические, идеологические разногласия между специалистами в сфере социально-политических наук – при всей важности этих разногласий – не являются настолько существенными и определяющими, чтобы привычным образом делить поле экспертизы на два автономных или параллельных поля – «государственное» или «оппозиционное» и, соответственно, экспертов – на «честных» и «нечестных».

Во-первых, потому, что используемые по обе стороны этого деления концепты – «чистые» и «нечистые», которые, как напоминает Луи Пэнто, принимают разнообразные формы метафор, классификаций, иерархий, эволюционистских схем и т.п. – не являются столь принципиально различными¹⁶, как принято считать, и достаточно свободно перемещаются в этом интеллектуальном пространстве¹⁷, хотя зачастую берутся с обратным знаком. В этом смысле «государственные умы», т.е. умы, структурированные государством, в общем и целом мыслят примерно так же, как и представители независимого экспертного сообщества, и наоборот. Достаточно присмотреться к успеху, который имеют в государственных исследовательских институтах (например, в ИСПИ¹⁸) различного рода опросы общественного мнения или, скажем, расчеты в отношении «финансового рынка», чтобы понять, что «по ту сторону баррикад» структурирование умов происходит по аналогичной схеме. Скажем, вопрос о социологическом статусе общественного мнения в системе «вынужденного принятия власти»¹⁹ по какой-то причине вообще не поднимался (во всяком случае, не социологами), и независимые социологические центры по-прежнему поставляют «электоральную» статистику так, как если бы пребывали в условиях консенсусной демократии. Таким же образом независимые экономисты интерпретируют цифры Минстата, не обременяя себя вопросами политэкономии (в частности, проблемой наличия рынка как такового), что неизбежным образом искажает значение употребляемых терминов: если рынка не существует или если этот рынок является административным, то говорить об «эффективности», «рентабельности», «курсе национальной валюты», «платежном сальдо» следовало бы, по меньшей мере, с учетом этого базового обстоятельства.

Во-вторых, поскольку напряжение сил, возникающее в поле (субполе) науки (или экспертизы), является его фундаментальной, в буквальном смысле структурной характеристикой. По правде говоря, мы ничего не выигрываем в смысле экономии на концептуальных ресурсах ни в случае с двумя «параллельными» полями, ни в случае с единым полем экспертизы. Во втором случае нам придется вводить, скажем, по-

нятие «двойного агента», который, вопреки утверждениям Бурдые, все же способен занимать несколько позиций в одном и том же поле – наподобие Н. Кацука, В. Улаховича, В. Бобровича, В. Чернова или И. Бабкова, которые, с одной стороны, являясь сотрудниками НАНБ или государственных образовательных учреждений, в то же время стремятся к самореализации в ипостаси независимых экспертов. В строгом смысле следовало бы говорить о государственном аппарате науки, с одной стороны, и поле негосударственной (зачастую прописанной за рубежом) науки – с другой. При этом, следуя рекомендации Пэнто, мы стремимся избежать представления о государственном аппарате как о мозге с определенными целями и намерениями и помним, что речь идет о структурированном бюрократическом пространстве со своими оппозициями, конфликтами и т.п., постепенно переходящем в противостоящие ему независимые (по меньшей мере, в смысле финансирования) экспертные субполя и бюрократии и в более широком смысле – науки и образования.

В-третьих, поскольку отношения между государством и экспертами как таковые далеко не исчерпывают условия для понимания характеристик экспертного поля и экспертного дискурса. Более важным, говорит Пэнто, ссылаясь на Бурдые, является «разделение на временное и духовное в виде оппозиции или разделения труда между индивидуумами, располагающими прежде всего научным авторитетом, и обладателями институционального капитала административного и организационного типа, которые либо посвящают свое время выполнению управленческих функций «на благо исследований», либо занимаются чистой институциональной репродукцией (участие в диссертационных советах, аттестационных комиссиях, методических комитетах, жюри конкурсов и т. п.)»²⁰. Эта социологически выявляемая оппозиция (между собственно научным капиталом и административным капиталом) в определенном отношении соответствует институционально значимой оппозиции между производительными и перераспределительными стимулами, (дис)балансы которых задают основные каналы экспертной деятельности.

3. Путь зависимости: истоки и репродукция

Обычно в path dependence-анализах выделяется два типа причин, ответственных за феномен «канвы» или «русла» (так называемая модель Стинкума²¹): 1) особые обстоятельства, которые вызывают традицию (институт), 2) общий процесс, в котором институциональная модель воспроизводится. Механизмы репродукции институтов – это не то, благодаря чему институты возникли. В отличие от генезиса институтов, отсылающих к «контингентности» новейших теорий, механизмы репродукции описываются посредством предшествующих теорий (например, неоклассических моделей). Эти механизмы замыкают (lock-in) определенную институциональную модель. Таким образом, в историческом объяснении процессы, ответственные за институты, и процессы, ответственные за репродукцию институтов, различны. Таким же образом мы будем различать общую институциональную ма-

трицу белорусской науки (т.е. ее «особые обстоятельства»), с одной стороны, и механизмы репродукции экспертизы, где смешиваются «реактивные цепочки» и «самоусиливающиеся» тенденции, которые продолжают действовать даже тогда, когда действие «первичных», «исходных» факторов минимально или сходит на нет, – с другой²².

3.1. В первом отношении организационная модель советской науки с ее бюрократической вертикалью и неизбежным в подобном случае перевесе перераспределительных стимулов над производительными во многом остается определяющей для науки белорусской. Описывая «правила игры» советской науки, В. Леглер вводит понятие «квазинауки»²³. Под последней понимается учение, взятое на вооружение в советской науке и находящееся в состоянии взаимного отрицания аналогичной по названию мировой науки. Специфические черты квазинаук объяснимы из обстоятельств их возникновения. Они образовывались тремя различными способами (их сочетанием): 1) захватом научного сообщества группой ученых (мичуринская биология), 2) навязыванием сообществу квазинаучного учения извне государством (антимарровское языкознание) или иной превосходящей силой (для ведомственной науки – министерством), 3) сохранением советским научным сообществом прежней парадигмы в качестве пережитка, реликта в момент мировой научной революции (антиплитная геология). Поскольку во всех случаях квазинауки имели перед собой сильного научного конкурента, они сосредоточивали свои интеллектуальные силы на его критике. С этим связано существенное свойство квазинаук: преобладание негативного содержания над позитивным. Квазинаука нуждается в некоей исходной позиции, которую она должна отрицать. Например, суть мичуринской биологии состояла в отрицании хромосомной теории наследственности. В аспекте же позитивной теории мы имеем дело просто с набором тезисов и высказываний, лишенных концептуального единства – если не брать в расчет фантазматического синопсиса официальных верований (как, например, в случае с истматом), пребывающих в регистре «верую, ибо не могу проверить».

В итоге, как утверждает Леглер, советская наука: 1) иерархически организована, причем руководитель каждого научного подразделения по определению считается наиболее выдающимся ученым в соответствующей области науки. В действительности он таковым, как правило, не является; 2) возникающее противоречие между его фактической и воображаемой ролями снимается научной имитацией. Научная имитация, *вошедшая в правило*, не позволяет руководителям научных сообществ признавать чьи-либо, кроме своих, научные достижения, поскольку такое признание подрывает их положение. Это делает невозможным внутреннее развитие данной науки, а в развитом виде – принятие научных достижений из-за рубежа. Так формируется квазинаука, однако ее положение остается неустойчивым. В сообществе может появиться научная оппозиция, т.е. ученые, открыто разделяющие точку зрения мировой науки. Они применяют принцип обхода, т.е. переносят научную дискуссию за пределы профессионального научного сообщества, в более

широкую социальную сферу. После этого руководители научной иерархии отступают и квазинаука ликвидируется.

Белорусская академическая наука (во всяком случае, в ее гуманитарной части²⁴) в общем и целом сохраняет признаки квазинауки с определенными оговорками в аспекте «негативности». Дело в том, что именно негативная часть того или иного учения придавала советской науке признаки научности, поскольку сохраняла логику аналогичной по названию «буржуазной» науки, в то время как в Беларуси владел метод «взять лучшее из мирового опыта» (если воспользоваться словами Лукашенко). Производимые учеными экспертами концепты и концепции в области социально-политического знания предстают как образцы невообразимой эклектики²⁵, а «наиболее значимые» достижения в этом отношении воплощают собой провал проекта систематизированной государственной идеологии²⁶. Нынешний глава НАНБ М. Мясникович специально отмечает, что «действия же властных структур, которые обязаны принимать конкретные решения, действовать в интересах страны именно в режиме реально возникающих угроз и возможностей, все чаще оказываются осмысленными и легитимизированными (отечественной социально-гуманитарной наукой. – *А.П.*) “задним числом”. А иногда, к сожалению, это происходит и в обратном порядке»²⁷. Родовое пятно квазинауки в этом спекулятивном смещении научных языков, в этом, с позволения сказать, постмодернистском «миксе», как мне кажется, сказывается в том, что действующие в рамках критики буржуазной квазинауки изменили свою «специализацию» с негативной на позитивную, перекавалифицировавшись из разоблачителей в миссионеров.

Белорусская наука по-прежнему встроена в вертикальный (гоббсовский) контракт, т.е. иерархически организована, и эта организация, с одной стороны, поддерживается государством, с другой – определенными реликтовыми явлениями в области организации научно-исследовательских и образовательных процессов. Причем, как убедительно показывает А. Войтович, так называемая реформа белорусской науки не только не изменила наличную ситуацию, но усугубила ее²⁸. В сущности, реформу академической науки следует интерпретировать не как противостояние двух тенденций – «сохранение традиций» vs «коммерциализация», но как борьбу двух перераспределительных моделей, в результате которой выиграла группа, объединенная вокруг Государственного комитета по науке и технологиям во главе с А. Лесниковичем, который вскоре был назначен зампредом президиума НАНБ, возглавляемой М. Мясниковичем. Суть «реформы» состоит в том, что задачи сертификации, отбора и, соответственно, распределения ограниченных средств на научные исследования монополизировал бюрократический аппарат, действующий от имени государства.

Отметим, что Леглер неявно подразумевает, что неэффективные институциональные правила рано или поздно будут вытеснены более эффективными (за счет «принципа обхода»), т.е. в генезисе институтов он особо не отделяет обстоятельства их формирования от механизмов репродукции. Между тем последние заслуживают

особого внимания, поскольку именно они, я полагаю, ответственны за то, что белорусская наука благополучно пережила все «реформационные» волны и практически не изменилась как в организационном отношении, так и в плане качества конечной продукции. Именно поэтому, как я намереваюсь показать ниже, неправительственная экспертиза в течение 15 лет так и не выполнила свой «обходной маневр». В принципе, в любом обществе имеются предпосылки для институциональных изменений (с выходом на инновационный путь развития), но эти предпосылки могут быть заблокированы по той простой причине, что издержки этих изменений для социальных агентов превышают издержки сохранения существующих правил.

Во-первых, «возрастающая отдача» (increasing returns) как важнейший механизм воспроизводства «правил игры» предполагает, что в большинстве своем социальные агенты, в общем, не заинтересованы в изменении этих правил из соображения выгод за счет экономии усилий. Возрастающая отдача вызывает эффект «экономии на масштабах»: *когда какое-то правило удастся установить, выгодно распространить его на возможно большее количество сфер*. В самом общем смысле государству выгодно экономить на издержках, распространяя вертикальный контракт на все сферы общественной жизни, в том числе на сцену экспертной деятельности. На индивидуальном уровне: для эксперта выгодно взять за основу какую-ту теоретическую схему и более ее не совершенствовать, продавая ее возможно большее количество раз во всех возможных версиях (в идеале – в одной версии). Естественно, что профессиональная конкуренция предстает здесь как «естественное» препятствие на пути извлечения дивидендов от профессиональной деятельности. Таким образом, вне зависимости от того, какая организационная модель науки берется за основу государственного реформирования, многим группам выгодно именно сложившееся положение дел прежде всего в аспекте неформальных правил.

Во-вторых, воспроизводству институтов способствует рассогласование между неформальными нормами и формальными правилами, что приводит к двусмысленному положению, когда никому не выгодно следовать предписаниям потенциально более эффективных правил. А. Олейник выделяет в связи с этим, помимо других, особый вид издержек – *издержки рассогласования институтов*²⁹. Существование двух различных нормативных систем приводит к ситуации, когда агент вынужден в определенных случаях демонстрировать свою приверженность формальным правилам, с другой же стороны – следовать неформальным нормам. Если говорить, к примеру, о среднем звене научно-исследовательских бюрократий (а именно здесь сосредоточены кадры с наиболее высоким уровнем компетенции), то более или менее ясно, что феномен «двойных агентов», одновременно встроенных в государственный и оппозиционный экспертный дискурсы, связана с проблемой «двоемыслия», то есть «публичной демонстрации приверженности принятым в обществе идеалам и нормам, которые могут не соответствовать внутренним убеждениям индивидов и даже вступать в противоречие с их реальным по-

ведением»³⁰. Если исходить из того, что люди, в общем, в своих действиях склонны экономить на издержках, то наличие издержек рассогласования институтов предполагает, что большая часть экспертного сообщества будет играть не на изменение правил, но на то, чтобы более или менее удачно встроиться в систему (зачастую используя фактор «двоемыслия» в своих собственных интересах, т.е. там, где необходимо, следуя формальным предписаниям, где необходимо – неформальным).

Наконец, существует еще одно отягчающее обстоятельство – доминирование перераспределительных групп, выраженное в преобладании рентоориентированного поведения, т.е. стремление не создавать доходы, а перераспределять их. Эрнандо Де Сото, превосходный эксперт в данном вопросе, определяет перераспределение как использование закона в качестве механизма «дележки постоянного объема благосостояния между различными группами»³¹. В самом общем смысле группы с особыми интересами замедляют экономический рост, снижая скорость перераспределения ресурсов между сферами деятельности или отраслями в ответ на появление новых технологий или условий. В частности, в белорусской науке картелизированные группы, представителей которых мы зачастую не знаем ни в лицо, ни по имени, осуществляют борьбу за ресурсы, в результате которой скорость перераспределения резко снижается, а это равнозначно отсрочкам и серьезным препятствиям на пути перемещения ресурсов в те сферы научной деятельности, где они имели бы большую продуктивность. Наиболее распространенные способы, которыми они добиваются этого, – обеспечение монополии на деятельность определенного рода (например, на проведение соцопросов), а также лоббирование помощи, специальных трансфертов для выхода из затруднительного положения научно-исследовательских и экспертных секций, которые в противном случае потерпели бы фиаско. Есть менее очевидные способы продвижения интересов «малых» синдикатов, при этом общим признаком всех перераспределительных сделок является *устранение зависимости между производительностью агентов или групп или, шире, – реальной ценностью их вклада в процесс производства благ – и долей получаемого вознаграждения*. Итогом деятельности перераспределительных групп становится производство клубных благ, касающихся малых групп при сопутствующем исчезновении стимулов для производства публичных благ, связанных с развитием всей отрасли научного производства или ее конкретного сегмента.

А. Войтович описывает ситуацию, как в агронауке под видом реформы институты и центры, занимающиеся селекцией растений, объединяются в многопрофильный синдикат, но при этом лишаются полигона для селекционных опытов³². Понятно, что такой синдикат создается с целью производства новых растений «на бумаге», т.е. с целью перераспределения – освоения трансфертов, имеющих источником не вклад в научное производство, но некую особую привилегию. Можно было бы показать, что данная организационная матрица является канонической для научно-исследовательской деятельности в сфере социально-политического знания. В 2006 г. Институт социально-политических исследований при Администрации

Президента РБ был преобразован в Информационно-аналитический центр, которому были приданы дополнительные функции (пиар и разведывательная деятельность), но при этом сокращен штат исследователей. Специально отметим: когда речь идет о расширении спектра деятельности при сокращении числа исполнителей, происходит увеличение администрирования над производством (число заместителей главного администратора и, соответственно, руководителей секций и отделов увеличивается пропорционально числу функций). Рассматриваются также планы расформирования Института истории НАНБ и создания вместо него «гуманитарного центра» по той же схеме. Можно предполагать, что возникновение этих планов символизирует один из этапов борьбы за «правильное» видение национальной истории; зримая часть этой борьбы выражается едва ли не в ежегодном переиздании учебников по истории Беларуси³³. Можно обратить внимание на существование своего рода монологических споров, которые ведутся по поводу столь остроконфликтного предмета, каковым является «белорусская история»: полемика ведется не от имени конкретного ученого, который спорит с другим ученым, но от имени одной истины, которая оспаривает альтернативную, ложную и, как правило, столь же анонимную истину. Результатом этой анонимной борьбы, как это ни парадоксально, оказываются циркуляры Минобразования с конкретным, именованным списком книг или литераторов, рекомендуемых или не рекомендуемых в образовательных программах и, с другой стороны, – серия конкретных карьерных перемещений. Я готов утверждать, что наполнение публичности «монологичными», анонимными спорами, которые вовсе не устанавливают термины согласия/размежевания, не определяют общую экспертную проблематику, но просто дезавуируют «неправильную» истину, является косвенным показателем преобладания в научно-исследовательской деятельности перераспределительных стимулов над производительными.

3.2. Если уделить внимание карьерам и индивидуальным позициям «оппозиционных» исследователей, прежде всего тех, кто пришел в экспертное поле прямым из советской науки, то сложно обойти обстоятельство, упоминавшееся ранее: объект критики (течение буржуазной науки) превращается в позитивную специализацию, а марксистско-ленинская философия, на базе которой эта критика осуществлялась, – соответственно объектом критики. Но этот механизм далеко не универсален и, по меньшей мере, имеет неортодоксальные вариации: хорошо известно, что существовали своеобразные лакуны «неправоверного» марксизма, откуда, собственно, и вышли многие заметные представители экспертного сообщества и интеллигалы. Так, например, для представителей так называемой «креольской группы» (В. Акудович, В. Абушенко) такой лакуной был Институт Латинской Америки при Академии наук СССР³⁴. Словом, в разных секторах экспертной сцены указанная «генетическая» особенность сказывается в разной степени: если в «белорусскоязычных» экспертных кругах «негативное» (антиимперское, антиколониальное, антисоветское) содержание преобладает над позитивным, то в других со-

обществах «родовая травма» квазинаук сказывается меньше, зачастую причудливым образом – так, что каждый случай потребовал бы отдельного рассказа. (Большое количество «миксов» и «коктейлей» из модных доктрин и теорий – косвенное свидетельство того, что экспертное сообщество структурировано зачастую не в соответствии с принципом деления на «школы», но в соответствии с топикой перераспределения общественных ресурсов, направляемых на научные изыскания.)

Вместе с тем я полагаю, что обстоятельства формирования отдельных экспертных историй и позиций, на мой взгляд, в плане регресса экспертизы представляют меньшее значение, чем действующие механизмы институциональной репродукции – возрастающая отдача, издержки рассогласования институтов и засилье перераспределительных групп, – которые в различных секторах экспертной сцены, опять же, сказываются по-разному, и зачастую действуют в ослабленном виде – благодаря, например, наличию относительно большого числа «свободных радикалов» (вроде В. Мацкевича, А. Грицанова, А. Федорова, М. Жбанкова и др.), в силу необходимости новых белорусских структур согласовывать нормы своей деятельности с партнерами из стран ЕС, в силу целого ряда других причин.

Начну с перераспределительных стимулов. К сожалению, я не располагаю «публичными» данными (в силу того простого обстоятельства, что о соответствующих фактах на публике говорить не принято) и вынужден опираться на опыт собственной деятельности, а равным образом – частные наблюдения коллег. Хорошо известно, что всякое пристойное исследование предполагает формирование исследовательской (экспертной) группы, еще лучше известно, что всякая такая группа должна обзавестись своим собственным «свадебным генералом» или даже несколькими, в противном случае добиться финансирования будет весьма сложно. Наконец, прекрасно известно, что доля вознаграждения белорусского эксперта находится в прямой зависимости от того, какая «руководящая» нагрузка в данном исследовании за ним гласно или негласно закрепляется. Это универсальные правила, работающие как в государственных учреждениях, так и в поле независимой экспертизы. Достаточно убедительное свидетельство наличия экспертных синдикатов – относительно малая доля усилий, посвященных собственно исследованиям, по отношению к количеству усилий, направленных «на руководство посредниками, проведение встреч и приемов»³⁵, и, добавим, активное использование модных ныне «коммуникативных» форм (конференций, семинаров, панелей и пр.), нередко реализуемых с целью увеличения и закрепления определенных рентных привилегий. Наконец, можно указать на то простое обстоятельство, что в подготовке настоящего текста автору решительно не на что было опереться, если не считать индивидуальных работ белорусских исследователей, осуществленных по собственному почину. Таким же образом очень сложно отыскать результаты исследований, на которые можно было бы опереться в дальнейшей работе, по огромному перечню вопросов – начиная с вопросов внешней политики и заканчивая принципами кадровой ротации в центральном госаппарате. Говоря коротко, конечным продуктом

деятельности независимого экспертного сообщества выступают главным образом не публичные, но клубные блага, представляющие интерес для весьма ограниченного числа заинтересованных. (В скобках замечу, что хотел бы быть правильно понятым: я рассуждаю не огульно, т.е. не беря в рассмотрение различные случаи, которые могут быть истолкованы как исключения.)

Существуют два типа причин, во многом ответственных за перераспределение на сцене экспертизы. «Эндогенные» факторы связаны с дефицитом ресурсов в самом широком смысле, т.е. с одной стороны – с отсутствием разветвленной системы заказчиков, сети общественных фондов и т.д. (проклятие всего гражданского общества), с другой – собственно информационной базы, включая систему допусков к информации. Так, к примеру, если бы белорусские экономисты располагали допуском к непосредственной таможенной статистике, они могли бы сами осуществить пересчет торгового сальдо; в настоящих же условиях они попросту вынуждены пользоваться данными Минстата, т.е. осуществлять «паразитарную» интерпретацию правительственных цифр. Таким же образом отправным пунктом анализов для экспертных кругов, посвящающих себя проблеме выявления национальной идентичности белорусов, являются данные последней переписи населения, когда 75% белорусских граждан довольно двусмысленно показали, что белорусский язык является для них «родным». Декларации о создании претенциозных оппозиционных структур вроде «параллельного правительства» едва ли опираются на какие-то серьезные предпосылки. Учреждение Белорусского института стратегических исследований (BISS, в первоначальном варианте – Института белорусских исследований) одной из целей предполагало формирование такой базы, пусть и в ограниченных масштабах. Пожалуй, пока еще рано давать оценку деятельности этой организации, хотя предварительные выводы не дают оснований для особого оптимизма: а) заявленные исследовательские программы института не оговаривают выработки общих понятийных аппаратов для реализации исследований; б) что в организационном отношении выражается в конденсации синдиката из совершенно различных по своим задачам и смыслу экспертных организаций и СМИ (в частности, Белорусского коллегіума, лаборатории «Новак» и «БДГ»). Таким образом, цели этой структуры, которых искренне – я подчеркиваю – хотели избежать учредители, – все те же: лоббирование, перераспределение, словом, весь комплекс операций, которыми уважаемые в экспертном сообществе люди, руководящие институтом, неплохо владеют. Этим людям можно понять, они действуют как действуют: собираются, учреждаются, открывают окно возможностей для кого-то – кого по какой-то причине не оказывается. Просто потому, что производить не выгодно. Выгодно перераспределить.

Почему BISS воспроизводит привычную перераспределительную модель? Одно из объяснений предполагает обращение к «эндогенным факторам» – засилью перераспределительных групп в соседних государствах – Польше, Литве, Украине, где традиции перераспределения также имеют долгую историю. Действительно, одна

из задач, которую преследовали учредители BISS, – прорыв «кольца блокады», образованного экспертными организациями, якобы специализирующимися на Беларуси (с продуктами деятельности которых внутри Беларуси, как правило, незнакомы). Посему основным видом капитала, который принимался в расчет в кулуарных схватках за место директора института, были не организаторские таланты кандидатов, но их предполагаемые связи с потенциальными спонсорами и донорами. Следовало бы подчеркнуть, что в белорусских условиях подобная практика назначений – в зависимости от предполагаемых «деловых связей» и «добрых отношений» – является чрезвычайно распространенной, а сегодня она дополнена формальной нормой «партнера из стран ЕС» (графа типовой грантовой заявки). Так определенные формальные ограничения в Беларуси выливаются в неформальное правило, согласно которому вышеуказанный «партнер» является юридическим лицом, в функции которого вменяется: 1) предоставление юридического адреса и банковского счета белорусским экспертам, 2) взамен на что он изымает весомую долю финансового транша, направленного на поддержку исследования, равно как и любой другой акции экспертного сообщества.

Параллельно этому существуют отработанные модели непосредственной покупки труда белорусских экспертов организациями, базирующимися за рубежом, когда, например, выполненная здесь аналитическая справка, оплаченная чуть выше, чем публикация в СМИ, перепродается втридорога Еврокомиссии под шильдой, скажем, Института восточноевропейских исследований (Варшава). Последнее время изобретаются более изощренные методы грабежа. К примеру, от имени Университета им. Жана Моне (Франция) осуществлялась обширная интернет-рассылка с просьбой ответить на предлагаемый (довольно объемный) круг вопросов. Последние были составлены таким образом, что ответы на них давали практически полную картину состояния партийного, экспертного полей, системы государственной власти и пр. в Беларуси. Составители опросника, по всей видимости, предполагали, что систематизация полученной информации позволит в итоге представить полноценное исследование по Беларуси, не обременяя себя обязательствами по отношению к белорусским экспертам.

Дополнительным обстоятельством, отягчающим без того непростое положение неправительственных экспертов, является интенсифицировавшийся после мартовских событий 2006 г. процесс вовлечения в перераспределительную игру на экспертной сцене партийных лидеров и активистов – представителей Коалиции демсил. Мы являемся свидетелями тяжелого процесса депрофессионализации политиков, которые постепенно превращаются в «экспертов по демократии» – организаторов круглых столов и конференций, комментаторов на радио и в сетевых СМИ.

Несколько слов по поводу возрастающей отдачи. Как показывает опыт, длительное участие в тех или иных перераспределительных схемах, наработка «добрых отношений» приводят к относительному увеличению рентных поступлений (впрочем, по региональным меркам довольно скромных – будь то денежные до-

ходы или участие в конференциях за рубежом), выпадающих на долю участников перераспределительных картелей. Уже по этой причине часть экспертного сообщества не заинтересована в изменении наличных правил игры. С другой стороны, контент-анализ, к примеру, сетевых изданий показывает, что многие белорусские эксперты занимаются последовательной перепродажей ограниченного числа текстовых версий или, выражаясь редакционным языком, «припевов». Часть благ, производимых экспертами, несет на себе печать «нецелевого заказа», когда, например, курс лекций форматируется в виде исследования по специальному вопросу (что связано, разумеется, с необходимостью экономить на издержках, без того довольно высоких в белорусском обществе). Коротко говоря, налицо все симптомы склеротизации поля экспертной деятельности, что, в частности, связано с возможностью снижения транзакционных издержек в связи с масштабами, или, если угодно, тиражами.

Рассогласование между неформальными нормами и формальными правилами в неправительственном секторе экспертной сцены сказывается специфическим образом (разумеется, за исключением случаев, когда независимые эксперты стремятся сохранить хорошие отношения с государственными учреждениями). Издержки рассогласования правил игры проявляют себя здесь преимущественно в ситуации реализации и транзакций между «клубами» или необходимости для агента войти в относительно изолированный экспертный круг. Словом, система двойной морали замещается системой правил, варьирующих от случая к случаю, причем эта мультипликативная система профессиональных норм в ситуации отсутствия экспертных ассоциаций, обществ и партнерств, определяющих правила и кодексы поведения своих членов, сама по себе представляет огромную проблему, также и в смысле очевидной гетерономии экспертной сцены. В аспекте содержательного выхода экспертизы зазоры между формальными и неформальными условиями деятельности проявляют себя прежде всего в заметном разрыве между практикуемыми теоретическими схемами (связанными, скажем, с «критикой капитализма» или «выявлением электоральных тенденций большинства») и описываемым посредством этих схем положением дел (например, некапиталистическим, предкапиталистическим, недемократическим обществом).

Сочетание вышеперечисленных правил предопределяет «канву» регрессивной экспертизы, минималистский портрет которой в аспекте содержательного выхода можно представить в виде нижеследующего набора неформальных правил, которых предположительно должны держаться те или иные эксперты (в зависимости от специализации и т.д.), производящие в силу этого клубные блага по преимуществу.

Медиатизация – чрезмерная «актуализация» экспертного анализа, чреватая феноменами повтора, «забывания» и пр. – в силу того что многие эксперты вынуждены существовать при СМИ типа «Белорусы и рынок», «Белорусские новости» и пр. Если не поддаваться иллюзии, в соответствии с которой публичное пространство

совпадает с пространством масс-медиа, то более или менее ясно, что блага, производимые экспертами в СМИ и для СМИ, зачастую имеют выраженный клубный характер. Масс-медиа коррумпируют экспертный анализ неизбежными в этом смысле канонами «вечной новизны» и «сенсационности», они вызывают эффекты, противоположные интерактивности, – эффекты интерпассивности.

Индоктринация (применительно к импорту объяснительных схем) – преобладание доктринальной «базы» над прагматической «надстройкой», что на практике выражается в преимущественном заимствовании не методологической составляющей той или иной концепции, но ее доктринальных, идеологических положений. Между тем критические замечания экспертов друг к другу чаще всего связаны не с неверным или неряшливым использованием теории, а с необходимостью уточнения экспертной позиции. То есть проблема политической идентификации (правые, левые и пр.), а также приверженности тому или иному «уже занятому» кем-то направлению («геополитика», «геоэкономика») превалируют по отношению к собственно решаемой практической или теоретической проблеме.

Проблематизация – это совокупность «методологических» или поведенческих правил, которые определяют деятельность экспертов и, соответственно, конечный продукт совместной работы в виде «долгоиграющих» тем (в отличие от «воспроизводящихся», как в случае с медиа). Внешне этот феномен близок тому, что Джон Грей именует «конвенциональной методологией»³⁶, в соответствии с которой реальным существованием обладает лишь то, что является объектом восприятия в академическом дискурсе. Имеется вместе с тем определенное отличие этих явлений. Если в последнем случае конечный продукт может представлять собой признанный сообществом результат решения проблемы (например, теоретической), то в первом случае это практически исключается. Результатом научной «проблематизации» является «тематизация проблемы», т.е. введение проблемы в оборот и фиксация на ней. Эксперт, включенный в процесс проблематизации (предположим, что она осуществляется в режиме круглых столов и конференций), во-первых, должен показать, что он наслышан «о проблеме» и что-то думает «по проблеме», и, во-вторых, предложить собственное описание проблемы в определенных терминах – как правило, «современных» и принятых в данных экспертных кругах. Как показывает опыт белорусских проблематизаций, все они развиваются по одной и той же схеме: 1) констатируется проблема, например, демократии, национальной идентичности, пограничья, политической коммуникации и пр.; 2) признается, что демократия, национальная идентичность, пограничье или политическая коммуникация в наших условиях являются «какими-то не такими» (т.е. не согласующимися со взятыми на вооружение теориями и принципами); 3) цикл воспроизводится на «новом уровне». В конечном итоге полезного научного эффекта конвенция «проблематизации» не производит, за исключением, разумеется, воспроизводства системы опознавания «свой/чужой» по набору ключевых слов. Сказанное не означает, что в рамках той или иной проблематизации невозможны позитивные решения, однако вне зависимости, приме-

нимы ли они в данных обстоятельствах места и времени, сами конечные решения проблемы неявно отклоняются или, попросту говоря, не признаются.

Арифметизация – характерное для экономистов, социологов и даже политологов тяготение к «конечным» количественным объяснениям и интерпретациям (что даже составляет предмет их гордости) без учета источника происхождения и условий получения цифр, которыми они оперируют и о которых спорят. В итоге белорусское общество воображается не как состоящее из различных групп с различными интересами, но как состоящее из суммативных субъектов – аудиторий газет или групп населения, голосующих «за» или «против» по проблемам, которые квалифицируются как главные.

Существуют, по всей видимости, другие элементы регрессивных правил производства интеллектуальных благ, но перечисленные представляются для меня наиболее заслуживающими внимания.

4. Чтобы завершить

Как, надеюсь, мне удалось (далеко не впервые) показать, такие вещи, как «публичность», «эффективная экспертная деятельность», «инновации» и «простые и прозрачные правила игры», весьма редко встречаются порознь и предполагают взаимное развитие друг друга. Преодоление регресса экспертной деятельности является совершенно необходимым залогом этого процесса. Я уже отмечал, что моей целью не является выработка рецептуры избавления экспертных сообществ от их болезней, однако повторюсь: считаю процесс формирования новых горизонтальных экспертных автономий, в частности в виде фабрик мысли, созданных в соответствии с локковским контрактом, когда каждый исследователь является миноритарным акционером организации, большим благом для сообщества. Сегодня в экспертных кругах эта идея обнаруживает все большее число сторонников, и это, я полагаю, является одной из необходимых предпосылок изменения институтов.

Другая предпосылка – наличие в экспертных кругах действительно хороших профессионалов, а также энтузиастов, без которых процессы преобразования немислимы. Институты имеют значение («institutes matter»), говорит Дуглас Норт, но не меньшее значение имеют и люди, способные правила обходить или менять. Существует значительная часть ученых и экспертов, которые уже являются индивидуальными предпринимателями в экспертной деятельности, настроенными на коллективные действия (при соответствующей трансформации правил) либо осознающими необходимость серьезных трансформаций в сфере науки и образования.

Наконец, еще один важный момент. Как отмечают многие исследователи, на первых этапах формирования сообществ (реализации любых коллективных действий), как правило, перераспределительные стимулы преобладают над производительными, но этот перевес устраняется по мере увеличения капитала взаимного до-

верия, а также по мере увеличения скорости перераспределения, связанной с вовлечением в процесс новых экспертов, с проведением новых исследований и т.д.

Возможны также определенные решения в плане устранения предпосылок, закрепляющих униженное перераспределение в экспертном поле. Возможно, целесообразным было бы формирование группы экспертных и исследовательских центров (на условиях предоставления им определенных «пучков прав», в частности касающихся автономии) при базирующемся в Вильнюсе ЕГУ, который располагает ресурсной базой или мог бы ее создать (за исключением, разумеется, системы допуска к информации, имеющей «политическое» значение). Но возможно также, что формирование неправительственных ресурсных центров не является столь уж жесткой необходимостью; возможно, что со временем они появятся сами по себе – подобно тому как вырос грандиозный ресурс Википедии – из десятков, сотен тысяч индивидуальных инициатив. Наконец, опыт ряда исследований показывает, что в ситуации дефицита информации возможно изобретение исследовательских методик, позволяющих эту информацию получать. Так, например, Де Сото придумал простые механизмы определения объемов нелегальной недвижимости в Латинской Америке – используя «индикаторы» заборов и лая собак; Яков Паппэ придумал способ выявления групп влияния по открытой прессе, в частности по постановлениям хозяйственных судов; позднее Александр Аузан воспользовался этим методом для выявления новых групп влияния; Майкл Урбан написал уникальную книгу, посвященную циркуляции элит в БССР в 1966–1986 гг., опираясь на скудный советский официоз³⁷.

Эти и другие примеры говорят нам: все возможно. Во всяком случае, возможно многое.

Примечания

- ¹ Автор выражает особую признательность Валерии Костюговой – за осуществление контент-анализов серии экспертных дискурсов и публикаций.
- ² Ruget V. Scientific Capital in American Political Science: Who Possesses What, When and How? // *New Political Science*. 2002. 24, 3. P. 471.
- ³ Александр Добровольский – заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси (партия либерального направления, входящая в состав коалиции демократических сил); Юрий Дракохруст – известный в Беларуси политический комментатор, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода»; Сергей Калякин – председатель Коммунистической партии Беларуси, входящей в состав коалиции демсил. «Народная воля» – независимая газета общественно-политической направленности, квалифицируемая официозом как «оппозиционная».
- ⁴ Akerlof G.A. The Market for 'Lemons': Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism // *Quarterly Journal of Economics*. August 1970. P. 488–500.
- ⁵ Анатолий Лебедевко – председатель Объединенной гражданской партии.
- ⁶ Ruget V. Op. cit. P. 471.
- ⁷ Бурдые П., Шартье Р. Люди с историями, люди без историй // Новое литературное обозрение. 2003. № 60. С. 75. http://sociologos.narod.ru/textes/bourdieu/bourdieu_chartier.htm

- ⁸ *Международный институт политических исследований* – независимая неправительственная некоммерческая международная общественная организация. Зарегистрирован в феврале 1995 г. 22 апреля 2004 г. Верховный Суд Республики Беларусь принял решение о ликвидации МИПИ в связи с несоответствием его юридического адреса нормам действующего законодательства.
НИСЭПИ (Независимый институт социально-экономических и политических исследований) – белорусское республиканское общественное объединение, созданное в 1992 г. Основные виды деятельности – исследования в области социологии, экономики и политологии, информационно-издательская деятельность, профессиональный тренинг, социально-экономический и политический консалтинг. Директор института – доктор социологических наук, профессор О. Манаев. В 2005 г., после ликвидации НИСЭПИ в Беларуси, он был зарегистрирован в Литве.
Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента (ИЦ ИПМ) был создан в Минске в 1999 г. в рамках совместного проекта ИПМ и CASE (Центр социально-экономических исследований, Варшава, Польша) и в настоящее время входит в исследовательскую сеть CASE. Проводит исследования и осуществляет другую деятельность в рамках миссии ИПМ содействовать развитию конкурентоспособности белорусской экономики через образовательную поддержку частного бизнеса.
Лаборатория «НОВАК» (лаборатория аксиометрических исследований «Новая аксиометрия») – исследовательское предприятие, являющееся частной негосударственной службой, специализирующейся на маркетинговых исследованиях, опросах общественного мнения, а также консалтинге в этих областях. Создана в 1992 г. Директор – доктор социологических наук А. Вардомацкий.
Аналитический центр «Стратегия» учрежден в Минске в 1997 г. группой аналитиков и экспертов Национального центра стратегических инициатив «Восток – Запад» с целью проведения независимых исследований в области экономики, политики и права. Председатель Совета – кандидат экономических наук Л. Заико.
- ⁹ Как отмечает Майкл Паренти, современные формы остракизма (применяемые, в частности, по отношению к «радикальной профессуре») становятся более утонченными, нежели в предыдущие периоды «идеологических репрессий» (расизм, антидарвинизм, маккартизм) (Parenti M. *Against Empire*. San Francisco: City Highs Books, 1995). В данном отношении белорусская наука и образование не являются исключениями, хотя здесь практикуются более brutальные методы, прежде всего – увольнение под теми или иными «неполитическими» предлогами.
- ¹⁰ Александр Федута – филолог, политолог, известный в Беларуси и за ее пределами публицист, общественный деятель, соучредитель ОО «Социальные технологии». Александр Войтович – общественный и политический деятель, профессор (1985), член-корреспондент (1986), академик (1996) НАН Белоруссии, действительный член Европейской академии наук, искусств и словесности (1995).
- ¹¹ Сергей Паньковский – профессор, политолог, руководитель интернет-проекта «Наше мнение», председатель совета Белорусского института стратегических исследований (BISS).
- ¹² Mahoney J. Path dependence in historical sociology // *Theory and Society*. 2000. № 29. P. 507–548.
- ¹³ David P. Clio and the Economics of QWERTY // *American Economic Review*. 1985. № 75. P. 332–337.

- ¹⁴ Сходным же образом, согласно выводам нобелевского лауреата Лейфа Йохансена, реагирует экономическая система, сталкивающаяся с трудностями.
- ¹⁵ North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.
- ¹⁶ Пэнто Л. Государство и социальные науки. Предпубликация из альманаха российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН «Социология социальных наук в постструктуралистской перспективе». 2006 <http://sociologos.narod.ru/textes/pinto/pinto4.htm>
- ¹⁷ Гл.: Гансэн І. Прастора беларускага палітычнага дыскурсу і ягоныя візуальныя ды перфармацыйныя элементы // АРСНЕ. 2007. № 4 (55). С. 51–60.
- ¹⁸ *Институт социально-политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь (ИСПИ)* – структура, образованная в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь в 1997 г. Является научно-исследовательским учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов. Ныне преобразован в *Информационно-аналитический центр при АП РБ*.
- ¹⁹ Роуз Р., Манро Н., Мишлер У. Вынужденное принятие «неполной» демократии. Политическое равновесие в России // Полит.ру: 2005 (<http://www.polit.ru/research/2005/05/12/ravnovesie.html>).
- ²⁰ Пэнто Л. Ук.соч.
- ²¹ Stinchcombe A.L. *Constructing Social Theories*. Chicago: University of Chicago Press, 1968. P. 103.
- ²² Как отмечает Махоуни, все path dependence-анализы в исторической социологии и институциональной экономике обладают как минимум тремя определяющими особенностями (см.: Mahoney J. Path dependence in historical sociology // *Theory and Society*. 2000. № 29. P. 510–11): 1) каузальные цепочки, в которых предшествующие события определяют последующие в тем большей степени, чем более они отдалены от последующих событий, причем *имеет значение сама последовательность* («the order of events makes a difference», см.: Abbott A. *Sequences of Social Events: Concepts and Methods for the Analysis of Order in Social Processes* // *Historical Methods*. 1983. № 16. P. 129–147); 2) «реактивные» последовательности. В последовательности событий всякий последующий эпизод может быть случайным и не может быть объяснен на основе предыдущих событий или «исходных условий» – при том, что «конечные» результаты стохастически привязаны к исходным условиям. Такие цепочки именуется «реактивными» в том смысле, что всякий последующий шаг является частью реакции на предшествующие события так, что эти реакции образуют «детерминистскую» связь; 3) относительно детерминированная последовательность может быть охарактеризована как (институциональная) «инерция». В последовательностях, именуемых «самоусиливающимися» (self-reinforcing sequences), инерция вызывает репродуктивные механизмы, которые поддерживают институциональную модель. В «реактивных» последовательностях, напротив, – начинают работать контринерционные механизмы, которые придают последовательности «естественную» логику.
- ²³ Леглер В.А. Идеология и квазинаука // *Философские исследования*. 1993. № 3. С. 68–82.
- ²⁴ Как подчеркивает Леглер, гуманитарные науки в России по сей день остаются квазинауками.

- ²⁵ В данном отношении образцово-показательными можно считать издания под эгидой Академии управления при Президенте РБ. К примеру, «теоретическая» работа одного из белорусских лидеров «системного подхода» С. Решетникова содержит парафразы концепций западных авторов, причем каждая глава книги живет совершенно автономной жизнью (см.: Решетников С.В. Теория процесса принятия управленческих решений: Монография. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003).
- ²⁶ См.: Грицанов А. Идеология «ближнего прицела» отжила себя // Наше мнение. 2007. (<http://www.nmnby.org/pub/0707/09m.html>).
- ²⁷ Мясникович М.В. Инновационная деятельность в Республике Беларусь: теория и практика. Минск: Аналитический центр НАН Беларуси, ИООО «Право и экономика», 2004. С. 160.
- ²⁸ Войтович А. Наука: проблемы и предложения // Наше мнение. 2007. (<http://www.nmnby.org/pub/0706/19m.html>).
- ²⁹ Олейник А. Издержки и перспективы реформ в России: институциональный подход. М.: ГУ ВШЭ, 1998. С. 151.
- ³⁰ Хлопин А. Феномен «двоемыслия»: Запад и Россия (особенности ролевого поведения) // Общественные науки и современность. 1994. № 3. С. 51.
- ³¹ Сото Э. Де Третий путь. Невидимая революция в третьем мире / Пер. с англ. Б. Пинскер. М.: Catallaxy, 1995. Гл. 6.
- ³² Войтович А. Ук. соч.
- ³³ Тарасов С. Политический донос, как метод «честного» историка // Наше мнение. 2007 (<http://www.nmnby.org/pub/0706/15j.html>).
- ³⁴ Гапова Е. Проектировщиков не назначают. Ими становятся // Наше мнение. 2004 (<http://www.nmnby.org/pub/201204/honduras.html>).
- ³⁵ Де Сото. Ук. соч.
- ³⁶ Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М.: Праксис, 2003.
- ³⁷ Urban M.E. An Algebra of Soviet Power. Elite circulation in the Belorussian Republic 1966-86. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

ФЕНОМЕН КЛАНОВО-КОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕСТВА

Исходное теоретическое затруднение в обращении к проблеме публичности заключено уже в выражении «трансформации публичной сферы в постсоветских контекстах». Оно словно бы предусматривает, что публичная сфера является безусловной данностью, присущей любому обществу. Название побуждает сосредоточиться лишь на том, каким образом и в каких аспектах этот элемент социальности изменялся под влиянием постсоветских социальных метаморфоз и чем сама публичная сфера была – какую роль играла – в эволюциях постсоветских обществ. Вместе с тем действительная проблема постсоветских общественных трансформаций состоит в том, что публичная сфера как активный и действенный элемент общественной самоорганизации отсутствовала и в советскую эпоху, и после краха коммунистического режима. Учитывая это, формула «притязания публичности в постсоветских контекстах» более точно отображала бы ситуацию, которую имеем.

Публичная ситуация не тождественна простой коллективности. Она образует особый топос социальности, в который нужно попасть. И единственное место, из которого человек может туда попасть, – это *приватная сфера*. Публичность всегда – реальность перехода. Она не может быть определена вне границы, которая отделяет ее от приватного. Публичное и приватное не только противоположности, но и взаимообусловленные сущности, каждая из которых может быть определена лишь относительно другой. Публичное суть свое-иное приватного.

В приватной сфере человек всецело при себе – без опосредования другими или без тех требований, которые возникают из присутствия других людей. Приватность предусматри-

вает непосредственность. Вместе с тем ошибочно редуцировать приватность к интимности, как это иногда случается. И тем меньше оснований для этого предоставляет Аристотель, размежевание которым домохозяйства (ойкоса) и политики (полиса) часто принимается в качестве исходного для анализа соотношения публичного и приватного (например, Ханной Арендт¹). Аристотелем эти сферы разграничиваются прежде всего по потестарному принципу – как отличие господства, естественного для семьи, от политической власти, имеющей дело со свободными и равными существами². Об интимности как таковой тут нет и речи.

Приватная сфера – не менее весомый *социальный факт*, чем сфера публичная. Она обеспечивает автономию лица. И потому основу ее составляет (что было верно для античности и сегодня остается актуальным) частная собственность, которой владеет индивид и которая обеспечивает его экономическую автономию. Одновременно собственность является важным социальным критерием, которым определяется гражданин. В античности – это обязательное владение участком полисной земли, в современной практике – ощутимая роль имущественного ценза в обладании полной гражданских и политических прав.

Приватная сфера, обеспечивая автономию лица, является залогом граждански организованной социальности. В ней социально обеспечена принадлежность человека самому себе, что принципиально важно для возможности его публичной жизни. Кто хоть где-нибудь не принадлежит себе, тот не может быть и со всеми. Это дает основания Ричарду Сеннету утверждать: «вместе публичное и приватное пространство создали то, что сейчас получило бы название “универсума” социальных отношений»³. Здесь одновременно возникает отсылка к понятию общественного (социального) не в общеисторическом, а специфично современном значении, которое выделяет, в частности, Х. Арендт, когда пишет: «Появление общественной сферы, которая не является ни приватной, ни публичной, – это относительно новый феномен, происхождение которого совпадает с началом новой эпохи и который политически оформился в государстве-нации (nation-state)»⁴. Она указывает на тенденцию разрушения классических политической и приватной сфер в современную эпоху, которые нивелируются и поглощаются единой общественной сферой⁵. Данную тенденцию, приобретающую особое влияние в условиях «общества масс», необходимо учитывать при осмыслении сегодняшней социальности, в частности посткоммунистического общества.

В своем основательном исследовании «Падение публичного человека» Р. Сеннет выделяет четыре конститутивных элемента, которые определяют феномен публичной жизни. Первый – это публика, второй – отличие между публичной и приватной сферами, третий – критерии достоверности, четвертый – средства самовыражения⁶. Два последних компонента указывают на природу публичности как символической реальности. Публичная сфера далека от натуральности, она есть символически заданное и символически структурированное поле интеракций. Натурально публика выглядит как собрание людей. Но собрание людей становится пу-

бликой, лишь оказавшись в пространстве символически означенного действия, которое открыто для их участия.

Переход от культурного к социальному смыслу публичности

Отделив феномен публики от простой совокупности людей, указав на взаимообусловленность и неотъемлемость публичного и частного, обозначив символическую природу публичной ситуации, мы ее первично определили. Однако, определив ее так, мы получили разве что *культурный* смысл публичности.

Вместе с тем понятие публичной сферы требует большего.

Неучтенным остался эффект влияния публичности на самоорганизацию и деятельность общества в целом, и прежде всего – роль публики и ситуаций публичности в осуществлении власти. Чтобы зафиксировать этот эффект, нужно перейти от общекультурного к *социальному* смыслу публичности – от публичных *ситуаций* как топосов, открытых для символического участия людей, к *публичной сфере* как места подчинения государственных инстанций и властных отношений влиянию публики – в виде обусловленности деятельности государства общими стремлениями участников общества ради общего блага.

Итак, без собственно потестарного эффекта влияния публичных ситуаций (а соответственно и публики) на осуществление власти в обществе публичность не получает аутентичного *социального* смысла и о публичной сфере как таковой нет оснований говорить. Это открывает смысл публичности не как простой данности, а как постоянно осуществляемого *проекта*.

В виде публичности индивид присваивает себе пространство общего существования и, в конце концов, присваивает общество, которое с этого момента становится для него «своим». Степень развитости публичной сферы показывает, насколько общество стало достоянием человека и принадлежит ему как его собственный мир. Но этим миром – общим с другими – невозможно владеть так же, как тем, что принадлежит лично тебе. Общественное каждый разделяет со всеми. В виде публичной сферы возникает особый режим существования в том, что принадлежит каждому, но, принадлежа каждому, не превращается в личное владение, отделенное от прочих. Дистанция все время сохраняется, равно как все время обеспечена возможность непосредственного участия. Присвоение человеком общества в виде публичной сферы делает общество для человека своим, однако не в виде частной собственности. Возникает потребность размежевания того, что человеку принадлежит безоговорочно, от того, что принадлежит ему совместно со всеми. Способом этого размежевания становится право (прежде всего в римском смысле).

Публичная сфера призвана быть не только местом осуществления политической власти, но и выступает началом, делающим возможной саму политическую власть, предоставляя ей пространство существования. С точки зрения организации

власти, публичная сфера призвана сделать невозможным возникновение и существование *правителей*, предполагая лишь *функционеров* общего блага. Она охватывает пространство общих дел, решения которых подчинены телосу общего блага. В обеспечении этой возможности важную, в чем-то решающую роль играет критический дискурс общественности. Он призван не только контролировать государственные институты, но и выполнять функции прямой демократии, то есть непосредственной власти суверенного народа. Этот дискурс не только принимается к сведению государством, он его *обязывает*, порождая феномен, который Ю. Хабермас именует «коммуникативной властью»⁷. В результате достигается такой режим существования власти, благодаря которому предотвращается превращение власти в господство.

Общественная роль рынка

Вместе с тем ошибочно сводить публичность к критическому дискурсу общественности, формой организации которой являются свободные ассоциации, а результатом – отношения, свободные от господства. Такая дискурсивно-коммуникативная редукция публичности приводит к ошибочному и опасному отождествлению публичной сферы с политической. Опасность возникает вследствие односторонности данного взгляда, который ведет к искривлению оптики понимания социальности вообще. Политическая сфера (политика вообще) способна решать лишь один тип задач самоорганизации общества, тесно связанный с конституированием правовой нормативности.

Вместе с тем не менее важной составной частью современной публичной сферы (с начала модерна) являются отношения не политики, а собственности – не правления, а хозяйствования. Экономика, подчиненная идее рынка, служит не менее важным фактором самоорганизации общества и его публичной сферы, чем правовая нормативность. Одновременно с критическим дискурсом общественности должна действовать «невидимая рука рынка», иницилирующая и регулирующая продуктивную силу свободного предпринимательства.

Этим достигается не сугубо экономический, а всесторонний социальный эффект, определяющий для структурирования и динамики общества в целом. Пьер Розанвалон, осуществляя анализ гражданского общества как рынка, отмечает, что рынок «является чем-то большим, нежели простым механизмом управления и регулирования. Он предстает как носитель много большего стремления к децентрализованной и анонимной организации гражданского общества, выступая конкурентом демократического проекта искусственного построения полиса»⁸. Рынок решает тот класс общественно необходимых задач, которые не способен решить критический дискурс общественности. Соответственно рынок оказывается не менее важной составной публичной сферы, чем, образно говоря, «агора».

Данное положение вещей – современное по происхождению – радикально отличается от классической античной ситуации полиса, в котором экономический потенциал сосредоточен в домохозяйстве, и тем самым принадлежит к приватной сфере. Данное принципиальное отличие античной и современной экономик необходимо учитывать, экстраполируя взгляды античных авторов – того же Аристотеля – на сферу публичности.

Обобщим предыдущие рассуждения в нескольких методологических требованиях к концепту публичной сферы.

1. Публичное не всегда присуще обществу, а служит его качественной характеристикой. Публичная сфера есть способ самоорганизации лишь тех обществ, краеугольным камнем которых является автономная личность. Соответственно необходимо развести культурный и социальный смысл публичности, поскольку лишь последний позволяет поставить проблему публичной сферы как конститутивного фактора особого – граждански организованного – типа социальности.

2. Публичная сфера не может быть осмыслена и определена отдельно от приватной. Приватное не только определенным образом задает публичное (как и наоборот), но и образует вместе с ним единую структуру социального поля. Приватное есть свое-иное публичного, они не существуют иначе как во взаимоотношенности.

Приватное не тождественно интимному. Для последнего определяющей является закрытость непосредственного переживания – это суть сфера того, что по природе переживается как твое внутреннее, созерцание чего его разрушает. Для первого определяющее значение имеют разделения и установление дистанции; это, скорее, размежевания прав и компетенций внутри социального, а не противопоставление социальному другой реальности, которую маркирует интимное.

3. Основной потестарный эффект публичной сферы состоит в предотвращении трансформации власти в господство. Суверенитет народа с одной стороны, автономия индивида с другой служат тому главными предохранителями. Поэтому существование и функционирование публичной сферы предусматривает автономию лица; только автономные индивиды как участники общества делают возможной публичную сферу. И, в свою очередь, публичная сфера выступает общественно необходимым топосом их конституирования.

4. Публичная сфера, участниками которой являются автономные индивиды, предусматривает право и собственность как основы собственного существования. Человек без прав и без собственности не может быть участником публичной сферы, и сама эта сфера превращается в квазифеномен.

5. Наконец, публичное не может быть понято в полноте своего смысла как политико-дискурсивный феномен. Она предусматривает также регулятивный эффект рыночных отношений.

Квазипубличность тоталитарного общества

Акцентируя необходимые для дальнейшего анализа аспекты публичной сферы, перейдем к особенностям публичного измерения жизни постсоветских обществ. Сначала остановимся на содержании и социальном эффекте советского наследия в публичной сфере, а потом на основе этого рассмотрим специфику украинских социальных констелляций.

Категория «советского» включает в себе две смысловые нагрузки: историческую и социальную. Первая отсылает к конкретике прежнего советского общества, охватывая совокупность связанного с ним исторического опыта. Вторая задает более общий ракурс, обозначая социальный порядок «реального социализма», производный от осуществления тоталитарного коммунистического проекта «на одной шестой части суши». Здесь «советское» скорее общесоциологический концепт, чем историческая реальность. В данном тексте используется преимущественно второе значение.

В контексте рассматриваемой темы на передний план выступает вопрос о том, в каком взаимоотношении находятся публичная сфера, с одной стороны и основы самоорганизации советского общества – с другой. Для публичной сферы в ее социальном, а не культурном смысле решающее значение имеет установление открытого, подконтрольного общественности режима существования власти, которая – в согласии с принципом суверенитета народа – сама является производной от гражданского сообщества. Уже в этом исходном пункте обнаруживается конфликт между принципом публичности и основами советского общества. Ведь в становлении последнего основополагающую роль выполняла отнюдь не воля народа и не принцип народного суверенитета, а коммунистический, тоталитарный проект. «Строить свой социализм большевики могли только в войне с собственным народом»⁹ [5, с. 51]. Именно тоталитарная утопия стала основой советской социальности.

Всецелая, глубокая и беспощадная деструкция публичной и приватной сфер является одной из главных задач конституирования тоталитарного порядка. Человеческую личность надо лишить всякой автономии, чтобы достичь состояния масс, слепо, экстатически и безоговорочно вовлекаемых в тоталитарное движение. «Все, что обеспечивает само-стоятельность человека (не говоря уже о той или иной общественной группе), – писал Ю. Давыдов, – подлежало беспощадному искоренению», вследствие чего достигалось «низведение общества в аморфное, бесструктурное состояние». Публичная сфера служила препятствием абсолютизму тоталитарного господства и выступала его прямым врагом. Ведь ее социальное предназначение состоит в поддержании отношений, свободных от господства, а также установлении режима общественного контроля над государственными институтами. Очевидно, что выполнение подобных функций несовместимо с тоталитарной дей-

ствительностью. Равным образом частная сфера, обеспечивающая автономию индивида, должна была подвергнуться тотальной деструкции.

Место элиминированных сфер публичности и частности занимает всеобъемлющее и всеохватывающее *тоталитарное движение*, которое подчиняет себе каждый атом и вздох социального бытия. Оно создает всеобщую социальную тотальность, совершенно прозрачную перед тоталитарной волей и релевантную диспозициям тоталитарной утопии. По идейному критерию лояльности элиминируется и подавляется любая инаковость. Благодаря этому утверждается гомогенная тотальность как бесспорный принцип существования. Ее, в свою очередь, поддерживает разнообразный мир мифов, фикций и всевластных ритуалов, регламентациям которых подчинена жизнь всей «человеческой массы»¹⁰.

В тоталитарном социуме публичным как будто является всё, поскольку всё без исключения и безусловно все вовлечены во всеобщее движение и действуют исключительно в пространстве всеобщих определяемых целей. Но в действительности возникает квазипубличность, поскольку она лишь открывает все сферы и ситуации жизни перед действием тоталитарного диктатора. Квазипубличность делает все прозрачным перед недремлющим оком оруэлловского «Старшего брата», и одновременно она – сплошной мрак безоговорочной покорности со стороны простых людей. Тоталитарные императивы и технологии изготавливают человека-в-самоотречении, который в отрицании собственной автономии заходит гораздо дальше самого безропотного подданного. Как показал Р. Редлих, проявлениями (и инструментами) этого стали «сознательность» советского человека и присущий его существованию режим активной несвободы¹¹. Можно с полным правом утверждать: публичности в советской действительности было столь же мало, как и частности.

Лишь на финальной стадии кризиса советской системы мы видим становление критического дискурса общественности, которая начинает осваивать общие дела – *res publica*, – и соответственно начинается формирование публичной сферы. Мощным проявлением этого процесса стала так называемая «митинговая демократия» 1989–1991 гг. В условиях общественного кризиса и дистрофичности формальной публичности митинг превратился в реальную инстанцию власти. Кульминацией этой тенденции стал митинг-оборона Белого дома в августе 1991 г. во время путча ГКЧП. Символично, что этой стихийной флуктуацией общественности удалось возлудить над всей советской государственной машиной.

Обращаясь теперь к влиянию советского наследия на социальность после краха тоталитарной утопии, необходимо учесть, что нынешним так называемым постсоветским обществам предшествовал социальный строй в состоянии острого кризиса и внутренней эрозии. Определяющей особенностью последних десятилетий советской истории стало масштабное перерождение тоталитарного порядка. Образно говоря, тоталитарное движение глубоко увязло и остановилось в болоте застоя, довольно быстро разлагаясь как тип социальной динамики. Социальные эффекты, ко-

торые сопровождали это разложение и перерождение тоталитарной утопии, образовали основу советского наследия последующей общественной системе.

Общий характер данного наследия определяют два фундаментальных отчуждения – отчуждение собственности и отчуждение власти. В тесной связи с данными отчуждениями – частично обусловленное ими, частично их обобщающее – находится третье: отчуждение человека от самого себя. Этот третий вид отчуждения подчеркивает человека как самодеятельную личность и резко снижает потенциал его самоопределения.

В постсоветской действительности судьба этих отчуждений оказалась различной в зависимости от несхожих векторов развития стран бывшего СССР. В этом пункте рассуждений мы сосредоточимся прежде всего на украинском социальном опыте, в котором – решимся утверждать – наследие тоталитарного прошлого еще далеко не преодолено, в силу чего весьма самоуверенно при наличном положении дел считать советскую действительность ушедшей в небытие. Она длится и продолжает себя в наличной социальности. Нынешнее украинское общество по своим определяющим социально-экономическим характеристикам остается преимущественно *постсоветским*. Его главные социальные акторы, диспозиции и алгоритмы деятельности, система ценностей и этос тянутся с советских 80-х и сохраняют с ними ощутимую преемственность. Это относится и к типу общества вообще.

В процессе исторических трансформаций разрушению подверглась лишь тоталитарная *утопия*. Но тоталитарная *деформация социальности* полностью сохранила свое влияние. Мы продолжаем жить в совокупном эффекте тоталитарных по происхождению факторов. Это в полной мере касается и наличной украинской действительности. Вместе с тем невозможно понять сегодняшнее украинское общество как простого наследника советского социума. Речь идет скорее о том, что тип социальных отношений и общественной динамики, который вызревал и формировался в позднесоветскую эпоху, получил в период независимости пространство для своего развития.

Теперь от данного общего утверждения перейдем к отслеживанию конкретных эффектов самоорганизации украинского общества в перспективе развития его публичной и частной сфер.

Эффекты корпоратизации общественной жизни

Нынешнее украинское общество не подпадает под определения общеупотребительных и устоявшихся социально-политических типологий. Оно представляет собой специфическую общественную констелляцию, относительно которой необходимо выработать соответствующий ее специфике словарь описания. Простое использование общих формул в этом случае скорее препятствует пониманию,

чем содействует ему. Сказанное в полной мере касается и концептов гражданского общества, публичности и приватности. В деле создания адекватного тезауруса социально-философского исследования нужно опираться не столько на устоявшиеся теоретические презумпции, сколько на аналитически выделенные особенности социальной действительности, которые сложились в Украине после краха «реального социализма».

Вынесем за скобки рассмотрение *генеалогии* наличных социальных форм, чтобы четче зафиксировать результат. Последние 15–20 лет стали периодом интенсивного формирования в Украине *кланово-корпоративного общества*, которое на сегодня достигло стадии окончательной кристаллизации. Политической формой правления, которая соответствует данному типу общества, является *олигархическая республика*, в которой заинтересовано абсолютное большинство украинского политикума всех цветов. Политическая система Украины существует в режиме постоянных узурпаций власти. До 2005 г. это узурпация власти президентом; на основе политреформы – премьером и правительством – недавно появился проект А. Мороза, в соответствии с которым власть узурпирует спикер Верховной Рады и вообще в стране восстанавливается «власть Советов». Но всякий раз власть оказывается в одних и тех же руках украинских владельцев власти, так называемой «элиты». Эта элита, то есть политикум, существует и воссоздается как закрытая властная корпорация, которая присвоила себе государство и все его институты.

Данное решающее обстоятельство – т.е. господство кланово-корпоративной системы – нужно ясно осознать, обсуждая формирование в сегодняшней Украине гражданского общества, и в частности развитие публичной сферы. Кланово-корпоративный порядок является прямой альтернативой и активным отрицанием ценностей и структур гражданского общества. При таких условиях становление гражданского общества – это не только *естественный процесс* преодоления исторического наследия, архаических форм жизни и т.п.; это процесс острой *социальной борьбы* с иным общественным строем, который на сегодня стал доминирующим. Развитие гражданского общества обречено осуществляться в режиме латентного или явного конфликта с уже имеющимся и освоившим общественные отношения кланово-корпоративным порядком.

Ключевой особенностью существования в условиях кланово-корпоративной системы является *удвоение социальной действительности, амбивалентная социальность*. Феномен амбивалентной социальности означает постоянное сосуществование *двух реальностей: видимой и скрытой*. Первая из них охватывает все формы жизни, отношения, нормы, которые имеют статус легальных, подчиненных официальным институциям на основе правоустановлений, вообще публично признанных. Другая охватывает позиции и отношения, основанные на возможностях влияния, которые становятся принадлежностью лица, его символическим и социальным капиталом.

Именно таким, амбивалентным по своему характеру, является нынешнее украинское общество. В нем сосуществуют как параллельные миры два социальных поля: видимая реальность легальных дел, отношений, нормативности, – и скрытая действительность иного по природе поля взаимодействий и социальной динамики. Поэтому первой фундаментальной характеристикой украинской действительности в словаре социального описания является *удвоение социальной реальности* на декларативную (видимую) социальность с одной стороны и скрытую социальность – с другой.

Все, с чем имеет дело человек в амбивалентной социальности, должно постоянно переводиться из режима «вижу» в режим «имею в виду» и наоборот. Лишь прочитывание видимой социальности в соответствии с кодами скрытой реальности позволяет достигать как аутентичного понимания действительности, так и надлежащего эффекта действий в ней. Очевидно, что человек, который принимает амбивалентную социальность, по определению не является гражданином. Он не имеет ни приватной сферы, в которой принадлежит себе; ни публичной сферы, в которой достигает собственных целей во взаимодействии со всеми.

Утверждение об отсутствии публичной и приватной сфер может показаться чрезмерным, но основания для него становятся ясны из анализа скрытой социальности.

Скрытая социальность подчинена принципу корпоративной организации. Участие в корпорации становится универсальным опосредующим звеном любого действия и вообще движения в обществе. Причем вовлечение в корпоративность не ограничивается участием в организационно оформленных, институализированных корпорациях. Не меньшее значение имеют латентные *корпоративные сети*, которые существуют в виде личных отношений и связей. Личные связи составляют основу любой корпорации, но в корпоративных институциях они вписаны в систему корпоративных регламентаций и нормативности. Напротив, сеть личных связей сама по себе не подчинена единой для всех участников нормативности, а состоит из индивидуализированных ситуаций взаимной зависимости, услуг и выгоды.

Конечно, личные связи – в том числе и довольно корыстные – существуют между людьми в любом обществе. Но они образуют корпоративную сеть в том лишь случае, когда подменяют собою *правоустановленные отношения* и нормы. И снова-таки: случаи подмены права личными предпочтениями имеют место в любом обществе. Данное явление получило хорошо известное название «коррупция». Но цивилизованное общество, с присущим ему действенным правопорядком, делает коррупционные предпочтения весьма небезопасными и рискованными. Работает весьма эффективная система их изобличения, а само изобличение влечет за собой установленное законом суровое наказание. Напротив, в корпоративизованном обществе личные предпочтения сами являются *законом существования*. Они суть всеобъемлющая и де-факто общепризнанная система, которая в значительной своей части приобретает даже легальный или полуполегальный характер. Закон тем самым

превращается в простую декларацию. Если изобличения и наказания личных предпочтений все же случаются, они, как правило, не более чем проявления той же корпоративной борьбы.

В корпоративизованном обществе всякое действие, желающее достичь цели, требует опосредования через корпорацию. Таково общее правило корпоративной жизни. Впрочем, учитывая чрезвычайную социальную весомость указанного фактора для нынешней украинской действительности, традиционный смысл понятия корпорации оказывается, по-видимому, недостаточным. Описание дискретных констелляций нормативности, уничтожающих единое правовое поле и само понятие права, требует, возможно, специально выработанного термина. В настоящее время прямой смысл слова *корпорация* отсылает преимущественно к экономическому словарю, но в данном случае речь идет об общесоциальном феномене.

Вопреки устоявшемуся значению слова, корпорация – это прежде всего не общество людей, а *система различений и предпочтений*, благодаря которой возникает разрыв общего нормативного поля. Корпоратизация общественной жизни в конце концов полностью уничтожает право, подменяя его процессом корпоративных состязаний. Итак, корпорацию образуют не люди. Ее создает *акт разрыва* поля общей нормативности. Умножение таких разрывов превращает правовое поле в ткань из сплошных дыр. Но одновременно каждая «дыра» содержит начало собственной нормативности, что делает жизнь в обществе принципиально непредусмотримой и неурегулированной. Человека поглощает *процесс* отстаивания прав, а не цель и не собственно деятельность. В амбивалентной социальности достижение цели уничтожает самую цель. Все силы расходуются на процедуру легализации дела, а не на само дело.

Право оказывается ситуативно разорванным, открытым, отданным на откуп игре корпоративных интересов. Оно вообще не существует за пределами локальной ситуации. Это приводит к тому, что на нормативность невозможно положиться. Деятельность в ее нормативно-правовом измерении превращается в сплошную импровизацию, которой соответствует фаталистическое расположение духа заложника обстоятельств. Ведь если норма не предвидима, приходится полагаться на судьбу, на случай, поскольку из самого себя ты не можешь быть «правильным», как ни старайся. Кантовский категорический императив здесь радикально невозможен.

Другая стратегия действия в амбивалентной социальности состоит в привлечении корпоративных схем влияния. Данный путь оказывается наиболее эффективным. Поскольку же дело может эффективно осуществляться лишь в границах корпорации, обеспечение его успеха требует создания корпоративной связи между актором и инстанцией видимой нормативности. Скрытая процедура «установления связи», обеспечивающей предпочтения – то есть фактически образование корпорации, – составляет основу легализации дела и повышает его шансы на успех.

Вместе с тем вследствие амбивалентности социальной реальности возникает и альтернативная стратегия дел, которая состоит в избегании видимой социаль-

ности (не-легализация себя), благодаря чему актер обеспечивает себя от встречи со скрытой социальностью и ее корпоративными требованиями. Данная стратегия лежит в основе возникновения «теневой экономики» и вообще «теневой жизни», которые нельзя отождествлять со скрытой социальностью. Их поля пересекаются лишь частично и большей частью ситуативно, а не сущностно. «Теневые» формы жизни – это ответ украинского человека на скрытую социальность. Она является той «дулей в кармане», которая служит в условиях дискретного корпоративного поля не менее грозным оружием, чем в свое время «бульжник – оружие пролетариата».

Почему теневая жизнь имеет довольно сильный эффект как противодействие корпоративности? Самым уязвимым местом каждой отдельной корпорации является ее непреодолимая частичность, невозможность дорасти себя до универсализма хотя бы в некотором измерении. Корпорация всегда локальна, и так же локальны ее влияния, что открывает возможность их избегать.

Общество, пораженное корпоративизмом, крайне трудно преобразовать. Для внешнего действия-трансформации оно почти непреодолимо. Но, одновременно, в нем – внутри – вполне возможно и даже относительно легко достичь свободы от конкретной, этой вот, корпоративной зависимости. Такую возможность предоставляет как «отход в тень», так и – главное – ставка на другую корпорацию, к которой можно не только приобщиться, а и самому ее инициировать. Правда, для общества в целом это имеет фатальные последствия. Ведь вместо того, чтобы создавать продуктивные предприятия во всех областях жизни, энергия человеческой инициативы и изобретательности уходит в песок создания корпоративных сетей. Которые, в конце концов, являются лишь способом обустройства человеческих отношений, а не способом создания материальных основ существования. Значение не способно заменить вещь. Символический капитал суть ничто без материального тела цивилизации.

Человек корпоративизованного общества

Остался последний сюжет. Господство скрытой социальности и принципа корпоративности как основы организации общества находит себе поддержку и опору в положении украинского человека. В постсоветской общественной констелляции его состояние определяется тройкой обездоленностью, которой полностью разрушена и перечеркнута автономия личности. Это, во-первых, обездоленность в правах, во-вторых, обездоленность в собственности, в-третьих, витальная обездоленность.

Сжатые рамки статьи не позволяют разворачивать данный сюжет, поэтому лишь проясним, что имеется в виду. Обездоленность в правах означает правовую незащищенность лица, постоянное безнаказанное нарушение его прав, которое стало

нормой жизни и исходит преимущественно от государственных инстанций и административных органов. А также правовую несостоятельность самого человека, который не умеет и не способен быть участником права.

Обездоленность в собственности означает как отсутствие у лица определенного достатка (имущества, доходов), так и негарантированность и нестабильность использования имеющейся собственности, даже весьма большой. О судьбе украинских капиталов можно было бы написать захватывающий триллер.

Наконец, в силу ряда причин как естественного и органического, так и социального и даже культурного порядка жизненные ресурсы украинского человека – его здоровье, тонус, психическое состояние и т.п. – являются предельно ограниченными. Небольшие сами по себе, эти ресурсы связаны напряжением противоречивого, нестабильного, изнурительного существования. Критический витальный минимум не позволяет человеку быть энергичным участником общества и гражданином. Вследствие этого общественная динамика, в частности процесс развития публичной сферы, лишается одного из своих основных источников.

Общество в контексте глобальных влияний

Как можно определить перспективу амбивалентной социальности? Примат и определяющий характер скрытой (т.е. корпоративизованной) социальности относительно видимой делают общество неустоявшимся, уязвимым, мало пригодным к продуктивному самоопределению и динамичному развитию на собственных началах.

Кланово-корпоративное общество не способно существовать как мощная продуктивная целостность. Корпоративные констелляции постоянно разрушают его изнутри. Сами по себе корпорации могут быть вполне конструктивным принципом общественной интеграции. История предоставляет немало примеров этому. Но корпоративность имеет положительный эффект только при двух условиях: во-первых, когда рядом с ней существуют мощные более общие начала социальной консолидации; во-вторых, когда корпоративная организация общества является всецело легальной и находит свое отражение в принятом обществом правовом порядке. В Украине всеобщие начала общественной консолидации или отсутствуют, или весьма слабы. Так же мало выдерживается второе условие – корпоративный принцип организации действует совершенно скрытым (хотя и хорошо всем известным) образом. Соответственно на первый план в обеспечении бытия украинского общества как целого выходят не внутренние, а внешние – геополитические – факторы интеграции.

Решимся предположить, что, предоставленное исключительно стихии внутренних спонтанных сил, украинское общество уже утратило бы политическую независимость (которая, впрочем, и на сегодня остается скорее номинальной – состо-

янием де-юре, а не де-факто). Своим существованием как целостности оно обязано не столько внутренним силам консолидации и солидарности, сколько внешним геополитическим факторам влияния.

Среди этих геополитических сил видное место занимают следующие:

– мировой рынок, прежде всего как источник прибыли для украинской крупной промышленности (в первую очередь металлургической и химической) и упрочения экономических и социальных позиций финансово-промышленной олигархии;

– геополитические интересы евроатлантического человечества, общим знаменателем которых является удержание Украины в границах европейски цивилизованного порядка;

– геополитические стремления России, которые колеблются в диапазоне от откровенного имперского реваншизма к прагматической политике добрососедства;

– трудовая эмиграция, вследствие которой инициативная часть населения, способная в границах страны служить опорой рыночных и демократических трансформаций, практически исключена из общественной жизни. Ее труд приумножает капитал страны, который в конце концов использует для стабилизации существующего кланово-корпоративного порядка;

– евростандарт, который предлагает формы и качество жизни, служащие постоянным вызовом украинской действительности;

– роль Украины как существенного естественного и антропологического ресурса в глобальных экономических и социально-политических состязаниях.

Перечисленные геополитические факторы определяют существование украинского общества как целого в большей мере, чем внутренние основы интеграции. Данная констатация заключает в себе приговор украинскому политикому и так называемой «элите» и одновременно фиксирует слабость и аморфность собственно украинского общества, которое в настоящее время сделало лишь первые шаги в своем становлении. Это период, который заключает в себе немалый риск, но и небеспочвенные надежды на оптимизацию социальной действительности. Как и во многих ситуациях индивидуальной или исторической жизни, здесь последнее слово принадлежит времени.

Примечания

¹ Арндт Х. Становище людини. Л.: Літопис, 1999. С. 38–42.

² Аристотель. Политика // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т.4. С. 238; Пол. 1255 b 15.

³ Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2003. С. 27.

⁴ Арндт Х. Ук.соч. С. 38.

⁵ Там же. С. 52.

⁶ Сеннет Р. Ук. соч. С. 60, 77.

⁷ Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М.: Наука, 1992. С. 49, 52.

Феномен кланово-корпоративного общества

- ⁸ Розанвалон П. Утопічний капіталізм: історія ідеї ринку. К.: КМ Академія, 2006. С. 5–6.
- ⁹ Давыдов Ю. Н. Тоталитаризм и бюрократия // Драма обновления. М.: Прогресс, 1990. С. 224.
- ¹⁰ Редлих Р. Сталинщина как духовный феномен. Франкфурт, 1971. С. 58–59.
- ¹¹ Там же. С. 64, 66–68.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ПОГРАНИЧЬЯ: УКРАИНСКИЙ ВАРИАНТ ИДЕИ ФЕДЕРАЛИЗМА

Восточноевропейское Пограничье представляет огромный интерес для проведенных историко-культурных, социально-политических, этнопсихологических исследований. В пределах Европы сложно найти подобную зону, где столь отчетливо прослеживался бы цивилизационный излом и диффузное взаимопроникновение культур и традиций¹.

Эта статья посвящена рассмотрению идеи федерализма в украинской политико-правовой традиции в качестве отражения специфики правосознания Пограничья. Исторические условия развития украинской нации, особенности понимания природы государства и соответствующих социальных практик привели к формированию специфического понимания идеи федерализма. Она развивается как сочетание двух ключевых принципов правосознания Пограничья: негативного отношения к государству (структуре, ограничивающей свободу (вольность) человека) и самоорганизации населения в решении важнейших вопросов экономического, военного или религиозного характера. В общеевропейском контексте мы можем найти аналогию подобного отношения к проблеме определения задач государства – английский либерализм XVII в. По сути, либерализм стал основой современной политико-правовой теории и государственной практики, а рецепция либеральных идей – естественная закономерность. Примечательным являются совершенно нестандартные для Европы условия применения либеральных идей и их интерпретация, что, в свою очередь, породило правовые формы решения национального вопроса и федеративного государственного устройства.

В книге Зенона Когуца «Корни идентичности» была высказана оценка природы «малороссийской идентичности» как про-

дукта соединения «многих идентичностей и лояльностей»². Убедительная аргументация, приведенная данным автором, заставляет нас согласиться с этой оценкой и принять ее в качестве исходного тезиса наших рассуждений. Видение собственной государственности в истории украинской политико-правовой мысли сформировалось довольно сложно и болезненно. Вспомним, что правовые акты, в которых рассматривается судьба Украины с XVII – начала XX в., не рассматривают ее как государственное образование. Вплоть до Четвертого универсала Центральной Рады мы встречаем лишь одно определение Украины: «Украинские земли», т.е. сугубо территориальное значение термина. Предположим, что определение в духе «земля – держава» дано по аналогии с Германией (land). В таком случае довольно сложно интерпретировать множественное число слова «земли», поскольку «украинские **земли**» не имели такого опыта равноценного государственного существования, как немецкие.

Однако, поскольку формула «украинские земли» довольно часто встречается в правовых актах, то это требует объяснения. Тем более что смысл этого понятия изменялся. Для средневековья – это удельные княжества юга и юго-запада Руси (Киевское, Черниговское, Новгород-Северское, Галицко-Волинское княжества). Для раннего Нового времени – это юго-восточные воеводства Речи Посполитой и колонизированные территории Дикого Поля (Южное Поднепровье и Слобожанщина). Для XVIII в. – это Гетманщина, Запорожье, Слобожанщина, Польская Украина и Новороссия. Для XX в. – российские губернии УНР и со временем советская Украина, ЗУНР и Закарпатская Украина. Каждая из земель имеет свою специфику – историческую и культурную, но не каждая обладает хотя бы десятилетним опытом самостоятельного существования в качестве государственной территориальной единицы. Фактически полностью лишены такого опыта западные украинские земли, где самостоятельные или автономные национальные территориальные образования до XX в. отсутствовали, а за всю историю XX в. не продержались и пяти лет. Эти территории можно проследить этнографически, но практически нельзя ассоциировать ни с одной административно-территориальной единицей.

В этом плане удачнее сложилась историческая судьба Восточной Украины, где был опыт Гетманщины, Запорожской Сечи, Слободских полков, которые более века просуществовали в составе Российского государства как автономные области. Да и опыт УССР имеет огромное историческое значение в плане государственного строительства.

Обратиться к исследованию идеи федерализма в истории украинской политико-правовой мысли заставляют не столько частые современные политические спекуляции на тему возможности федеративного устройства Украины, сколько желание осмыслить специфику понимания природы государства, которая рождена в условиях Пограничья.

Западная политико-правовая мысль разрабатывала идею федеративного государственного устройства еще со времен первых буржуазных революций. В модерной истории классикой федеративной практики стали Соединенные Штаты

Америки после принятия Конституции 1787 г., Швейцарская федерация кантонов, которая приобрела современный вид с 1848 г., Канада с 1867 г.

Современные мировые тенденции развития межгосударственных отношений свидетельствуют об изменениях в представлениях о характере построения государства и межгосударственных отношений. По определению Рональда Л. Уоттса, «новая парадигма должна привести нас от мира суверенных наций-государств в мир ограниченного государственного суверенитета и развития межгосударственных связей преимущественно федеративного характера»³. Современная идея федерализма исходит из принципиально противоположных представлений о целях федеративного устройства, которые существовали даже в начале XX ст. Примером этому может служить Евросоюз. Для Украины этап изменения парадигмы представлений о характере межгосударственных отношений, который переживает Европа, – это перспектива ближайших лет.

Надо различать две разные концепции федерализма: федерализм, который возникает в полиэтническом государственном образовании с элементами жесткой централизации власти, основан на идее обособления территории, и федерализм, который порождается необходимостью защиты общих интересов малых этнополитических социальных образований и связан с процессами объединения в единое государство самостоятельных до этого держав.

Первая версия федерализма соответствует эпохе борьбы за расширение прав и свобод личности. Главная цель такого федерализма – сохранить уникальность каждого культурно-политического сообщества. Это «федерализм уникального», который генетически близок идее защиты индивидуальных прав и свобод. Это первый шаг генерализации идеи прав личности, который связан с утверждением прав и свобод наций⁴ как выразителя особого, индивидуального, неповторимого менталитета, образа жизни, культурной традиции, социального устройства, правового сознания и т.п.

Главная идея этой версии федерализма – защита прав меньшинств. Либерализм XIX в. породил формулу организации государственного устройства, которая отвечает требованиям обеспечения индивидуальной свободы: основание для свободы личности – автономия национальной группы. Этот принцип одинаково действовал в политической практике почти всех стран Европы в XIX ст. Даже Англия во второй половине XIX ст. столкнулась с проблемой обсуждения культурно-политической автономии Уэльса. Хоумрул для этнических групп, которые должны были бы раствориться в единой нации – учредительнице всемирной колониальной империи стал проблемой номер один.

Острота этой же проблемы в других великих империях Европы усиливалась системой взаимоотношений наций правящих и наций подчиненных. Австрия и Россия столкнулись во второй половине XIX ст. с национальным вопросом на уровне требований конституционного ограничения прав монарха, реформы государственного устройства, которая предусматривала федеральную организацию государства.

Вторая версия федерализма исходит из противоположной позиции. Процессы глобализации экономических, культурных, политических отношений приводят к необходимости объединения малых государственных образований в федерации ради преодоления изоляции и расширения возможностей каждого члена общества в реализации своих прав на пользование достижениями цивилизации. В русле этого течения федерализма прослеживается еще одна тенденция – это снятие проблем больших социально-политических объединений, которые ограничивают права территориальных общин. Способ решения проблемы – передача части властных полномочий на уровень местного самоуправления. Федерализация такого рода работает по принципу распыления больших социальных организмов. Право регулировать отношения регионального характера передается местным общинам. Таким образом, устраняются проблемы наций-государств, которые связаны с желанием одновременно быть «глобальным потребителем» и не терять местной самобытности.

В украинской национальной политико-правовой традиции идея федерализма возникла как результат последовательного развития либеральной идеи, которая предполагала создание новой системы организации общественных отношений, гарантировавшей устранение ограничений свободы личности.

Спецификой развития правовой концепции либерализма украинской политико-правовой мыслью стало объединение идеи снятия ограничений свободы прав личности и идеи национального самоопределения. Поскольку национальное самоопределение в контексте либеральной идеологии приобрело черты обобщения идеи прав личности, а сама нация рассматривалась как субъект политических отношений, то можно сказать, что либеральная концепция государственного устройства также была переработана представителями украинской политико-правовой мысли прошлых двух столетий с существенными дополнениями. Либеральное требование конституционализма дополнилось требованиями обеспечения прав и свобод каждой нации и организации государственного устройства на принципах федерализма.

Концепция федерализма генетически вытекает из исторических условий развития украинской государственности. В украинской политической практике широко использовались средства федеративной политики. Цель их использования – сохранение национальной уникальности. Украинское государство во времена Б. Хмельницкого, И. Выговского дает нам пример поиска модели конфедерации в рамках либо Речи Посполитой, либо – Российского государства.

Идея федеративного устройства России распространяется среди членов дворянских революционных обществ в начале XIX столетия в русле развития либеральной идеологии отечественной политико-правовой мыслью. В 1823 г. на юге России возникло Общество объединенных славян, которое одной из целей своей деятельности видело создание федерации славянских народов. В Конституции Никиты Муравьева мы также находим положение о федеративном устройстве России.

Украинская политико-правовая традиция принимает идею федерального государственного устройства в пределах первой версии федерализма как предоставления нациям права государственно-политической автономии в рамках реформированной Российской империи как федерации народов. Аналогичное представление о вариантах решения этой проблемы укоренилось и в западноукраинских землях, но в качестве государственной базы федерации виделась Австро-Венгерская империя.

Идеалом государства, по определению программного документа Кирилло-Мефодиевского общества «Книги бытия Украинского народа», была Славянская федерация, в рамках которой должна быть проведена широкая демократизация общества. Соединение славянских народов в федерацию, подобную Соединенным Штатам Америки, давало возможность, с одной стороны, отстаивать общие государственные интересы, а с другой – сохранить государственную и этнокультурную самостоятельность.

Исключительное положение Украины в Славянской федерации обуславливалось наличием двух украинских штатов: Восточного и Западного. Примечательно, что идея соборности Украины приобрела вид двух штатов в единой федерации. Таким образом, две Украины – это не предмет дискуссии в XIX в., а реальность, отраженная в проекте государственного устройства. Мы можем предположить, что на формирование этого положения в документах общества повлияли, с одной стороны, четкое представление об особенностях национальных групп украинства двух регионов Украины (которые формировались под влиянием разных культурных миров славянской цивилизации – православной и греко-католической), с другой стороны, – следование принципу либеральной идеологии и желание сохранить поле выбора культурной идентичности.

П.А. Кулиш, обосновывая культурническую природу украинства, развил теорию великорусской государственности, согласно которой россияне имели чрезвычайно высокие политические способности создателей государства, что не присуще украинцам, о чем свидетельствует вся их несчастливая история. Поэтому, заключает П.А. Кулиш, было бы естественным и даже полезным оставаться в составе Российской империи, пользуясь при этом ее силой, безопасностью и престижем. Тем не менее в культурном отношении украинцы выступают своеобразным двигателем культурных процессов для россиян. Таким образом, П.А. Кулиш предложил идею национального симбиоза, который носил бы характер цивилизационной компенсаторности. По сути, концепция П.А. Кулиша идет в русле традиционного европейского либерализма в духе Т. Гоббса. Отказ граждан от части своих прав компенсировался защитой и гарантией существования. Украинцы, оставляя политическую сферу для россиян, получают определенную компенсацию в сфере развития культуры. Таким образом, многонациональное государство дает возможность выбора определенных форм компенсации за уступки в политическом равновесии.

Близка по духу позиции П.А. Кулиша мысль О.Д. Градовского, который в работе «Основы русского государственного права» доказывал, что все множество

факторов исторического процесса может быть очерчено как своеобразие национальных особенностей. Государственно-правовые институты – это производные от национальных особенностей культуры в ее широчайшем понимании⁵. По убеждению О.Д. Градовского, в успехах каждого государства надо видеть результат определенного сожителства, государственного взаимного развития народов. «Государство есть явление историческое, т.е. подчиненное условиям пространства и времени. От этих условий зависит практическое выражение его государственной идеи, т.е. каждая форма государства... Общество XIX столетия обращает внимание не столько на форму государства, как на задачу его деятельности и способы его реализации»⁶.

Реализация гражданских свобод непосредственно связана с идеей национально-культурного самоопределения. Обеспечить его можно в условиях федерации народов. После очевидных успехов реформ в Австро-Венгрии М.П. Драгоманов усилил в своих работах развитие темы либерального федерализма. Его государственным идеалом (как некогда идеалом кирилло-мефодиевцев) было создание украинского государства, демократической республики в составе славянской федерации и исключение любых ограничений свободы слова, организаций, вероисповедания.

Со временем чрезвычайные исторические обстоятельства заставили украинских приверженцев либерализма отступить от идеи федеративного будущего славян и взять курс на построение независимого украинского государства.

В работах М.П. Драгоманова заметно влияние киевской правовой школы второй половины XIX столетия. Его видение федерации славянских народов стало идеалом политиков почти до провозглашения Четвертого универсала Центральной Рады. Члены такого государства-нации персонифицируются и приобретают признаки организаций. Нация становится субъектом правовых отношений в федерации.

Народ должен иметь самостоятельную политическую организацию, которая стала бы основанием его государственной жизни, – эта максима стала программой деятельности либералов в 90-х гг. XIX в. Она генетически связана с развитием в киевской правовой школе идеи государства как субъекта права. М.И. Палиенко, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский воспринимали государство как юридическое лицо, а органы государства как его представителей. В их работах были обоснованы положения о государственной власти как явлении коллективно-психологического характера. Государство всегда, по мнению представителей этой школы, демонстрирует определенную правовую организацию общественных отношений.

М.И. Палиенко настаивал на том, что государство является «юридическим моральным лицом». В работе «Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое значение» он отмечает, что государство носит признаки организации суверенных союзов. Государственная власть основана на психологических особенностях принятия индивидами ситуации подчинения и управления. Психические особенности создающих союз определяют его характер. Таким образом, государ-

ство превращается в систему суверенных союзов, своеобразный гибрид гражданского общества и федерации.

В письме к И. Франко М. Драгоманов отмечал: «Принципы современной всемирной цивилизации, наиболее соответствующие прогрессу: либерализм в его самой последовательной форме, федерализм – в делах государственных». Придерживаясь федералистской позиции, М.П. Драгоманов не выступал за обособление Украины от России. Но, опасаясь даже потенциальной угрозы ограничения прав личности со стороны сильного централизованного государства, он считал необходимым реорганизовать Российскую империю в свободную конфедерацию автономных регионов (созданных не обязательно на этнических началах), в которой решения принимались бы прежде всего на местном уровне. Со временем идеи М.П. Драгоманова переняли Михаил Павлик, Иван Франко, Богдан Кистяковский.

Украинское национальное движение радикально изменилось в конце XIX столетия, когда стало понятно, что аполитичность, культурничество и пренебрежение социально-экономической сферой губительны для национального движения.

В конце 1895 г. Украинская радикальная партия официально приняла программу борьбы за политическую независимость украинского народа и в качестве первого шага выдвинула требование раздела Галиции на украинскую и польскую части. Однако идея будущего Украины как части какой-либо федерации была стойким убеждением большинства приверженцев национального движения – как на востоке, так и на западе Украины.

Программные положения УРП зафиксировали требования создания национальной автономии: «В делах политических хотим полной свободы личности, слова, собраний, обществ, печати, автономии общин, уездов, краев в делах, которые только их касаются... Господство во внутренней политике Австрии настоящего автономизма, который бы демонстрировал силу монархии в наилучшем культурном и национальном процветании провинций и народностей»⁷.

Аналогичной была позиция представителей украинских партий в российской Государственной думе. Образованная в I Думе украинская община открыто заявила на страницах «Украинского вестника» о своей цели – достижении автономии Украины. М.С. Грушевским была подготовлена специальная «Декларация автономии Украины», основные позиции которой изложены в статье «Наши требования». Главными требованиями «Декларации» стали: федеральное устройство государства, национально-территориальная автономия, созыв Украинского сейма с законодательными функциями, издание закона о национальных языках.

Но решение национального вопроса в I и II Думе было омрачено проблемами социального и политического характера. Как отмечал в своей статье Н. Долинский, «депутаты от Украины явились в Думу с наказом – добыть землю и волю». Идеи автономии на украинских землях необходимо было еще культивировать в широких народных массах. Эта мысль Н. Долинского находит отражение в материалах наказов сельских собраний избирателей, которые были проанализированы В.И. Ми-

хайловой. Так, из 245 наказов лишь в шести мы находим требование автономии Украины. Г. Гредескул, депутат от Харькова, отмечал, что отложение национального вопроса было сделано по согласию всех национально ориентированных групп и фракций, поскольку депутаты считали его второстепенным по отношению к другим «нуждам русской земли».

По мнению Г. Борковского, изложенному в работе «Порабощенные народы царской России: их национальное освобождение и автономические устремления», почти все партии I и II Думы принципиально высказались против национального угнетения в России. Рассмотрение национального вопроса возникало спонтанно и было связано с еврейской проблемой. Так, из 20 выступлений на заседаниях I Думы, которые непосредственно касались национального вопроса, 10 были посвящены проблеме еврейских погромов.

На страницах «Украинского вестника» представители украинской интеллигенции постоянно настаивали на решении национального вопроса в виде предоставления автономии Украине в пределах России. Доминирующая тема автономистов – предоставление русскому обществу широких демократических свобод и изменение государственного устройства на конституционно-федеративный. С самого начала своей политической деятельности в Думе представители от украинских земель заявляли о неразрывности курса на демократические изменения в России с курсом на автономизацию Украины.

После формирования украинской фракции во II Думе и программного оформления требований украинских депутатов решения национального вопроса были детально отработаны принципы и структура федеративного устройства России, права национально-территориальных автономий. В газете «Товарищ» от 1 июля 1907 г. было опубликовано заявление депутатов фракции, в котором выдвигалось требование «решительной и бесповоротной реорганизации управления в смысле национальной и территориальной автономии с предоставлением самоопределения и самоуправления». Требования децентрализации и автономии отразили не только видение вариантов выхода из революционного кризиса, но и продемонстрировали традиционное для украинцев представление о форме существования нации в многонациональном государстве. Условия Пограничья раскрывали все выгоды существования Украины в виде автономной части крупного государства, но не независимой державы. Независимость представлялась излишней, если будут гарантированы либеральные права.

М.С. Грушевский в статье «Национальный вопрос и автономия» изложил позицию украинской фракции по вопросу национального самоопределения: «Один из первых основных законов нового порядка должен установить как общую норму, – самоуправление национальных территорий везде, где известная национальность является преобладающей на некоторой сплошной территории, определяемой национальными границами достаточными для организации на ней областного самоуправления. Другой основной закон должен определить права национальных эле-

ментов, составляющих меньшинство населения или заселяющих территории со смешанным населением, не поддающиеся размежеванию»⁸. Как видно из приведенного фрагмента статьи, М.С. Грушевский воспринимал пребывание Украины в составе Российской империи примерно так же, как его видели представители казацкой старшины в XVII–XVIII вв.: оставьте нам наши права и вольности (самоуправление), а принадлежность к российской державе нас не обременит.

Проблема национальных прав украинцев была рассмотрена в рамках законопроекта, который был предложен украинской фракцией относительно внедрения национальной школы. Традиционные требования украинских либералов развития национальной культуры и образования приобрели вид законопроекта, вынесенного на рассмотрение II Думы.

III Дума значительно отклонилась от курса децентрализации власти и решения национального вопроса. Товарищество украинских поступовцев (ТУП) как выразитель национальной идеи в Думе старалось наладить сотрудничество с кадетской фракцией. Попытка возобновить вопрос о национальной школе в законопроекте 37 депутатов в 1908 г. была заблокирована правым крылом Думы.

В IV Думе украинские либералы достигли договоренности с партией кадетов в лоббировании украинских интересов. Так, благодаря поддержке кадетов состоялась аудиенция украинской делегации у министра образования графа Игнатьева. Идея национальной школы приобрела перспективы практического воплощения.

В декабре 1916 г. ТУП опубликовал декларацию под названием «Наша позиция», в которой требования федеративного устройства России, автономии Украины, реализации прав на национальную школу прозвучали более системно и резко. Однако ТУП в этой декларации подтвердил свое отношение не только к идее федеративного устройства, но и проблеме существования украинской нации в составе двух разных держав: «Мы, украинские поступовцы, отстаиваем автономное государственное устройство тех держав, с которыми нас соединила историческая судьба; государство мы понимаем как свободный союз равноправных и равноценных наций, среди которых не должно быть ни угнетателей, ни угнетаемых. Итак, боролась мы и будем бороться за демократическую автономию Украины, гарантированную федерацией свободных народов... Идя к указанной цели, ищем себе союзников... которые поддержат основное наше требование – автономно-федеративное устройство государственной организации на демократических основаниях»⁹. Таким образом, даже накануне распада империй в условиях их жесточайшего военного противостояния политическое заявление ТУП несет на себе отпечаток сознания нации «междержавья». Для украинской политико-правовой мысли проще было изменить представление о природе государства, чем разработать стратегию построения независимого национального украинского государства.

В политических заявлениях украинских деятелей начала XX столетия ощущается сильное влияние этико-социологического подхода, который укоренился в правовой науке начала столетия благодаря работам Е.В. Спекторского. В теории го-

сударства Е.В. Спекторского идея самоуправления как идея широкой децентрализации управления обществом выглядела преждевременной для российского общества, но в полной мере отображала перспективу развития представлений о формировании гражданского общества и его роль в государстве будущего.

По мнению Е.В. Спекторского, государство должно рассматриваться как образование, которое основывается на моральной природе. Именно с ней связано существование идеи социальной справедливости. Идеи и убеждения сообщества становятся основой для функционирования государства. По сути, если к данной формуле государства как неопределенной идее сообщества прибавить предикат «национальная», то можно утверждать, что такая позиция является теоретико-правовым обоснованием возникновения национального государства, а принципы федерализма есть не что иное, как процесс децентрализации власти, перекладывание властных функций на «плечи» гражданского общества, развитие самоорганизации граждан.

Е.В. Спекторский затронул главную проблему либерального социального порядка – необходимость ограничения государства со стороны общества и необходимость ограничения прав личности со стороны общества и государства. Но в качестве механизма принуждения в данной концепции выступают этические убеждения¹⁰.

В.В. Ивановский предложил расширить сферу этической концепции государства и перейти к плюралистической системе государственного устройства, которая выражена в определении государства как общественного союза. По сути, исследователь продолжает рассмотрение проблемы, рожденной либеральной идеологией, – гражданское общество и его функция контроля над государственной властью. Государство представляется как общественный союз, который объединяет разные социальные, культурные, экономические союзы граждан и выступает в роли общего координатора межсоюзных отношений.

Взгляды В.В. Ивановского перекликаются с принципиальными программными требованиями ТУП. Интересным в концепции В.В. Ивановского является тезис о потере территориального элемента государства, который не имеет принципиального значения при определении государства как социального союза. Власть присуща не только территориальному союзу, но и любому союзу. Территориальная самостоятельность есть лишь результат самостоятельности власти, которая функционирует в каждом государственном союзе. То есть она становится следствием, а не условием существования государственного союза. Можно предположить, что формирование такой позиции стало продуктом осмысления украинского национального опыта, для которого столетия отсутствия автономной территории заканчивались перспективой обретения территориальной автономии.

Интересной выглядит и концепция персональной автономии, которая активно обсуждалась в Австрии как вариант решения национального вопроса и создания федеративного устройства нового типа. Идея заключалась в том, что каждый граж-

данин имеет право двойной идентичности – государственной в территориальной сфере и национальной – в культурной. Все проблемы, связанные с решением вопросов культурной сферы, должны рассматриваться национальными органами. Национальные органы создавались членами национальной общины независимо от их местожительства, т.е. имели общегосударственный характер. Территориальная община должна решать вопрос местного самоуправления.

Элементы концепции персональной автономии нашли свое отображение во многих программных положениях украинских партий рубежа XIX–XX вв., зафиксированы они и в программе Австрийской социал-демократической партии 1898 г. Но национально-культурная автономия была осуществлена не в Австро-Венгрии и не в национальных государствах, возникших на ее территории в начале XX в., а в Украине. Третий Универсал декларировал национально-персональную автономию, а вместе с Четвертым Универсалом был принят соответствующий закон. Принципы персональной автономии были положены в основу решения национального вопроса в УНР и нашли свое отображение в Конституции УНР в статьях 6, 69–78.

В соответствии с положениями Конституции УНР каждая нация в пределах УНР имеет право на национально-персональную автономию, т.е. на самостоятельную организацию своей национальной жизни. Провозглашалось создание Национального союза, власть которого распространялась на всех его членов независимо от их местожительства в Украине.

Либеральные ценности требуют как индивидуальной свободы, так и поликультурного контекста, который обеспечивает индивидуальный выбор человека. В Украине либеральные идеи приобрели культурологическую окраску. Политические, социальные, экономические права личности связывали с правом национальную идентификацию. Если в XIX ст. украинский национализм исповедовал эту идею с позиций культуры национального меньшинства в многонациональных государствах, то со временем политическая практика показала, что свобода национального самоопределения, культурно-национальной идентичности в равной степени касается и национальных государств, и культур национального большинства. В этом лучше всего убеждают нас положение и Устав о государственном устройстве, правах и вольностях УНР и Законы о временном государственном устройстве Украины.

Статья 69 Устава о государственном устройстве, правах и вольностях УНР провозглашает: «Каждая из населяющих Украину наций имеет право в пределах УНР на национально-персональную автономию, право на самостоятельное устройство своей национальной жизни, которая осуществляется через органы Национального Союза, власть которого распространяется на всех его членов, независимо от места их поселения на территории УНР. Это есть неотъемлемое право наций, и ни одна из них не может быть лишена этого права или ограничена в нем»¹¹.

Принимая во внимание эти положения Конституции УНР, можно утверждать, что они близки по духу либеральным идеям персональной автономии. Государство как общественный союз провозглашено Уставом о государственном устрой-

стве УНР. Тем не менее политическая практика 1916–1918 гг. продемонстрировала эволюцию взглядов приверженцев федерализма на соотношение прав государства и прав личности на национально-культурное самоопределение.

От идеи персональной автономии, культурно-территориальной автономии украинские интеллектуалы пришли к идее национального суверенитета. Еще в работах В.В. Ивановского говорилось о суверенитете как свойстве власти, которая свидетельствует о зрелости определенного общественного союза. Появление в национальном движении требований территориальной автономии свидетельствовало о качественных изменениях национальной самоидентификации и укреплении идеи доминанты прав гражданского союза в государстве. Государство национальное практически превратилось в либеральную модель социального союза: совокупность лиц, социальных групп, объединенных верховной властью, но общественные группы образуются не под влиянием государства, а являются результатом процесса деятельности гражданского общества.

Идея автономии и федерализма отталкивается от либеральной идеи сообщества как субъекта права. Как во времена Просвещения нация приобрела признаки субъекта международной политики, так в XIX ст. после волны национально-освободительного движения в Австро-Венгрии и России она приобрела признаки субъекта права. К этой же мысли склонялся и М.М. Ковалевский в лекциях по теории государства.

Формирование государства, по М.М. Ковалевскому, является процессом историческим, который предусматривает изменение нескольких форм общности: народ – земля – политическое образование – всемирная федерация. Базовым положением государственного устройства в данной схеме есть преодоление противоречия между равенством и свободой. Равенство предусматривает отречение от идеи жизни за счет покорения другого, т.е. того принципа исторического социального развития, на котором настаивали приверженцы социального дарвинизма. По сути, М.М. Ковалевский предложил идею солидарности как своеобразный моральный принцип саморегламентации определенного сообщества или союза сообществ.

Основываясь на концепции М.М. Ковалевского, можно утверждать, что Украина времен революций 1917 г. перешла к уровню «земля – политическое образование». Территориальная автономия, а за ней и требования создать собственное суверенное государство – это шаг развития идеи «солидарности». «Солидарность» с другими нациями в праве на самоопределение, на собственную форму политического образования. «Солидарность», по М.М. Ковалевскому, в виде социальных институтов, общественных порядков, политической динамики изменений довольно ярко находит свой отголосок в исторических процессах и политической практике 1917–1918 гг.

Концепция «солидарности» как неотъемлемого элемента прогресса и движущей силы преобразования государственного устройства была подхвачена в работах Б.А. Кистяковского. Государственная власть в конституционном государстве «сцеплена с народом», они солидаризируются в достижении основной цели соци-

альной жизни – обеспечить полноту прав и свобод личности. Конституционное государство – «это пример солидарности власти и народа».

Народное представительство в конституционном государстве дает возможность «поставить государство на крепкую почву единства социального», но в этом социальном единстве должно найти свое место и национальное сообщество. Народное представительство объединено с идеей национального представительства, по мнению Б.А. Кистяковского, создает условия для общественной солидарности. Таким образом, идея личной автономии предстает как вариант снятия национального конфликта, достижения социальной солидарности.

Позиции М.П. Драгоманова, М.С. Грушевского и Б.А. Кистяковского относительно национального вопроса были очень близки, но отличались общей диалектикой соотношения общечеловеческого и национального. Это сказалось и на решении вопроса о национальной автономии и федерации как государственного устройства, которое соответствует принципу свободного выбора гражданином принадлежности к любой национальной общности. При условиях постепенных социально-политических преобразований проблемы решения украинского вопроса не отделялись от общего вопроса о перестройке государства на началах равноправия народностей и областей. Национально-территориальная автономия рассматривалась украинскими приверженцами либеральной идеологии как естественный шаг либерализации прав человека на самоопределение. Тем не менее либеральное движение России и Австрии усматривало в этом требовании признак сепаратизма. П.Б. Струве открыто подверг критике позицию поступовцев на страницах газеты «Русская мысль». Речь идет о его статье «Общерусская культура и украинский партикуляризм»¹², в которой русский либерал рассматривает требования украинства как угрозу единства русского общества, и даже требования культурного и просветительского характера, – как разрушительные тенденции, которые следует остановить. Своеобразное понимание «солидарности» правым крылом русских либералов поставило его в открытую оппозицию к национальному движению в России. Великорусские либералы усматривали в социальных изменениях начала XX ст. переход не к либерально-демократической модели государства, а замену центристско-бюрократического порядка на конституционно-центристский.

Устранение противостояния, которое сложилось среди приверженцев либеральной идеологии относительно национального вопроса, по мнению Л. Юркевича, было возможно при условии устранения радикализма с обеих сторон. Он обращал внимание на понятие «национальная гордость», которое есть «чистым от чувства превосходства над соседними народами». Л. Юркевичем была предложена своя концепция социальной солидарности, которая заключалась в понимании роли среднего класса как движителя социального прогресса. Именно средний класс создает основы для возникновения социетальной культуры, общей для всех социальных классов. Средний класс «сторонится классовой дифференциации и стоит ближе к народу»¹³, поэтому именно в среднем классе усматривалась основа обще-

человеческой солидарности и преодоления противостояния «исторических» и «не-исторических наций». Идея среднего класса как носителя организующей культуры приводит к возникновению концепции синтетической национальной культуры, в которой снимаются противоречия социального характера.

Таким образом, проблема федеративного устройства и национальной автономии коренилась в проблеме разного понимания основ для социально-политической солидарности у русских и украинских либералов.

Первые настаивали на формировании социетальной культуры в пределах общероссийской культуры, пренебрегая правом на национальное самоопределение, вторые – на формировании социетальной культуры в рамках национальной украинской культуры. Позиция вторых в большей мере отвечала условиям времени, поскольку перед украинской нацией стояла проблема соединения западных и восточных земель.

Мы можем констатировать, что либеральный подход к проблеме федеративного государственного устройства и национальной автономии базировался на видении принципиальной связи свободы индивидуального выбора и необходимости сохранения разнообразия вариантов выбора модели самоидентификации. Федеральное устройство и национальная автономия принимались либералами начала XX ст. как шаг к защите прав дифференцированных культурно-этнических групп. Уважение к праву выбора человека, группы, «социального союза» или партии – главный принцип либеральной модели государства. Указанный Б.А. Кистяковским главный принцип государственного правления заключается не в воле покоряющей, а в воле, которая подчиняется¹⁴. Б.А. Кистяковский подводит к центральному тезису концепции общественного поведения как содержания любого социального явления, совокупного вектора субъективных вольниц – членов сообщества. Феномен государственной власти приобретает признаки социально-психологического характера и в полной мере совпадает со взглядами на эту проблему М.К. Михайловского, Г. Тарда, Г. Зиммеля.

Как уже отмечалось, специфика либерализма как социально-политической идеологии и политико-правового учения заключается в том, что определенное устройство, система общественных отношений, правовой порядок и т.п. всегда будут рассматриваться как орудие социальных преобразований, а не самоцель. Также и идея национальной автономии и федерализма есть не что иное, как этап снятия ограничений свободы личности. Идея национальной автономии в составе федерации, а затем идея национального суверенитета – это шаги к ограничению власти со стороны государства, попытки сохранить вольность как главную ценность для правосознания Пограничья.

Либеральные ценности современной цивилизации стали плодом развития общества, зажатого в рамках «просвещенных соседей», «государственных устоев», «правовой системы». Теоретики либерализма XVII–XVIII вв. рассматривали состояние «войны всех против всех» и стадию общественного договора как умозрительные

конструкции, подобие «идеального газа» для физики. Ни один из них не мог даже предположить, что фактически описывает реальные исторические условия, которые сложились в Европе на границе Дикого Поля и Речи Посполитой. Восточно-европейское Пограничье XVII–XVIII вв. стало ареной тех процессов государственного развития, возможность которых предполагалась только теоретически. Ситуация «ничейной земли», вольности как отсутствия всякой государственной регламентации, стихийных территориально-военных союзов – это социальный опыт Пограничья, на который долгие годы не обращали внимания ни европейские, ни отечественные историки права.

Тем не менее было бы наивно предполагать, что наличие такого социального опыта в относительно недалеком историческом прошлом не повлияло на формирование правосознания украинского народа. Особенность малороссийской идентичности – в сложности ее как системы толерантностей и лояльностей. Эта система является продуктом опыта Пограничья. Украинец вынужден был определять себя через структуры, которые воспринимались им как «чужие», но при этом политические, сословные или экономические интересы заставляли его быть лояльным к «чужому».

Для человека Пограничья восприятие государства всегда сопряжено со сложной дилеммой сохранения собственной индивидуальности и свободы, а также желанием приобщения к системе благ глобальной цивилизации, которые гарантированы присутствием в большом государственном объединении, будь это Российская империя или современный Евросоюз. И в этой ситуации единственно приемлема модель федерации как уступка части прав в обмен на доступ к более широким возможностям.

В начале статьи было заявлено, что федерализм является будущим Украины. Перспектива вступления в Евросоюз выдвинута как программное положение целого ряда украинских политических партий, имеющих свое представительство в Верховной Раде. Реализация этих программных положений на практике влечет за собой добровольный отказ от части прав суверенного государства. Любой союз – продукт толерантности и компромисса. Вхождение в Евросоюз связано с приведением национального законодательства в соответствие с нормами Союза, координацией производства, торговли и внешней политики с общими принципами европейского сообщества. Такие уступки превращают Украину в равноправного партнера, члена единого экономического и политического пространства. Таким образом, это перспектива второй модели федерализма, которая дает возможность стать пользователем благ глобальной цивилизации. Впрочем, это также может быть истолковано как проявление цивилизационной компенсаторности: уступка части суверенности компенсируется доступом к глобальности.

Даже если присоединение к Евросоюзу по каким-либо причинам будет отложено на далекую перспективу или станет невозможно, то проблема федерализма не утратит своей актуальности, поскольку развитие системы местного самоуправления предусмотрено в рамках той же второй модели федерализма. Право решать про-

блемы регионального характера передается местным общинам. Фундаментальным условием этой модели является четкая регламентация управленческих функций и полномочий местного самоуправления. При этом государственные услуги на местах, оказываемые местными органами самоуправления, рассматриваются как часть общенациональных услуг.

В конечном итоге мы можем констатировать, что территориальная община в результате проведения в Украине реформы местного самоуправления получит достаточно высокий уровень автономии от центральной власти, который максимально приблизит ее положение к статусу субъекта федерации.

Почему же идея федерализма так устойчива в правосознании народов Пограничья, и украинского в частности?

Пограничье предполагает открытость миру. Быть между – это возможность быть многим одновременно, сочетать разнообразные качества и в этой разнообразности ощущать собственную свободу и неповторимость. Формирование национального самосознания украинцев стало результатом понимания именно этой исключительности своего положения. Самобытность Пограничья заключена не только в богатстве выбора моделей окружающих миров, но и в невозможности отказаться от их синтеза¹⁵.

Идея федерализма в правосознании Пограничья не могла быть связана только с национальным изоляционизмом. В подобном случае сложно объяснить феномен одновременного существования в границах России этнически единых, но различных по устройству и принципам отношения с центральной властью регионов Слобожанщины, Гетманщины и Запорожья. Украинская версия федерализма, начиная с межгосударственных договоров гетманщины XVII в. и заканчивая Конституцией УНР, носила характер борьбы за ограничение вмешательства государства в дела территориальных общин. Именно так представлена и идея украинской автономии в составе империй в XIX – начале XX в. Даже сегодня в рамках реформы местного самоуправления главной идеей остается расширение прав территориальных общин.

Правосознание Пограничья генетически связано с «бегством от государства» и сохранением вольности в виде полного или максимально возможного ограничения власти государства над личностью. Поэтому федерализм был принят Пограничьем как действенная форма децентрализации власти и гарантии прав территориальных общин, а вместе с тем и защиты вольностей каждого члена общины.

Примечания

¹ Возможно, только Балканы добавляют разнообразие в гомогенное европейство.

² Когут З. Коріння ідентичності. К.: Критика, 2004. С 165.

³ Уоттс Рональд Л. Федеративні системи. Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. С. 25.

⁴ В европейской политико-правовой мысли XVIII в. появилась идея нации как субъекта права и идея государства как выразителя национальных интересов. По сути, сформиро-

валось модерное представление о национальном государстве и концепции суверенных наций-государств.

⁵ Градовский О.Д. Сочинения. СПб., 2001. С. 69.

⁶ Там же. С. 31

⁷ Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали. К., 1993. С. 44.

⁸ Грушевский М.С. Национальный вопрос и автономия // Укаинский вестник. 1906. № 1.

⁹ Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. К.: Либідь, 1993. С. 72.

¹⁰ Спекторский Е. В. Пособие к лекциям по энциклопедии права. Саратов, 1915.

¹¹ Яневський Д.Б. Маловідомі конституційні акти України 1917–1920 рр. К.: Либідь, 1991.

¹² Струве П.Б. Общерусская культура и украинский партикуляризм // Русская мысль. 1912. № 1.

¹³ Юркевич Л. Середні класи і національне відродження // Дзвін. 1913. № 2. С. 109.

¹⁴ Кистяковский Б.О. Социальные науки и право. Очерки методологии социальных наук и общей теории права // Кистяковский Б.О. Философия и социология права. СПб. 1999. С. 275.

¹⁵ Памятник украинского права «Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.) – исключительный пример практики сочетания различных правовых норм, взятых из магдебургского права, литовских статутов, польского законодательства, российских уложений.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (на примере анализа образа Запада в речах президентов Украины и Беларуси)

Становление современных политических режимов территории Пограничья сопровождается трансформациями на разных уровнях и в разных сферах социального пространства. Данные процессы протекают при непосредственном стремлении основных политических акторов Украины, Беларуси осмыслить, провести категоризацию и оценить окружающую реальность как для создания, усовершенствования и переопределения собственных ориентиров деятельности, так и для борьбы за символические ресурсы с дальнейшим их использованием при воздействии на окружающую реальность, в том числе и на непосредственную аудиторию людей, воспринимающих результаты познания среды.

Процесс создания структурированного и устойчивого вообразяемого политического сообщества необходимым образом предполагает натурализацию, опривычивание властных идеологий, перевод, «транскрипцию» установок политических элит в стандартные, а тем самым конвенциональные социальные факты.

Целью данного процесса является формирование и трансляция образов, мнений, оценок на конструируемое социальное пространство для создания идентичностей адресных групп, их легитимации и воспроизводства, что в свою очередь будет способствовать воспроизводству самой элиты и лежащих в основе их представления реальности идеологий.

При этом сами создатели дискурса выступают не столько как сознательные «ловцы смысла», или свободные деятели, сколько как пункты пересечения нескольких дискурсов, детерминируемых скрытыми идеологиями. То есть сами создатели обусловлены лежащими в основе воспроизводства социальной

общности, членами которой они состоят, системами идей, наборами установок и ценностей.

Процесс создания новых политических идентичностей протекает с помощью нескольких механизмов, используемых скрыто и применяющих как фоновое, повседневное знание, так и интеллектуальную, научную продукцию.

Одним из аспектов создания идентичности является преобразование как ментально, так и физически внешне расположенных акторов в конституирующие факторы обособления и стабилизации внутреннего пространства, которое служит двояким целям: с одной стороны, это фиксация их в качестве стратегических, онтологических факторов собственного существования, имеющих независимое, безотносительное бытие-в-себе, с другой стороны – это риторические условия для осуществления гибких дискурсивных и прагматических эффектов и поворотов. Совмещение и наложение этих двух уровней требуется учитывать при проведении дискурс-аналитического исследования.

Значимую роль в структурировании социальных групп играют позиции глав государств, определяющих приоритеты и стратегии развития стран и обладающих значительными возможностями воздействия на остальных политических акторов.

Функционирующие на уровне глав государств дискурсивные модели, выражаемые в текстах и через тексты, ими производимые, служат одновременно нескольким целям, выражаемым как имплицитно, так и эксплицитно:

- конструированию новых и воспроизводству сложившихся идентичностей как внутреннего пространства государства, так и внешнего мира, представляемого в качестве чужого или «не-нашего»;
- легитимации сложившихся властных отношений через апелляцию к здравому смыслу с его дальнейшим использованием для реализации собственных задач;
- информированию групп потребителей текстов и воздействию на них;
- увеличению собственных знаний об окружающей реальности.

Следует учитывать, что тексты, высказывания, производимые политическими акторами, применяются как стратегически, системно, т.е. для установления общих ориентиров и программ деятельности, так и тактически, в рамках конкретного социального взаимодействия, т.е. как гибкий, ситуативный, «конъюнктурный» ресурс для создания и поддержания связности, непротиворечивости коммуникативного содержания в рамках функционально и тематически связанного текста.

Данная работа посвящена выявлению смыслов и коннотаций, задаваемых основными политическими акторами Украины и Беларуси в ходе своего познания и интерпретации территориальных образований.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения символических практик президентов Украины и Беларуси В. Ющенко и А. Лукашенко, выявления используемых дискурсивных моделей, стратегий и тактик. Она вызвана потребностью в развитии и применении дискурс-аналитических техник в

отношении особых видов политической коммуникации, а именно – текстов, производимых лидерами государств.

Цель данной работы заключается в экспликации приемов и средств, используемых акторами для создания и поддержания репрезентаций внешнего мира, в частности образа Запада.

При этом приоритетной считается работа с внутренней организацией текстов и их соотнесение между собой для обнаружения смысловых конструктов, создающих, овеществляющих, наполняющих содержанием социальный «факт» под названием «Запад».

Под образом Запада в дискурсе президентов Украины и Беларуси далее будет пониматься образ стран Европы и США. Разбиение внешне целостного образа на составляющие обусловлено объективными основаниями, а именно риторикой самих президентов, актуализирующих в своих нарративах определенную часть Старого или Нового Света, расчленяющих данные регионы на значимые «зоны внимания».

Для реализации заявленной цели был проведен дискурс-анализ публичных выступлений и интервью, содержащихся на официальных Интернет-порталах президента Украины В. Ющенко (хронологические рамки материалов – январь 2005 – декабрь 2008 г.) и президента Беларуси А. Лукашенко (январь 2001 – декабрь 2008 г.).

Дискурс как один из ключевых концептов современного социального и гуманитарного знания, обладающий довольно широким потенциалом значений и коннотаций, далее будет определяться следующим образом:

1. Политический дискурс – знаково-символический способ коммуникации, нацеленный на производство и воспроизводство знаний, образов, смыслов, значений, ценностей и интерпретаций, обеспечивающих репрезентацию, позиционирование и иерархизацию социальных субъектов в динамическом пространстве политики. Дискурс-анализ – методика и техника, методология выявления политических смыслов социальных отношений и интеракций [4].

2. Дискурс системы значимых, означающих практик, формирующих идентичности субъектов и объектов. Дискурс-анализ – практика анализа эмпирически грубого материала и информации как дискурсивных форм [2, р. 3–5].

Образ Запада в дискурсе президента Украины В. Ющенко

Стоит отметить один принципиальный факт, что, как ни парадоксально это звучит, но образ США в речах президента Ющенко почти не акцентируется, лишь иногда подчеркивается их роль как главного защитника принципов свободы и демократии в качестве универсальных ценностей в мире. В ходе встречи с дипломатами США или посещения данного государства президент Украины воспринимает американцев как вечных защитников демократии, аккуратно встраиваясь в родной для граждан США дискурс о «граде на Холме», зорко следящем за окружающим

миром с целью его (мира) собственной безопасности. Рузвельт, Буш, Клинтон – сторонники ликвидации тех барьеров, что были созданы при их же участии.

Поэтому основная часть раздела будет посвящена анализу образа Европы в текстах В. Ющенко.

Стоит условно разделить всю риторику, производимую Ющенко в отношении Запада, на три части:

- Европа как экономический проект;
- Европа как место с историей и культурой;
- Европа как политический образец.

Предварительный анализ текстов, произведенных президентом Украины, показал, что его дискурс является своеобразной комбинацией двух других дискурсов: неолиберального и националистического (традиционалистского).

Экономический проект

Неолиберальный тип дискурса отчетливо проявляет себя при описании и репрезентации экономической и социальной политик, проводимых как внутри страны, так и странами Запада. Обязательным признаком такого рода дискурсов является использование номинализаций глобальных явлений – описание трендов в экономической и политической сферах международного сообщества как обезличенных объективных процессов, без указания прямо заинтересованных сторон, учредителей и игроков. Такие процессы фатально неотвратимы и вынуждают от наций-государств лишь подчинения своим требованиям.

Как пишет британский ученый Н. Фейрклау, признаками неолиберального языка являются: репрезентация происходящих в мире изменений как шагов на пути к прогрессу и не имеющих аналогов и альтернатив; вытеснение вследствие таких репрезентаций предыдущих дискурсов, их замена новыми номинализациями (гибкость, модернизация, прозрачность, партнерство и пр., неповоротливая бюрократия, инвестиции); перемасштабирование и реструктуризация (новые дискурсы проникают в новые сферы социальной жизни и по-новому выстраивают свои взаимоотношения с ними, в частности, экономическая сфера должна подчинить себе все остальные сферы) [1].

Как экономический актор Запад представляется В. Ющенко с помощью концепта «единого огромного рынка»: самого большого экономического партнера Украины.

Европейский союз – *«это награда, ради которой страны-претенденты идут на невероятные шаги по внедрению болезненных и длительных реформ, от которых можно легко отказаться в случае, если выгоды четко не определены».*

Используя номинализации, он стремится выразить сущность Европейского союза как образца, эталона для подражания, как универсальной меры, согласно которой организуются участники европейского и мирового пространств. Сравним,

как Ющенко представляет внешние процессы: *«Украина – часть динамично развивающегося мира. Модернизация производства уже в ближайшее время сделает Украину самым перспективным государством, где внедряются немецкие высокие технологии и культура ведения бизнеса»; «Задача моя и моей команды – сделать из Украины самый современный европейский рынок»; «Мы должны понять, что нас окружает непростой мир. Мир, который живет в борьбе. И каждая нация, каждая страна выигрывает свое место под тем, что мы называем солнцем».*

Аналогичным образом представляется процесс вступления в ВТО: это путь, который пройти по силам лишь мощному государству, единому в своих устремлениях и не разделенному по корпоративному критерию и групповым интересам.

Запад как место с историей и культурой

Традиционалистский, националистический дискурс задействован при конструировании исторического нарратива и национальной социальной памяти, при этом он смешивается и с неолиберальным.

Нация мыслится Ющенко в виде семьи: украинская нация (Мы-категория) – как само собой разумеющаяся европейская нация, как идеологический конструкт получает тысячелетнюю историю с присущими ей по современным концепциям национализма атрибутами (единство экономической деятельности, наличие правовых кодифицированных регуляторов, выборность органов власти).

Но в то же время эта нация (народ) предстает как семья (*«Мы с вами – его (народа. – В.К.) сыны и дочери, мои побратимы»*), частое использование лексемы *друзья*). Он также *мой* украинский народ, и народ выступает как пассивный обезличенный, стихийный субъект и лишь только в лице *своего* президента устанавливающий свое единство – и тем самым получающий право на существование (*«Я – президент всей Украины»*, *«я стал им волей всего народа»*): *«Народ, который был носителем вечной идеи независимости и идентичности».*

Народ приобретает статусный признак суверена, обладателя общей воли, а власть главы государства наделяется сакральными признаками, ступая в себе суверенную волю *всего народа*: *«8 месяцев президент Украины был миротворцем среди этих институтов. Я считал, что это моя карма, которую я должен нести».*

Такой симбиоз говорит о наличии в дискурсе президента двух крайне противоречивых репрезентаций реальности: неолиберального и патриархального, традиционалистского – в его дискурсе представлены элементы обоих типов, например президент как менеджер, управленец, нанятый обществом, и одновременно президент как отец нации, глава и объединитель семьи.

В лице Ющенко украинская нация актуализируется как носитель тяжелой судьбы, обладатель трагичной истории.

Прагматически дискурсивная модель нации у Ющенко служит для компенсации видимой им «отсталости» украинцев, причина которой кроется в перма-

нентной подверженности репрессивным актам и социальным экспериментам со стороны Другого, в роли которого выступает Москва (как центр Российской империи и СССР), иницирующая насилие и управляющая предпринимаемыми действиями: поступательное, целенаправленное европейское движение Украины торозилось Москвой. В итоге Украина «забыла» себя как Европу: *«Приоритетом для нашего государства есть возрождение европейской идентичности»*.

Украинцы оказываются изобретателями технологий (плуг в обработке земли), законодателями (первая в мире Конституция авторства Пилипа Орлика), основателями, предшественниками американских отцов-основателей, родоначальниками европейской демократии, выдающимися деятелями средневековой Европы (Ярослав Мудрый и династические браки). Историческая память Украины силой мысли Ющенко затрагивает события трехтысячелетней давности (трипольская культура).

«Я убежден, что те ценности, что есть сегодня в Европе, они сделаны благодаря и украинской нации»; «Мы – нация, которая ходит по этой земле со времен Триполья. Нашими национальными ценностями дышит вся Европа. Это здесь еще 500 лет назад было избирательное право, тут выбирали украинских гетманов, когда в Европе передавали власть от отца к сыну. Это здесь родилась первая в мире конституция, на 70 лет раньше американской и на 90 – польской».

Сконструированный образ Украины влетается в более широкий контекст общеевропейских тенденций, при этом иногда, как видно, опыт Украины первичен, предшествует опыту Запада, иницируя его, но в более близкие по времени периоды становится вторичным, производным от него.

Например, на современном этапе отношения ЕС – Украина осмысливаются с помощью привлечения метафорической модели «школа»: здесь европейцы предстают учителями, а украинцы – учениками: они выполняют «домашнее задание» (*«Мы осознаем, насколько трудным и длительным есть наше домашнее задание по усвоению и внедрению общих ценностей»*), «сдают экзамены» (*«Я на этот экзамен смотрю на фоне того, что было экзаменом для моей нации, у которой 800 лет не было независимости»*), учат азбуку (*«мы должны выучить азбуку Евросоюза»*).

Артикулируемые признаки уникальности и неповторимости украинского народа направлены на установление общностей, которые будут осуществляться посредством воспоминания о прошлом и искупления вины за него.

Однако данный конструкт выполняет и, возможно, не менее существенную роль – его свойства преобразуются в товар, оцениваемый не столько в своей уникальности как историческое событие, вряд ли способное к повторению, а сколько как стандартный факт, вещь в случае воображения единого шаблона и меры. Такой универсальной мерой является для Ющенко западная демократия, которая и должна вобрать в себя, на основании логики эквивалентности, Украину как не-отличную от себя, тождественную себе реальность.

В случае с описанием европейского прошлого и настоящего Ющенко активно вызывает к жизни события из европейской истории, сводя их в линейно упоря-

доченную последовательность с изначально заданным планом и действиями, служащими подтверждением хода истории: интерпретация событий в Европе становится фактором создания украинской истории в качестве примера для подражания: *«Украинское государство принадлежит Европе. История нашего народа, его культура, быт и обычаи неотъемлемы от цивилизации нашего континента»*.

Такое видение предполагает знание о конечной точке прибытия: достижение ее произойдет при демократии как универсальном состоянии всего земного шара.

Данные выводы схожи с выводами, предложенными украинским социологом В. Середой [см. 5]. Она говорит о роли украинского исторического воображаемого в дискурсе Ющенко при акцентировании им модели общеевропейского культурного пространства. Например, она утверждает, что, «апеллируя к историческому прошлому, Ющенко активно пытается «вписать» Украину и ее историю в более широкий (центрально)европейский или глобальный контекст» [5]. Здесь лишь остается добавить характер «вписывания»: события, неоднозначно оцениваемые в обществе и подлежащие широкому обсуждению, превращаются в действия, подчиненные телеологическому мышлению. Так, например, ВОВ становится одним из эпизодов в долговременной борьбе украинцев за европейские ценности, а именно – за свободу и независимость.

Несколько не соответствует нашим наблюдениям утверждение автора, настаивающей на проекте «инклюзивности украинской нации», формулируемой Ющенко. В частности, нередко он приводит только один из принципов единения нации – языковой, т.е. лингвистическая принадлежность становится доминантной в определении этнической и национальной идентичности украинцев, чему активно противостоят восток и юг Украины. Формула «один язык, один народ, одна нация» вообще выпадает из логики приводимых Середой аргументов. Но данная формула президента Украины структурно и в смысловом плане не выпадает из общего фона его риторики: националистический дискурс позволяет ему вырабатывать новые концепции.

«Сильное демократическое государство, единый народ, единая нация – таков горизонт совместной работы».

Европа как политический образец

Демократия является нодальной точкой, которая структурирует всю дискурсивную формацию под названием «Запад».

Здесь характерен европоцентризм: демократия хоть и универсальная ценность, но как образец для подражания существует только на Западе, и демократические ценности полностью совпадают с европейскими демократическими ценностями.

Ющенко артикулирует элементы для выстраивания цепи эквивалентности, цель которой – по максимуму нивелировать различия между Западом и собственной страной для приведения к общему знаменателю, к единой мере.

В сочетании с лексемами «демократическая» и «демократия» используются следующие номинации: стабильная, новая, процветающая, среда для совершенствования, свободная, рентабельна, выгодна, влияние, молодая, ярко светится, имеет источники, вершину («оранжевая революция»), свободный рынок, конкуренция, честная приватизация, прозрачность, самостоятельная, благополучие, главная мотивация, равноправие, прагматизм: *«Если мы можем отличить хорошее от плохого и двигаться к лучшему, тогда есть один способ движения – демократия. Это единственный путь к прогрессу».*

Текстуально последствия демократии часто сводятся президентом к свободе слова. Для В. Ющенко свобода высказывания собственной мысли является неотъемлемым признаком демократии. По прошествии одного года с момента инаугурации, в качестве достижений новой украинской власти на первое место он ставит свободу слова, понимаемую в первую очередь как свободу СМИ.

Постепенно в речи президента Украины происходит смещение акцентов с таких размытых и смутных концептов ценности свободы и демократии на более конкретные и понятные рядовому обывателю, т.е. они расшифровываются: уходят на второй план, а на первый выходят категории более материальные.

В числе доступных для усвоения им предлагаются такие «блага»: личная безопасность, сытость, богатство, стандарты жизни. Частотность таких заявлений со временем возрастает, что свидетельствует о попытке Ющенко перевести дискуссию на более знакомые и понятные большинству населения понятия, для увеличения их заинтересованности – преобладание чисто прагматических причин евроинтеграции, активность в которой должно проявлять «неподдающееся» иной аргументации население Украины: *«Демократия рентабельна, выгодна. В демократии выгодно жить всем, большинству».* *«Было желание показать, что демократия чего-то стоит, что она материальна, что она касается каждого человека, что она поднимает пенсии, зарплату».*

Можно сделать вывод, что демократия понимается Ющенко скорее как общая система предоставления возможностей для достижения благ, а коррелируемые с демократией понятия, такие как ответственность, уходят в тень и сводятся к следованию личным наставлениям президента, не брезгующего «поучать» как журналистов, так и политиков.

Европа как носитель универсальной ценности – свободы и демократии, как политический конструкт наполняется смыслами при помощи метафоры дома или контейнера: *«Есть страны, которые создают концепцию единого дома, это уникальный планетарный проект. За это не принимались страны ни на одном материке. Это уникальная идея Европы».*

Метафора, основывающаяся на фрейме «дом», предполагает выделение слотов «строитель», «архитектор», «жильцы».

В данном случае стоит остановиться на архитекторе, или отцах-основателях, этого дома. Ющенко в своих выступлениях и интервью упоминает или цитирует

следующих европейских деятелей: наиболее частый референт – это папа римский Иоанн-Павел II, ссылаясь на которого Ющенко говорит о послевоенном переустройстве Европы, особенно о его роли в исключении внутренних границ в едином пространстве Европы, распространении общих для «дома» ценностей. Также в список «отцов» попадают У. Черчилль, Наполеон Бонапарт, Л. Валенса. Последний – как политик регионального масштаба, с которым ассоциирует себя Ющенко.

В структуре самого «дома» Ющенко не различает жильцов, в основном он понимает под Европой единое целое, внутри которого нет никаких различий, или границ. Последние границы были разрушены с успехом «оранжевой революции»: она перечеркнула линии, установленные коммунистическим постсоветским режимом Л. Кучмы. Данное утверждение подкрепляется частым использованием концепта «Объединенная Европа». Редкими являются случаи выделения каких-то отдельных частей Европы, например, он видит Германию как двигатель Европы, а Страсбург (место заседания Европейского парламента) как символ демократии. Лишь иногда Ющенко акцентирует роли Польши и Литвы как главных образцов для заимствования опыта.

Фактически ЕС предстает в речи Ющенко как единое, неразделенное, унифицированное пространство, не испытывающее трудностей на пути своего становления (лишь однажды он упоминает о сложностях при строительстве дома, которые обязаны разрешиться политиками).

Такое понимание политического проекта вполне ассоциируется у президента с видением Украины как такого же единого и монолитного конструкта без каких-либо внутренних различий, влияющих на выбор стратегий развития.

Объединенная Европа является прототипом для объединенной Украины, которая расколота по критериям, в основном по причинам неспособности власти, игнорирующей разломы страны, предложить осуществление единого устраивающего большинство граждан как востока, так и запада Украины проекта государства.

Российский исследователь К. Петров указывает на наличие в политическом дискурсе европейских чиновников о Европе и Европейском союзе двух доминантных метафорических моделей, влияющих на определение состояния и перспектив развития региона: «Европа как старая вещь» и «Европа как новая, современная вещь». Обе пользуются популярностью в дискурсивной борьбе за легитимацию навязывания единого видения «судьбы» Европы (как географического денотата) в качестве единого экономического нелиберального проекта под наименованием ЕС, оправдывающего деятельность брюссельской бюрократии по продвижению и натурализации виртуальных образований в реальной географической среде [3].

Данные стертые метафоры содержатся и в дискурсе президента Украины: Европа – это и уникальный проект, качественно не представленный ни на одном материке Земли, не способный к воспроизводству, и старинная вещь, известная

своими универсальными ценностями, распространяющимися по всему географическому пространству.

В контексте репрезентации Европы Ющенко использует фрейм семьи, но, как и в случае с фреймом дома, не детализирует его. Фрейм семьи, как было сказано выше, Ющенко активно использует при характеристике самой Украины, контекстуально указывая на свою личность как патриарха всей семьи.

При трансляции образов Европы происходит наделение особым значением отдельных сторон функционирования политического проекта «Евросоюз» и фактическое игнорирование других сторон, т.е. возникает ситуация неполноты представления, своим происхождением обязанная основному свойству социального – неполноте репрезентации.

Здесь нас интересует то, какие аспекты отбирает Ющенко и какими средствами он пользуется для демонстрации искаженной дискурсивной формации.

Украина в высказываниях Ющенко актуализируется в качестве географического центра Европы, хотя при этом не указывается, какой именно: географической или политической (под именем «Евросоюз»). Так как по преимуществу Европа для президента – это единая Европа, Евросоюз, то становится ясно, что и в данном утверждении происходит отождествление Европы с Евросоюзом. Символически после «оранжевой революции» Украина смещается и как географическая зона – из позиции центра Европы географической Украина сдвигается в центр Европы политической: *«Мы – уже не обочина. Мы – в центре Европы».*

То есть и символически, и географически Украина становится центром европейской цивилизации, о принадлежности к которой можно вспомнить, но можно и приобрести ее в ходе «научения».

Претендуя на роль окончательной формулировки внешнеполитической доктрины государства, данное высказывание недвусмысленно предполагает как само собой разумеющееся, как «факт» следующее: «оранжевая революция» меняет ландшафт всей Европы (на тот момент насчитывающей в своем составе 25 членов) вследствие импульса, посланного окончательным оформлением извечного желания украинского народа свободы и демократии.

Процесс интеграции в структуры Евросоюза кажется Ющенко не только учебным предприятием, но и рационализируется с помощью концепта пути: интеграция значит путь, дорога, начало которой – еще в трипольской культуре. Причем уже *«половина нации выбор ногами сделала, судя по товарообмену, по уровню активности наших связей. Пешком прошла».*

Данный путь предстоит пройти, по мнению В. Ющенко, обладая лишь техническими приемами, например, в форме отмены тех или иных нормативно-правовых актов, хотя доминирующим представляется все-таки ментальный акт – изменение сознания, также кажущийся механической проблемой, главное для разрешения которой – просвещение «недалекого» населения, родившегося в СССР и до сих пор

живущего советскими стереотипами, и усвоение ими тех давно забытых норм и принципов европейского бытия.

Интеграция в Европу – это естественный, природный, имманентно присущий Украине процесс. Более того, это определяющий фактор ее существования: Украина есть постольку, поскольку она должна быть в Европейском союзе, но верно и обратное: Европа есть постольку, поскольку в ней должна быть и Украина. И вот это переходное состояние, ощущение вечного транзита и создает напряжение в текстах президента, активно вовлекающего все новые риторические ресурсы в борьбу за определение идентичности украинцев: *«Я убежден, что те ценности, что есть сегодня в Европе, они сделаны благодаря и украинской нации»; «Мы исходим из того, что Украина будет членом Евросоюза. Я не прошу никому доказывать, что украинцы стремятся в Европу. Мы есть Европа».*

Однако наличествует и явно выраженная неуверенность и нестабильность убеждений исконности «европейскости» Украины: *«Нация должна понять систему европейских ценностей и придерживаться их, защищать эти ценности. Мне кажется, что европейские ценности могут быть естественно адаптированы к традициям (Украины)».*

Позиция президента такова, что Европа политическая без Украины будет неполноценной, недо-Европой. Настоящей Европой ей придется стать лишь с принятием Украины в свои ряды: *«А без этого сердца Европа жить не может. Значит, она не может жить без Украины. Без Украины Европа не комплектна. Это мое убеждение».*

Состояние перехода, подвешенности и структурирования окончательного варианта ЕС выхолщивает сам процесс по достижению права на членство в Евросоюзе: любой раунд переговоров превращается в победу, озвучиваемую как «большой успех», каждый раз неожиданный, но тем более приятный от того, что процесс в который раз стал самоцелью, застыв без наличия альтернативной мысли для самого президента. Создается эйфория своеобразного прорыва, воплощаемого в факте встречи «учителей» и «учеников» на очередной «сессии». Исходя из собственной субъектной позиции как точки пересечения нескольких идентичностей (неолиберальной, традиционалистской, этнонационалистической), Ющенко как неолиберал заявляет о крупных успехах, подтверждая свой статус в глазах европейских бюрократов; этнонационализм подавляет какую-либо попытку к созданию новых версий идентичности, а представление о себе как «отце семейства» не дает внутреннего дозволения помыслить иное.

Европа как действительная культурная ценность, как самобытное образование на фоне географического денотата, Европа как данность, как таковая превращается в Европейский союз: политический проект замещает собой географический регион, овеществляясь в роли единственного представителя интересов Европы территориальной, исторически совмещающей в себе разные нарративы, не сводимые к одному

показателю, но в итоге уступающей давлению дискурса неолибералов и становящейся Объединенной Европой, эффективной лишь как «огромный рынок на Западе».

Политик, позиционирующий себя в роли активного сторонника расширения ЕС, при этом ментально остается приверженцем патриархальных традиций.

Транслируемый им образ Европы как древнего, известного проекта эклектично сочетается с представлениями о Европе как модном, перспективном проекте, подчинением Европы исторической Европе глобальной, образцу для подражания.

Украина же шагает в ногу со временем, с Европой, олицетворяющей само понятие времени, но, как блудный сын, временами отбивается, забывая отчий дом, и теперь пытается вернуться.

ЕС становится конституирующим фактором существования Украины и апостериори, ретроспективно выступает в роли идеала, но не такого себе запредельного, трансцендентного, но пребывающего уже совсем недалеко (а фактически на границе с Польшей, открывающей врата в свой-чужой мир).

Образ Запада в дискурсе президента Беларуси А. Лукашенко

Предварительный анализ риторики президента Беларуси показал, что актуализируемые им образы Запада также не обладают полной монолитностью и подчиняются нескольким механизмам структурирования, нескольким способам артикуляции элементов. При этом позволим себе утверждать, что данные механизмы можно успешно преодолеть и все-таки вызволить общую логику, управляющую генеративным творчеством А. Лукашенко.

Концептуализация пространства «Запад» происходит почти в каждом интервью или выступлении. По сравнению с дискурсом украинского президента мы наблюдаем большее разнообразие и широкую вариативность как тематической представленности Запада, так и степень интенсификации лексических средств, применяемых для определения и интерпретации реальности Запада.

Высказывания Лукашенко, содержащие в себе попытки осмысления внешнего мира, как и в случае с В. Ющенко, также можно условно подразделить на несколько суб-образов, составных частей более комплексного образа Запада (выделение совпадает с ранее установленными в дискурсе украинского президента моделями Запада-Европы):

- Запад как экономический продукт;
- Запад как пространство с культурой;
- Запад как политический проект.

Но есть существенное отличие: если в высказываниях Ющенко Запад – это чуть больше, чем Украина, учителя, ждущие сдачи окончательных экзаменов, т.е. мирное, союзное образование, то у Лукашенко Запад выступает в роли врага, ведущего партизанскую борьбу против Беларуси на разных основаниях и по разным причинам.

Экономика

Запад как экономический продукт в дискурсе Лукашенко остается поверхностно целым, но внутренне крайне противоречивым в смысле комбинируемых моделей опыта о Западе, вкладываемых сущностей. Детальный анализ позволит нам выявить единую риторическую стратегию, символически направленную на формирование устойчивых стереотипов о президенте Беларуси как «самом политическом хозяйственнике» в материковой Европе. **Данная стратегия подразумевает под собой умелую, гибкую артикуляцию элементов для выполнения преимущественно единственной функции: постоянного лавирования в поиске временных союзников – тактика превращается в стратегию, не имеющую альтернативы.**

Внешне целостность проявляется через присущий и В. Ющенко дискурс неолиберализма: это сильная риторика и повышенная чувствительность к событиям в глобальной экономике на протяжении 8 лет исследуемого материала: а именно образ стихийного, беспощадного рынка, действующего как воодушевленное лицо, не соблюдающее правил и жестоко относящееся к тем, кто не может сосуществовать с ним, не соблюдая установленные им нормы и предписания: *«Нравится нам это или нет, но Беларусь находится в открытом и бушующем море мирового рынка, где выживает только сильнейший. А кто, говоря народным языком, “складывает лапты”, тонет немедленно»*; *«Сегодня всем надо шевелиться, проявлять инициативу, а не сидеть сложа руки и ждать, чтобы государство взяло на себя решение всех проблем. В нынешнем динамичном, конкурентном мире места для иждивенцев нет!»*.

И если поначалу (2001–2004 гг.) такой рынок представлялся внешним касательно Беларуси, как бы в стороне от нее, хоть и затрагивал ее в той или иной степени и имел свое четкое географическое расположение (государства Европы и США с их транснациональными корпорациями, особенно зримыми в форме минского «Макдональдса»), то с 2005 г. происходит его постепенное символическое «приближение». С течением времени акцент в таком описании событий ставится в основном на необходимости Беларуси войти в глобальное пространство и принять его уже не такие жестокие правила – конструируемая цепь эквивалентности слабеет: *«Так на Западе формула одна – не работа идет за человеком, как у нас было принято в советские времена, а человек бежит туда, где есть рабочее место, человек идет за работой! Это же не моя формула, она цивилизованным Западом выработанная»* (подчеркивание мое. – В.К.); *«Готовимся ли мы по-настоящему к жесткой, да что там, скажем прямо, жестокой конкуренции, ожидающей нас впереди? За ресурсы и за рынки?»*.

Данное моделирование прямо совпадает со все более усиливающейся отсталостью Беларуси от развитых стран мира. **Риторика президента сигнализирует ожидание помощи от технологически более совершенных экономик мира, и Европы в частности.**

Артикулируемые означающие из языка неолиберализма не используются здесь стратегически, как у В. Юценко, а приобретают характер тактического средства для усиления собственной позиции президента как защитника и единственного способного «провидца»: Беларусь готовилась к вхождению на «бушующий рынок», но из-за недостатков в организации работы руководителями высшего и среднего управленческого звена так и осталась неготовой. И лишь президент, регулярно упорядочивающий экономические практики Беларуси по «объективным» требованиям современной конкуренции, был и остается самым лучшим «хозяйственным» страны.

Наиболее интенсивной формулируемой темой является топик технологии. Характерный признак технологического дискурса Лукашенко, артикулируемый им в отношении необходимости заимствования позитивного опыта Европы и США в проведении модернизации промышленности и развитии постиндустриальной экономики, – это модель образования: Мы-категория выступает как Ученики, Они-категория – как Учителя: *«Наша модель учитывает закономерности общественного развития и опыт других государств. В первую очередь, таких европейских стран с развитой социально ориентированной экономикой, как Бельгия, Швеция, Германия, Франция».*

При этом Беларусь является не пассивным учащимся, а активно предстает в обмене не только трудолюбивого (*«Мы не идем к общеевропейскому столу с пустой тарелкой в надежде на подачку. Мы – не богатая страна, но нам есть, что предложить в обмен на искреннее и честное взаимодействие»*), но и творческого студента, взамен предлагающего собственные идеи: *«ведущие западные страны все чаще обращаются к государственному регулированию экономики; высокотехнологичная Европа, с которой мы сотрудничаем, совместно производим образцы высокотехнологического оборудования».*

На страны Запада перекладывается ответственность за наличие определенных препятствий в плане взаимоотношений государства и бизнеса: *«Сами-то они давно отошли от принципов стихийного рынка, а нам продолжают предлагать старые и негодные модели развития».*

Лукашенко упорно придерживается манипуляции фактами: понятно, что модель, при которой полностью находится под госконтролем белорусская крупная и средняя промышленность, практически не может быть воплощена правительствами европейских стран, лишь частично контролирующими некоторые сектора национальных экономик.

Транслируемый дискурс «технологического ученичества» становится заветной целью обрабатывающей и сырьевой экономики Беларуси: *«Наше государство состоялось как конкурентоспособный участник торгов на международных рынках»*; создается «аналог американской “Силиконовой долины”», Парк высоких технологий, инновационные мероприятия, проводятся съезды ученых с звываниями и указаниями, но процесс не идет, Беларусь все так же стоит на месте.

И единственным возможным выходом для Лукашенко видится естественный вариант по преобразованию географического пространства в «доходное место», дарованное Богом, тем более сакральное и требующее заботы не только со стороны самих белорусов, но и всего Запада. Происходит это с помощью концептуальной метафоры «Территория – это ресурс»: *«Транзит – природный ресурс Беларуси. Его надо превратить в стабильный высокий доход, создав комфортные условия перемещения через границу».*

В данном случае задействована метафора архитектурного сооружения, выражающего степень понимания президентом Беларуси цели и задач своего правления: *«Мы – мост между Востоком и Западом. Никуда от этого не денешься. Это геополитическое положение. Мы поставили надежный заслон на пути наркотрафика, нелегальной миграции, торговли людьми; как проходной двор из России на Запад, с Запада в Россию».*

Метафора моста заменяет узловые точки идентификации, выстраиваемые прежде: народной демократии и суверенного государства с собственной моделью развития. Причем хронологически наблюдается тенденция к увеличению попыток осмысления сути Беларуси с такой субъектной позиции: территория для транзита энергоносителей становится виртуальным проектом национальной гордости и нодальной точкой идентификации.

Цепи эквивалентности постепенно реартикулируются в дискурсе Лукашенко в случайные цепи различия: белорусский уникальный опыт с узловой точкой «экономического чуда в окружении стихии рынка» плавно переходит в нодальную точку «моста» – наилучшего способа соединения двух означающих: источника сырья (Россия) и его потребителя (Европа). Осознание различий вторгается в творимую и воспроизводимую практику конструирования социального. Европа становится ближе, но все равно она, ментально и физически, где-то там, за «границей».

Пограничье осознало свою идентичность.

Культура

Официально формулируя свою оценку культурным и цивилизационным достижениям Запада, однозначно претендующую на роль безальтернативной и единственно правдивой точки зрения, А. Лукашенко фиксирует элементы разной направленности.

В отношении к культуре Запада А. Лукашенко проявляет неодинаковую позицию. Он выделяет негативные и позитивные стороны.

Например, в плане мобилизации граждан через массовые мероприятия в области спорта президент Беларуси полностью готов перенять политику США в данном направлении: *«В оценке значимости физической культуры и спорта для общественного развития мы должны брать пример с промышленно развитых*

стран, с той же Америки. Там здоровый образ жизни – это своего рода культ»; «Мы должны воспитывать национальную гордость, уважение к своему государству, к Конституции, флагу, гимну. Посмотрите, как это делается в других странах – в США, Великобритании, Японии».

Запад выступает как точка опоры для легитимации собственных мероприятий по идеологической работе.

Одновременно с таким позитивным восприятием наличествует в дискурсе и прямо противоположное отношение: *«защитить культурное наследие и современное духовное богатство всей нашей славянской цивилизации от негативного воздействия глобализации, а точнее, от американизации»; «Нам надо усиливать иммунитет общества, чтобы сохранить здоровье человека и противостоять той “нравственной заразе”, которая приходит к нам извне»; «У Беларуси крепкая иммунная система. Ваши неуклюжие попытки внедрить вирус революций дали обратный эффект – стали противоядием этому “цветному” недугу».*

Обращает на себя внимание совпадение мнения А. Лукашенко с позициями В. Ющенко о роли своей нации в деле творения европейских ценностных оснований: *«Наши белорусский народ был, есть и останется неотъемлемой частью европейской цивилизации; принципы, на которых мы хотим построить наше общество, и общеевропейские ценности Евросоюза не только не антагонистичны – они идентичны; для Беларуси есть не только наша Россия, но и наша Европа».*

В контексте представлений о Второй мировой войне структурируется и образ Запада. Вторая мировая война видится А. Лукашенко как центральный момент белорусской истории, как извечное предназначение белорусского народа.

Но, в отличие от Ющенко, у которого дискурсивно Советский Союз был одним из противников национальной независимости Украины, а воображаемый украинский народ являлся полноправным субъектом военных действий, как бы вне субъекта с именем «Советский Союз», у Лукашенко война ведется объединившимися народами СССР, в дискурсе о войне не присутствуют альтернативные точки зрения и она целиком остается в рамках советского исторического нарратива. Война служит фактом подтверждения истинности и природности претензий на возможность выбора «собственного» пути развития, приведшего в итоге к элементам авторитарности и некоторым «перегибам», и в итоге своеобразной «панацеей от всех бед», ответом на любые насущные вопросы и проблемы: *«Но мы не можем забыть того, что уничтожали наших людей не только немецко-фашистские захватчики, но и их приспешники разных национальностей. В том числе и прибалтийские эсэсовцы, сжигавшие белорусские деревни и города. И сегодня, находясь уже в составе Евросоюза, самого демократического, они – ветераны СС – проводят свои парады и вспоминают свое “боевое прошлое”. А их дети и внуки опять не прочь продиктовать, какой должен быть порядок в Беларуси»; «Мы, советские люди, в свое время встали на защиту главного права человека – права жить, трудиться, рас-*

тить детей. И не им сегодня учить нас правам человека. С собой пусть разберутся. Они залили кровью весь Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Югославию».

Великая Отечественная война становится залогом непогрешимости оценок и проектов президента Беларуси.

Мифология войны становится легитимирующим и оправдывающим средством в дискурсе Лукашенко не только виртуально, образно, но и практически: ветераны выходят в советники к президенту: *«мне вспоминается один разговор с нашими ветеранами Великой Отечественной войны. Они сравнили действия нынешних оппозиционеров, требующих санкций в отношении Беларуси, с позицией фашистских прихвостней, полицаяв».*

Лукашенко выстраивает причинно-следственные цепочки, оживляющие связь с войной, уничтожившей потенциал страны и до сих негативно отражающейся на положении Беларуси. Разрушительные события 60-летней давности детерминируют состояние экономики и духовную ситуацию в Беларуси: *«Мы не отрицаем: нам есть чему поучиться у многих стран мира, и прежде всего европейских. И мы учимся и не стесняемся этого. Только у нас, говоря спортивным языком, разный гандикап»* (возникший из-за последствий войны. – В.К.).

Роль Запада в победе союзников во Второй мировой войне не столь однозначна для Лукашенко: *«Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Это они спасли, которые как мыши под веником сидели в эту войну и высматривали, куда колеблется на фронте маятник».*

Проявляя стратегию амнезии и используя символический ресурс войны, в 2008 г. президент Беларуси определяет новые возможности для сотрудничества с Западом: *«Американцам нужно просто освежить в памяти некоторые события, свидетелей которых немало осталось в живых, и вспомнить то, что в последней войне мы были по одну сторону баррикад и вместе боролись с фашизмом»;* *«Они (американцы. – В.К.) ж тоже не глупые люди, они же – высокого уровня люди».*

Политика

При репрезентации политического образа Запада А. Лукашенко пытается достичь цели по легитимации сконструированной им самим идентичности Беларуси как уникальной страны с собственной моделью демократии. Для убеждения элит и рядовых избирателей в правильности и естественности проводимой им политики президент транслирует представление о Беларуси как изобретателе альтернативного пути развития, он артикулирует лишь отдельные элементы формации в соответствии с правилами цепочки эквивалентности и популистских техник.

В оценке же политики единый для экономики образ Запада разбивается дискурсивно на две составляющие и культуры: оперируя геополитическими категориями, он четко разводит в стороны Европу и США.

Признавая западные страны как демократические, Лукашенко для выражения сущности демократии вводит в оборот представление о собственной, якобы белорусской, модели демократии: *«Высшая форма демократии – это разговор напрямую с людьми».*

Для него она – *«здание, которое нужно строить постепенно, начиная с фундамента. Это во-первых. А кто сказал, что все эти здания должны быть похожи на те, которые построены в Германии или Америке?».*

Понимая политическую систему исключительно в рамках Конституции, на уровне задекларированных прав и обязанностей, Лукашенко делает Беларусь даже более продвинутой демократией, чем Великобритания: *«Наша политическая система вряд ли чем-то отличается, скажем, от системы, существующей в европейских государствах, в том числе и в Великобритании».*

Отрицая характеристики Беларуси как авторитарного государства и дискурсивно легитимируя преимущества оригинальной концепции народовластия, Лукашенко часто обращается к проблемам политического развития Запада, актуализируя процедурные вопросы избрания должностных лиц или демонстрации в некоторых странах Европы, избегая описания каких-либо других преимуществ или недостатков собственно демократии, что позволяет обозначить дискурсивную модель демократии у Лукашенко как сознательно ограниченную, не стремящуюся к тотальности: *«У таких “учителей” проблем с демократией у себя дома больше, чем нужно. Об этом свидетельствуют системные нарушения прав граждан и на президентских выборах в США, превращенные в фарс референдумы по вступлению новых членов в ЕС»; «Самая архаичная система выборов в Соединенных Штатах Америки».*

В отличие от украинского президента, избегающего детализации содержания Объединенной Европы, президент Беларуси активно концептуализирует внутреннее пространство Европейского союза, и наиболее близкой из стран Европы для А. Лукашенко является Франция. Это вызвано двумя причинами: с одной стороны, во Франции сильна президентская власть, в некоторых отношениях подобная полномочиям президента Беларуси, с другой стороны, данное государство получает много упреков от А. Лукашенко как самая проблемное в Европе: *«Вспомните французские события, когда в кольце оказался Париж – прекрасный город, глядя на который мы ахаем и охаем. Они пошли на введение чрезвычайного положения. И это – оплот демократии в мире»; «Франция – это страна высочайшей демократии»; «Мы чрезвычайное положение никогда не вводили и не думаем вводить. А “демократичная” Франция, как известно, недавно вводила».*

Оправдывая сильную президентскую власть, Лукашенко проецирует на прошлое вопросы эффективности парламента. Конструируя исторический нарратив Беларуси как страны, находившейся ранее в составе различных государств, он приходит к выводу: *«Парламентаризм – это говорильня и болтальня».*

Не указывая масштабы беспорядков и их последствия во Франции и других странах ЕС, А. Лукашенко сопоставляет их с выступлениями нескольких сотен протестующих в Беларуси.

Несколько отдельно от главных деятелей Евросоюза (Франции и Германии) стоит Великобритания как проводник политики США и страны-соседи Беларуси, в 2004 г. вступившие в ЕС, периодически создающие «мелкие пакости»: *«Во главе этого “крестового” похода против Беларуси встали наши соседи – новобранцы от Евросоюза».*

С точки зрения отношения к Беларуси единый образ Запада распадается на части.

Артикулируется образ европейских государств как пассивных участников мировых отношений, умеющих лишь возмущаться, возражать против проводимой главным игроком-шахматистом партии (*«Мы не фигуры в чьей-то игре. И не пешки на шахматной доске»*) – США: Америка – это «агрессор», «цинична», распространитель «опасностей», «заразы», творец «однополярного мира», родина ТНК, ей «услуживают страны». В свою очередь, Европа определяется следующими выражениями: *«Европа – трезвомыслящая женщина. Осторожная и заботливая»; «американцы душат европейцев»; «они начинают “плясать под дудку” Соединенных Штатов Америки»; «пример двойных стандартов и политики Европейского союза, которая, в общем-то, является продолжением политики Соединенных Штатов Америки».*

Попытка объяснить причины и выделить мотивы отрицательной позиции Евросоюза по отношению к Беларуси приводит президента Лукашенко к приписыванию Европе и Западу в целом атрибутов человека: физиологии и эмоциональной сферы (*«На нас искоса стали смотреть: “вот еще добавились, им тоже надо место под солнцем”»; «Они боятся правды; Против нас обрушилась вся “машина” – и на Западе, – все обрушилось на нашу страну. Не потому, что мы делаем что-то неправильно. Кто-то из-за зависти»; «Нелюбовь к Беларуси вызвана совсем другими причинами. Они касаются геополитической и экономической сфер»; «ваше цивилизованное демократическое лицо, вы его таким образом показываете всему миру»*).

Аналогично дискурсу В. Ющенко, А. Лукашенко выстраивает (где-то с 2006 г.) означающие таким образом, чтобы доказать изначальную «европейскость» Беларуси и ее роль в создании и защите общих для «дома» ценностей. Со временем такая позиция применяется интенсивнее и чаще: тактика превращается в стратегию – Беларусь уникальна не столько своей самоценностью, а как основатель и защитник европейского «здания»: *«Мы находимся в Европе и не собираемся паковать чемоданы или менять карту мира. Евросоюз для нас – торговый партнер номер два. Да и кроме экономики мы связаны тысячами нитей общих вызовов и проблем».*

Ключевой особенностью риторики президента Беларуси является ее изменчивый характер: хронологически можно проследить важные пункты, которые А. Лукашенко чаще актуализирует, «вербует» их в поле дискурсивности, поле «прибавоч-

ного значения» – постоянно наличных и в то же время остающихся вне зоны доступности ресурсов означающих.

Практики артикуляции, проводимые А. Лукашенко, не являются идентичными и одинаковыми, постоянными на протяжении всего исследуемого периода: периодически происходят перемены субъектных позиций и переопределение узловых точек собственной идентичности и образа Запада (примерно с конца 2004 г., но особенно в 2006 г.). Поначалу ментально и символически более далекий Запад становится ближе: Беларусь совместно с американцами сражалась против нацизма; неолиберальный дискурс вводит страну в глобальный стихийный рынок, организованный по правилам Запада; Беларусь определяется как мост, площадка между Европой и Россией, в итоге не сводимая ни к одному из «берегов».

Заключение

Данное исследование не претендует на полноту и всеохватность представленного описания и предлагает лишь альтернативные практики рефлексии над современными политическими трендами в регионе Пограничья. Возможно, его положения послужат как дополнения к большому количеству научных материалов, уже имеющихся и предстоящих быть.

В целом можно сделать такие краткие выводы.

Дискурсы президентов Украины и Беларуси В. Ющенко и А. Лукашенко при внешней несхожести обладают значительными совпадениями в логике конструирования и использовании концептов неолиберального дискурса, метафорических моделей представления Европы как здания, а также «центральности» своего положения в Европе.

При этом дискурс Ющенко сохраняет, по преимуществу, стабильность означающих и основной каркас на протяжении исследуемого периода с сохранением цепи различий, а Лукашенко меняет идентичность акторов и саморепрезентацию, переходя с логики цепи тождественности на принцип организации цепи различий, используя их скорее как символический капитал для постоянных переговоров с Россией и Западом.

Литература

- Fairclough N. Language in New Capitalism // *Discourse & Society*. 2002. Vol 13(2): P. 163–166.
- Howarth, D., Norval A. and Stavrakakis Y. (eds.) *Discourse Theory and Political Analysis*. Manchester: Manchester University Press, 2000. 243 p.
- Петров К. Концепт «Европа» в современном политическом дискурсе // *ПОЛИС*. 2004. № 3. С. 140-153.
- Русакова О., Максимов Д. Политическая дискурсология: предметное поле, теоретические подходы и структурная модель // *ПОЛИС*. 2006. № 4. С. 26–44.
- Середа В. Исторический дискурс в официальных речах президентов Украины и России. Сравнительный анализ // *Социология: теория, методы, маркетинг*. 2006. № 3. С. 191–212.

МИФ ДРУГОГО: КИТАЙ В ГЛАЗАХ ЗАПАДА*

1

Книга, которая считается одним из самых важных французских вкладов в философию нынешнего столетия – «Слова и вещи» Мишеля Фуко, – была вызвана к жизни отрывком из текста Хорхе Луиса Борхеса. Как говорит Фуко в предисловии, этот отрывок, возможно, был взят из «некой китайской энциклопедии», в которой мы находим весьма странный способ классификации животных:

«Животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору; б) бальзамированных; в) прирученных; г) молочных поросят; д) сирен; е) сказочных; ж) бродячих собак; з) включенных в настоящую классификацию; и) буйствующих, как в безумии; к) неисчислимых; л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти; м) и прочих; н) только что разбивших кувшин; о) издалика кажущихся мухами»¹.

Странная таксономия в этом отрывке не имеет никакого смысла, а метод классификации, если в этом безумии вообще есть хоть какой-то метод, целиком остается по ту сторону понимания. Что еще, если не смех, может быть ответом на этот хаос, который демонстрирует нелогичность высказывания и в то же время игнорирует ее?

* Zhang Longxi, “The Myth of the Other: China in the Eyes of the West,” in *Comparative Political Culture in the Age of Globalization: An Introductory Anthology*, ed. Hwa Yol Jung (Lanham, Boulder, New York, Oxford: Lexington Books, 2002).

Поэтому Фуко смеется. Однако, смеясь, он испытывает неловкость и даже подозрение, что этот возмутительный абсурд оказывает разрушительный эффект, дискредитируя привычные категории мышления и именования в языке, и этот монструозный пассаж угрожает подорвать «устойчивость и надежность нашего тысячелетнего опыта Тождественного и Иного», поскольку в нем высвечивается «экзотическое очарование иного способа мыслить» и в то же время показывается «предел нашего мышления – то есть совершенная невозможность мыслить *подобным образом*» [ОТ, р. xv]. Расположение животных в таком абсурдном порядке, точнее, в таком беспорядке, не дает возможности найти для них определенное место даже в *утопии*. Эта странная таксономия отсылает нас скорее к *гетеротопии*, невообразимому пространству, подрывающему саму возможность описания в языке. Она принадлежит, говорит Фуко, и к атопии, и к афазии – утрате соответствия между местом и именем. Борхес обращается к Китаю как к мифической родине этой странной таксономии, поскольку эта страна кажется ему наиболее удивительной; слово *Китай* вызывает образ региона, одно имя которого, согласно Фуко, содержит для Запада огромный запас утопий:

«Разве Китай не предстает в наших грезах привилегированным местом в пространстве? Для нашей системы воображения китайская культура является самой скрупулезной, самой иерархизированной, самой безразличной к событиям времени и наиболее сильно связанной с чистым развертыванием протяженности. Она нам видится как цивилизация дамб и запруд под ликом вечного неба, мы видим ее развернувшейся и застывшей на всей поверхности окруженного стенами континента. Даже само письмо этой цивилизации не воспроизводит в горизонтальных линиях ускользящий полет голоса; оно воздвигает в вертикальных столбцах неподвижный и все же опознаваемый образ самих вещей. Вследствие чего китайская энциклопедия, цитируемая Борхесом, и предлагаемая ею таксономия приводят к мышлению вне пространства, к беспризорным словам и категориям, которые, однако, покоятся на торжественном пространстве, перегруженном сложными фигурами, переплетающимися дорогами, странными пейзажами, тайными переходами и неподвижными связями; итак, на другом конце обитаемой Земли будто бы существует культура, всецело подчиненная протяженности, но не отпускающая изобилие своих живых существ ни в одно из тех пространств, в которых мы можем называть, говорить, мыслить» [ОТ, р. xix].

Таким образом, для Запада Китай (земля на Дальнем Востоке) традиционно предстает как образ абсолютного Другого. То, что делает в своей книге Фуко, направлено, разумеется, не на укоренение этого образа, а на то, чтобы показать, в свете Другого, как знание всегда обусловлено определенной системой и как трудно выйти за рамки исторически сложившегося – эпистемы, или фундаментальных

кодов западной культуры. И все же он серьезно относится к пассажиу Борхеса и говорит о его очевидной несовместимости с тем, что обычно мыслится о Китае в западной традиции. Если искать в рефлексиях Фуко какую-либо модификацию традиционного образа Китая, то это ассоциация Китая не с определенным местом, а с местом без какой-либо мыслимой определенности или связности, местом, которое делает совершенно невозможным любой логический порядок. Характерно, что Фуко даже не пытается предположить, что веселый пассаж из «китайской энциклопедии» мог быть придуман, чтобы представить западную визию Другого, и что нелогичный способ классификации животных в этом пассаже может быть чужд китайскому мышлению так же, как и западному.

На самом деле, монструозная бессмыслица и ее угроза ниспровергнуть западное мышление, незнакомое и чуждое пространство Китая как образа Другого, угрожающего разрушить все упорядоченные пространства и логические категории, оказывается, в самом буквальном смысле, западной фикцией. Однако эта фикция соответствует цели, которую преследует мысль Фуко, а именно – необходимость установления рамок для его археологии знания, предоставления ему возможности дифференцироваться самому от чуждого Другого, чтобы очертить контуры западной культуры, опознаваемой как отдельная система. Действительно, что может быть лучшим образом Другого, нежели вымышленное пространство Китая? Что может снабдить Запад более подходящим материалом для его мечтаний, фантазий и утопий?

Цитируемый Фуко отрывок появляется в эссе Борхеса в связи с Джоном Уилкинсом, английским ученым XVII в., епископом Честера, чья мысль была полна «любопытнейших счастливых идей», включая, помимо всего прочего, «возможность и принципы всемирного языка»². Как показывает Борхес, идея совершенного искусственного языка, построенного на основе строгой логической системы чисел или символов, ведет свое происхождение от Декарта, то есть изнутри западной философской традиции и ее желания классифицировать и систематизировать все феномены в мире. Однако попытка создания такого универсального языка оказалась тщетной, а все способы классификации Вселенной – неизбежно произвольными. Все эти «двусмысленные, приблизительные и неудачные определения» в системе Уилкинса напомнили Борхесу похожую нелепость, «которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием *Небесная империя благодетельных знаний*» [AL, p. 103]. Однако в эссе Борхеса нелепости «китайской энциклопедии» не призваны представить абсолютно чужой способ мышления, так как здесь же он упоминает «произвольность делений у Уилкинса и у неизвестного (или апокрифического) китайского энциклопедиста в Брюссельском библиографическом институте», каждый из которых тщетно пытался классифицировать все явления во Вселенной и исчерпывающим образом зарегистрировать «слова, определения, этимологии и синонимы таинственного словаря Бога» [AL, p. 104]. Борхес чрезвычайно восхищен смелыми, хотя и безуспешными и часто разрушительными попытками человека проникнуть в божественное мироустройство, и «китайская эн-

циклопедия» представляет собой лишь часть этого неудачного, но все же героического стремления постичь тайну Бога. Хотя он и упоминает в качестве источника доктора Франца Куна, немецкого китаевода и переводчика китайской литературы и даже приводит название «китайской энциклопедии», так называемая *Небесная империя благодетельных знаний* не существует нигде, кроме собственного воображения писателя. Вообще, для Борхеса было характерно смешивать в своих сочинениях эрудицию и воображение, давая реальные названия и заглавия воображаемым объектам.

В «Конгрессе», одном из самых длинных рассказов Борхеса, также встречается китайская энциклопедия. На сей раз ее вымышленные тома стоят рядом с Британникой, Ларуссом, Брокгаузом и другими «настоящими» энциклопедиями в справочной библиотеке Конгресса. «Помню, – говорит рассказчик истории, – как благоговейно гладил переплетенные в шелк тома некоей китайской энциклопедии, чьи заботливо выведенные значки казались мне таинственной пятен на шкуре леопарда»³. Как и эссе об Уилкинсе, «Конгресс» описывает амбициозную интеллектуальную попытку организовать все сущее и создать порядок из хаоса. Он также драматизирует неудачу этой попытки, показывая сжигание всех книг, собранных членами Конгресса, включая китайскую энциклопедию. Кстати, энциклопедия – один из наиболее часто повторяющихся образов в творчестве Борхеса, поскольку она концентрирует интеллектуальную власть и способна создать в языке собственный систематический и идеальный мир среди запутанных лабиринтов Вселенной. Искусственные языковые системы возникают из желания установить порядок в хаотичной Вселенной, а энциклопедии репрезентируют основную форму такого упорядоченного выстраивания явлений. В рассказе «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», одном из лучших фантастических рассказов Борхеса, Укбар – странная земля идеальных объектов – не существует нигде, кроме как на страницах энциклопедии, а именно – в XLVI томе *Англо-американской энциклопедии*, которая, если верить рассказчику, представляет из себя «буквальную, но запоздалую перепечатку *Encyclopaedia Britannica* 1902 года». Но все же статья об Укбаре не может быть найдена там, поскольку существует только в экземпляре Биоя Касареса, приобретенном «на аукционе», где чудесным образом находятся четыре дополнительные страницы, содержащие эту статью⁴. Иными словами, эта энциклопедия существует только в вымышленном мире Борхеса, которому он игровым способом придает определенную вероятность через упоминание *Encyclopaedia Britannica* и Биоя Касареса, реального человека. В другом рассказе, «Сад расходящихся тропинок», доктор Ю Цун, китайский профессор, который шпионит в пользу немцев, находит в библиотеке английского китаевода «несколько переплетенных в желтый шелк рукописных томов Утраченной Энциклопедии, изданием которой ведал Третий Император Лучезарной Династии и которую так и не отпечатали»⁵. Их нахождение в маленьком безвестном иностранном городе, где должно произойти убийство, усиливает иронию в адрес предполагаемой функции энциклопедии как средства упорядочения.

Борхес видит Вселенную как лабиринт с бесчисленными проходами, коридорами, извилистыми дорожками и тупиками, лабиринт, где есть свой таинственный порядок, недоступный человеческому разуму. Поэтому безуспешная попытка классификации в китайской энциклопедии, вроде искусственного языка Уилкинса, символизирует абсурдность человеческой мысли, которая, несмотря на ограниченность своего знания и неадекватность языка, пытается охватить огромное лабиринтообразное творение Вселенной. С другой стороны, литературное творчество для Борхеса – это тоже создание лабиринта. Соединяя имя реального китаеведа с выдуманным названием издания, Борхес создает путаницу, призванную озадачить и ввести в заблуждение читателей. Многие критики отмечали «эзотерическую эрудицию» Борхеса, которая, помимо того что является подлинной эрудицией, часто эзотерична лишь потому, что писатель смешивает свои знания с вымыслом и стирает как границы между истиной и воображением, так и родовые границы между эссе и рассказом. Борхес не только шутивно играет с читателем, который наслаждается его фантастическим стилем, но и с критиком, который пытается расшифровать его отсылки. Поэтому несложно предположить, что авторство китайской энциклопедии принадлежит Борхесу – мифотворцу и автору фантастических рассказов, а тот удивительный пассаж, который цитирует Фуко, есть не что иное, как добродушная шутка, вымышленный фрагмент вымышленной книги.

У нас, однако, нет оснований подозревать, что Борхес придумывает китайскую энциклопедию, чтобы представить чужую культуру, поскольку в его словаре слово *китайский* – не синоним Другого. Действительно, как вспоминает сам Борхес, в стихотворении «Хранитель книг» он даже принимает воображаемую китайскую идентичность: «Я старался быть китайцем, как и подобает хорошему студенту Артура Уэйли»⁶. В своих попытках преодолеть пространственные и временные ограничения и постичь сущность различных культур и историй он всегда отдавал предпочтение общей сущности всех людей перед их различиями. «Мы слишком любим подчеркивать наши мелкие различия, нашу ненависть, – говорил он, – и это неправильно. Чтобы спасти человечество, мы должны сосредоточиться на наших сходствах, на точках соприкосновения всех людей; всеми силами мы должны избегать подчеркивания наших различий»⁷. Борхес особенно чувствителен к проблеме Другого, и тема двойной идентичности постоянно проходит через его произведения, где Другой часто оказывается не Другим, но одним и тем же Я⁸.

2

В самом деле, не стоит идти слишком далеко в поисках Другого. То, что составляет суть нашего бытия, определяет саму нашу идентичность и особенности мира, в котором мы живем, то есть потребность иметь какое-либо знание о нас самих и нашей культуре, всегда можно удовлетворить актом различения. Одно из своих суждений Спиноза формулирует следующим образом: «Все единичное, иными сло-

вами, всякая конечная и ограниченная по своему существованию вещь может существовать и определяться к действию только в том случае, если она определяется к существованию и действию какой-либо другой причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию»⁹. Это, безусловно, один из элементарных принципов логики, который провозглашает, что Я всегда соотносено с Другим и что ничто не может быть определено само по себе, но лишь будучи отличным от того, чем оно не является (по выражению Спинозы, «определение есть отрицание»¹⁰). Благодаря Фердинанду де Соссюру мы знакомы со структурным принципом бинарной оппозиции в мышлении и в языке, согласно которому язык – это система терминов, определяющих друг друга во взаимном различии. Эта идея четко представлена в загадочном платоновском диалоге «Парменид»: «Если же об ином можно рассуждать, то иное есть другое; в самом деле, разве не одно и то же обозначашь ты словами “иное” и “другое”?»¹¹

Философские дискуссии о Другом, очевидно, происходят из тех проблем, которые встают перед нами, когда мы пытаемся понять чужие культуры, особенно если культуры так разительно отличны друг от друга. Редьярд Киплинг однажды написал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда»¹². Стоит отметить, что поэт опознает Восток и Запад как два отдельных друг от друга объекта, указывая, что они не только с мест не сойдут, но и каждый из них сознает *друговость* Другого. Восток, предстающий тем Другим, в противопоставлении которому Запад может опознать себя, является концептуальной константой в процессе самопонимания Запада, и поэтому образ Востока выстраивается в этом формативном процессе соответственно выстраиванию самого Запада. Как культурная сущность, измышленная на Западе, Восток, согласно Эдварду Саиду, является исключительно европейским изобретением:

«Нам следует серьезно отнестись к глубокому наблюдению Вико о том, что люди творят свою историю сами, и то, что они могут познать, зависит от того, что они могут сделать, и распространить его на географию, поскольку географические и культурные сущности (не говоря уже об исторических) – такие как отдельные местоположения, регионы, географические секторы, как «Запад» и «Восток», – также рукотворны. Поэтому, как и сам Запад, Восток – это идея, имеющая историю и традицию мышления, образный ряд и свой собственный словарь, которые обуславливают его реальность и присутствие на Западе и для Запада»¹³.

Хотя, говоря о Востоке, Саид имел в виду Ближний Восток, сказанное им можно применить и к Дальнему Востоку, особенно к Китаю как месту локализации Другого и парадигме, имеющей историю, традицию мышления, образный ряд и свой собственный словарь. Известный принцип Вико *verum factum* имеет особый смысл для Саида. Он определяет критерий истины в терминах взаимообратимости истин-

ного и сделанного, тем самым поднимая гуманитарные науки на более высокую ступень по отношению к естественным, поскольку тайна природы известна лишь Богу-Творцу. Вместе с тем Вико говорит: «...первый мир Гражданственности был, несомненно, создан людьми. Поэтому соответствующие Основания могут быть найдены (так как они должны быть найдены) в модификациях собственного человеческого ума»¹⁴. В греческом смысле слова люди – это поэты, то есть творцы, которые не только создавали мир, в котором живут, и мифы, объясняющие их опыт мира, но и «порождали самих себя» [NS, p. 112]. Согласно Вико, ничто не может быть познано, если оно не испытано, и ничто не имеет смысла, если оно не приспособлено к человеческому мышлению, которое налагает свой образ на мир и на наш опыт мира. Исследование изменений человеческого мышления от пралогического в конкретных образах до логической концептуализации занимает большое место в теории знания Вико, убежденного в эпистемологической ценности мифического мышления первобытных обществ и отказывающегося принимать картезианский рационализм как единственный критерий, универсально применимый ко всем эпохам и культурам.

Похоже, это открывает новое историческое видение, которому Эрих Ауэрбах с энтузиазмом приписывает расширение эстетического горизонта на Западе с начала XIX в. Следуя Вико, Ауэрбах с искренней уверенностью провозглашает, что мы теперь способны признавать самостоятельную значимость древних и чужих цивилизаций и культивировать подлинную широту эстетического вкуса и суждения. Благодаря «Новой науке» Вико, которая для Ауэрбаха является подлинно «коперниканским открытием» в исторических исследованиях,

«никто не объявит готический собор или китайский храм уродливыми строениями из-за их несоответствия классическим моделям красоты; никто не сочтет «Песнь о Роланде» варварским, уродливым, монструозным сочинением, недостойным сравнения с классическим совершенством, достигнутым в “Генриаде” Вольтера. Наш исторический способ чувствования и суждения так глубоко укоренился в нас, что мы перестали осознавать это. Мы наслаждаемся изобразительным искусством, поэзией и музыкой самых разных народов и периодов и одинаково способны понимать их»¹⁵.

Памятуя высказывание Фуко о Другом, не стоит удивляться, что Ауэрбаху пришлось вспомнить китайский храм, чтобы представить чужую концепцию красоты. Однако в XVIII в. те, кто всерьез устал от моды на китайщину, часто упоминали готическое и китайское в одной связке как одинаково гротескное и экстравагантное, что ясно продемонстрировано в сатирических строках из «Cit's Country Vox» Роберта Ллойда:

Now bricklay'rs, carpenters and joiners,
With Chinese artists and designers,
Produce their schemes of alteration,

To work this wondrous reformation.
The trav'ler with amazement sees
A temple, Gothic or Chinese,
With many a bell, and tawdry rag on,
And crested with a sprawling dragon¹⁶.

Поскольку Китай очень долго был мифом и символом различия, оценка элегантности китайского храма действительно могла быть реальным подтверждением истинного духа космополитизма, бесспорным свидетельством триумфа эстетического историзма.

Преодоление догматических предрассудков и провинциализма, культивирование исторического чувствования и подлинного интереса ко всей совокупности творческого опыта человечества, готовность воспринимать художественные достижения древних и чужих культур и наслаждаться ими – все это может логически следовать из теории Вико, но признание эстетической ценности китайской архитектуры и китайского искусства относится ко взглядам скорее Ауэрбаха, нежели Вико. Ибо в «Новой науке» Вико характеризует Китай и все китайское в традиционной манере, где Китай представляется местом, категорически недоступным революционным изменениям времени. Китайцы, полагает Вико, «так же, оказывается, пишут иероглифами, как в древности египтяне», они «хвастаются чудовищной Древностью, ибо во мраке собственной замкнутости, не имея сношений с другими нациями, не видят истинного света» [NS, p. 32, 45]. Конфуцианская философия, как и «египетские жреческие книги», «груба и неуклюжа», почти полностью посвящена «народной морали» [NS, p. 33]. Китайская живопись, по мнению Вико, также «чрезвычайно неуклюжа», китайцы «не умеют еще накладывать тени в живописи». Даже китайский фарфор не производит на него впечатление, поскольку китайские фарфоровые статуэтки кажутся ему «столь же грубыми, как и египетские предметы в литейном искусстве» [NS, p. 51]. Постоянно подчеркиваемое Вико сравнение китайцев с египтянами показывает, что и те и другие представляют в традиционном понимании Запада абсолютно чужие цивилизации, стоящие в стороне от всякого исторического прогресса, безжизненные, замороженные в абсолютной, бесконечной неподвижности. Ирония, однако, состоит в том, что этот традиционный образ Китая сам оказывается «бесконечно замороженным», мы его находим практически неизменным в работах Фуко и других современных мыслителей, которые, несмотря на более качественные знания, открытые западными учеными благодаря прогрессу китаеведения, продолжают мыслить о Китае в тех же самых категориях, что и Вико около двухсот лет назад: «...цивилизация дамб и запруд под ликом вечного неба... культура, всецело подчиненная протяженности, но не отпускающая изобилие живых существ ни в одно из тех пространств, в которых мы можем называть, говорить, мыслить» [OT, p. xix].

3

Взгляд Вико, однако, не исчерпывает всю картину Китая в западной мысли того времени. В XVIII в., как утверждает Адольф Райхвайн, произошел первый «метафизический контакт» между Китаем и Европой, и западный взгляд был тогда в значительной степени доброжелательным. Райхвайн убежден, что эпоха рококо была проникнута духом, родственным духу китайской культуры, проявленному в произведениях изящного искусства, завезенных из Китая: «Возвышенный в деликатных тонах хрупкого фарфора, в тончайших оттенках мерцающих китайских шелков, он открыл умам благородного европейского общества XVIII в. видение счастливой жизни, к которой они сами стремились в оптимистических грезах»¹⁷. В известной ирокомической салонной поэме Александра Поупа «Похищение локона» можно видеть, как фарфор становится важным символом женственной составляющей рококо. Отрезание локона у прекрасной Белинды – кульминация поэмы – предвещается разбиванием «хрупкого китайского кувшина» или нескольких фарфоровых сосудов¹⁸. И действительно, фарфор, шелк, глазурь, обои, китайские сады, китайские тени – все эти вещи в Европе XVIII в. сформировали моду на китайщину.

Основываясь в значительной степени на доброжелательных сообщениях иезуитских миссионеров и на их переводах некоторых произведений китайской классики, как и на первых работах Хуана Гонсалеса де Мендосы, Луи Даниэля Ле Конта и особенно «Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise» Жана Батиста Дю Хальда, многие философы XVIII в. находили в Китае и во всем китайском модель нации, организованной на высокоразумной и моральной основе. После «Lettres persanes» Монтескье появились десятки подражателей, комментировавших современную европейскую жизнь от лица иностранца, в том числе несколько собраний «китайских писем». Примером этого своеобразного жанра в англоязычной литературе может служить «Гражданин мира» Оливера Годсмита, где возможности жанра в полной мере использованы для сатиры на неудовлетворительное состояние современной Англии. Во Франции Мишель Монтень уже в XVI в. говорил о Китае как о великой нации, которая помогла ему осознать, «насколько мир обширнее и разнообразнее, чем древние и даже мы сами полагали»¹⁹. Дональд Лэч совершенно прав, когда подчеркивает, что Монтень «использует Восток, чтобы поддержать свое убеждение в относительности знания, бесконечном разнообразии мира и универсальности моральных предписаний», и что он видит в Китае «пример для Европы, какого он никогда не встречал больше нигде в заморских странах»²⁰. Монтень, как и Годсмит, используют Китай для достижения целей, связанных, по существу, не с Китаем, а с самопознанием Запада.

В XVIII в. китайщина стала больше, чем просто модой в повседневной социальной жизни. Для Вольтера Китай был «наиболее разумной властью мира» («*le plus sage empire de l'univers*»)²¹. Он отмечал, что китайцы, как и французы двести лет назад или древние греки и римляне, не были хорошими механиками или фи-

зиками, «но они усовершенствовали этику, которая есть первая из наук» [E, 1:68]. Он чрезвычайно восхищался Конфуцием за то, что тот советовал быть добродетельным, не проповедовал никаких таинств и учил «чистым максимам, в которых невозможно найти ничего низкого и никаких глупых аллегорий (*“Rien de bas, et rien d'une allégorie ridicule”*)» [E, 1:70]. Философы Просвещения открыли для себя Конфуция в то время, когда они сами стали весьма критически относиться ко всем европейским институтам, пытаясь отделить христианскую этику от церковных догм. Они, к своему изумлению, обнаружили, что в глубокой древности в Китае – стране, чья материальная продукция вызывала восхищение обычных людей на рынке, – Конфуций учил философии построения государства на основе этического и политического *bon sens* и что китайская цивилизация на протяжении многих веков развивалась на принципах, отличных и во многих отношениях более высоких, нежели те, на которых развивался Запад. «Таким образом, – говорит Райхвайн, – Конфуций стал святым покровителем Просвещения XVIII в. Только через него можно было найти соединительное звено с Китаем» [CE, p. 77].

Райхвайн утверждает, что в 1760 г., после «*Essai sur les moeurs*» Вольтера, европейское восхищение Китаем достигло своего апогея. Однако Цянь Чжун-шу в глубоком исследовании китайской темы в английской литературе XVII–XVIII вв. показывает, что Райхвайн в своей книге необоснованно оставил в стороне английскую литературу, где ситуация была несколько иной: в Англии синофилия пережила свой расцвет в XVII в., а в XVIII в. она уже приходит в упадок, что особенно ярко прослеживается в английской литературе²². Цянь приводит в своем исследовании много примеров тому, как в умах англичан смешивались факты и вымыслы о Китае, поскольку Китай все еще оставался для них скорее легендарным, нежели реальным пространством, и английские литераторы рассуждали о Китае преимущественно в гуманистическом, а не в реалистическом контексте. Возможно, по причине того, что эти писатели обладали неверной информацией, у них возникали странные идеи и нелепые представления, распространению которых они сами же и способствовали. Сегодня они нам интересны лишь потому, что говорили о Китае как о Другом, как о стране, незнакомые контуры которой могли заполняться самыми разными фантазиями, философскими спекуляциями и утопическими идеализациями.

Большой интерес представляет их дискуссия о языке и письменности в Китае. Основываясь, возможно, на Мендосе, Фрэнсис Бэкон отмечает, что в Китае для письма «используются некие реальные знаки, выражающие не буквы и не слова, а вещи или понятия»²³. Далее Бэкон говорит о языке как «органе традиции», определяя, вслед за Аристотелем, слова как «знаки мыслей», а буквы – как «знаки слов». Но слова, продолжает Бэкон, есть не единственные посредники при выражении мыслей, так как «мы знаем, что народы, говорящие на разных языках, тем не менее прекрасно общаются друг с другом с помощью жестов. И мы являемся свидетелями того, как некоторые люди, глухонемые от рождения, но обладающие определенными умственными способностями, вступают в удивительные разговоры друг

с другом и со всеми, кто изучил их жестикуляцию»²⁴. В этом контексте говорится и о китайском использовании знаков для коммуникации между собой без понимания разговорного языка друг друга. Если это признак «варварства», если китайские знаки не выражают ни слов, ни букв, – то есть не являются знаками мыслей и их передачей в алфавитном письме, – то, очевидно, китайский язык является изначальным языком. И это положение, как мы увидим дальше, легло в то основание, от которого некоторые писатели пытались оттолкнуться в своих энергичных поисках «изначального языка» – «изначального» в смысле принадлежности ко временам начала и происхождения мира: первого языка, созданного Богом и использованного допотопными людьми, языка чистого и простого, еще не затронутого смешением языков в вавилонском столпотворении.

Многие иезуиты распространяли мнение, что китайцы были потомками Ноя и получили от него принципы естественной религии, которая хорошо подготовила их к принятию света христианства. Под влиянием такого воистину мифического представления Уолтер Рейл в своей «Истории мира» (1614) утверждает, что Ноев ковчег, в конце концов, остановился на Востоке, где-то между Индией и Китаем; а Томас Браун объявляет, что «китайцы, живущие на краю Земли... возможно, могут дать образец очень древнего языка», поскольку при использовании общих для всех письменных знаков китайцы в состоянии были, несмотря на разноречивые разговорные наречия, «пользоваться трудами почитаемого ими Конфуция за много сотен лет до Рождества Христова, а исторически они восходят к самой эпохе Ноя»²⁵. Джон Уэбб представил в томике формата в 1/8 листа самый интригующий аргумент по поводу китайского языка и, вероятно, первое основательное исследование этого предмета на Западе. Тезис его книги четко был заявлен в заглавии: «Историческое эссе, рассматривающее вероятность того, что язык Китайской империи есть изначальный язык». В посвященном Карлу II послании, датированном 29 мая 1668 г., Уэбб утверждает, что «продвинулся к ОТКРЫТИЮ той КЛАДЕЗИ Учения, которая от самой СТАРИНЫ лежит, скрытая в ИЗНАЧАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ»²⁶. Он объясняет, что в его намерение входит «обсудить не что не может, а что, вероятно, может быть Первой Речью» [HE, p. iii]. При том авторитете, которым пользовались Библия и «Священная История» в XVII в., аргумент Уэбба должен был произвести на его современников впечатление логически простого и убедительного. Со свойственной ему силлогистической аргументацией, твердо основанной на Священном Писании и истории, Уэбб говорит:

«Священное Писание научает, что вся Земля имела один язык до столпотворения в ВАВИЛОНЕ; история сообщает, что КИТАЙ был населен, когда на Земле был еще один язык, до того столпотворения. Священное Писание научает, что кара смешения языков упала на тех, кто был в ВАВИЛОНЕ; история сообщает, что КИТАЙЦЫ, полностью отделившиеся прежде, там не были; и сверх того, тот же язык и те же знаки, которые использовались ими задолго до смешения, ис-

пользуются ими и СЕГОДНЯ; это согласуется как с еврейской, так и с греческой хронологией» [HE, pp. iii–iv].

Сам Уэбб китайского языка не знал, но, воспользовавшись всеми работами, доступными в то время, он уверенно утверждал, что «в *Китае* после потопа первоначально обосновался либо сам *Ной*, либо один из сыновей *Сима* перед тем, как они отправились в *Сеннаар*» и поэтому «можно с большой вероятностью утверждать, что язык *КИТАЙСКОЙ империи* есть *ИЗНАЧАЛЬНОЕ наречие, которое было общим для всего мира до потопа*» [HE, p. 31,32, 44]. Довольно мастерски проследив изменения в произношении и правописании, он даже доказал, к своему собственному удовлетворению, что китайский император Яус (очевидно, легендарный Яо) был не кто иной, как Янус, которого многие выдающиеся авторы идентифицировали как самого Ноя! Наконец, он предложил «шесть основополагающих принципов» открытия изначального языка: древность, простота, всеобщность, сдержанность выражения, практичность и краткость, благодаря которым может быть достигнуто согласие говорящих²⁷. Поскольку в китайском языке он находит эти особенности в большом количестве, он не сомневается, что китайский язык есть изначальный или первый язык.

Восторг Уэбба китайской цивилизацией очевиден, так же как и то, что в основе его оценки Китая лежат западные ценности. Для него, так же как и для многих других авторов XVII в., мечтавших увидеть идеальную страну, в которой их грезы стали бы реальностью, Китай и был такой сказочной страной. Уэбб не видит никакой трудности в том, чтобы рассматривать Китай в качестве реализации христианских и платонических идеалов, поскольку Китай – это «*de civitate Dei*, Град Божий», «их короли могут быть названы философами, а философы – королями» [HE, p. 32, 93]. Китайских поэтов он превозносит за то, что их произведения не наполнены «баснями, фикциями и тщеславными аллегориями так, что когда поэтический экстаз автора угасает, он не в состоянии ничего понимать» [HE, p. 98]. Уэбб отмечает, что в китайской поэзии есть «*героические* вирши» для дидактических целей, стихи о природе, а также стихи, «которые говорят о любви, однако не так легкомысленно, как наши, и на столь целомудренном языке, что в них невозможно найти ни одного слова непристойного или оскорбительного для самого требовательного человека». А самое замечательное, сообщает он читателям, что у китайцев «нет букв, которые обозначали бы *половые органы*, и упоминание о них невозможно найти ни в одной из их книг». Этот благочестивый феномен, утверждает он, происходит из «отвращения к тому позору, который испытал *Ной*, когда была открыта его нагота» [HE, p. 98, 99].

Для Уэбба, как столетием позже для Вольтера, прогресс этики в Китае (результат чистого неразвращенного государства и естественной религии) заслуживает величайшего восхищения. Книга Уэбба, комментирует Цянь, представляет наилучшее знание Китая, доступное в то время; она вдохновенна и проникновенна, делает акцент на «культурном аспекте Китая, вместо того чтобы интересоваться *mélange*

adultère de chinoiseries»²⁸. Так что не будет преувеличением сказать, что в Англии, как могут свидетельствовать работы Уэбба и некоторых других авторов, восхищение Китаем и китайской культурой достигло своего апогея в XVII в.

4

После периода воодушевленного увлечения обычно наступает разочарование и охлаждение. И действительно, в английской литературе XVIII в. мы видим несколько иную картину Китая. Это, конечно, прежде всего связано с серьезными социальными изменениями. Идеализация Китая в XVII в. частично основывалась на религиозных интересах, побудивших иезуитских миссионеров идти в Китай и изучать его культуру. Однако для так называемого Века Разума евангелическое рвение уже менее характерно: в английской литературе персонаж, который теперь отправляется в Китай, как правило, не миссионер, а практически мыслящий обыватель вроде Робинзона Крузо. Во второй части романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» его герой комментирует свое путешествие по китайским городам. Крайне отрицательные впечатления Робинзона Крузо представляют собой полный отход от доброжелательного взгляда, который мы находим в литературе предшествующего периода. Этот знаменитый путешественник все время сравнивает «действительность», которую он наблюдает в Китае, с европейской и тем самым представляет азиатскую страну в невыгодном свете, что весьма характерно для колониального империализма Британской империи:

«Что замечательного можно найти в китайских постройках по сравнению с европейскими дворцами? Чего стоит китайская торговля по сравнению с торговлей Англии, Голландии, Франции и Испании? Что такое китайские города по сравнению с нашими в отношении богатства, силы, внешней красоты, внутреннего убранства и бесконечного разнообразия? Что такое китайские порты с немногочисленными джонками и барками по сравнению с нашей навигацией, нашими торговыми флотами, нашими мощными военными кораблями? Наш Лондон ведет более обширную торговлю, чем вся необъятная Китайская империя. Один английский, голландский или французский восьмидесятипудовый линейный корабль разбил бы и уничтожил весь китайский флот»²⁹.

Если Уэбб видел в Китае «Град Божий», то Робинзон Крузо, напротив, считал китайцев «варварским языческим народом, почти что дикарями». Он не может понять, почему англичане «превозносят могущество, богатство, пышность и торговлю китайцев, ибо, по моим собственным наблюдениям, китайцы показались мне презренной толпой или скопищем невежественных, грязных рабов с соответствующим правительством»³⁰. Если китайцы пользуются репутацией мудрых, то они мудры лишь «среди глупцов»; их религия, «полностью сосредоточенная в максимак Кон-

фуция», есть «в действительности не более чем рафинированное язычество»; а их правительство – не что иное, как «абсолютная тирания»³¹.

Столь остро критический взгляд действительно резко контрастирует с восхищением Китаем в XVII в., но голос Дефо – не единственный голос разочарования. Например, доктор Джонсон, несмотря на его «особенное восхищение по поводу посещения Китайской стены», называет китайцев «варварами», поскольку видит «грубость» в том, что «у них нет алфавита. Они были не в состоянии сформировать то, что сформировали все остальные нации»³². Слово «грубость», которым Джонсон характеризует Китай, напоминает нам Вико, но в этом случае доктор Джонсон может спорить ради спора, в котором он предпочитает твердо стоять на своем просто потому, что Босуэлл предлагает иной взгляд. Однако в его введении к книге сэра Уильяма Чемберса «Китайская архитектура», которая ему очень нравилась, есть и другие примеры. Здесь Джонсон объявляет, что не «входит в число восторженных поклонников китайского превосходства». Он уверен – и у него есть на это серьезные основания, – что большая часть этих восторгов порождена «новизной»; и он пытается уравновесить «безграничные панегирики, которые расточаются Китаю после изучения китайского языка, политики и искусств»³³. Очевидно, что, в то время как французские философы отдавали очень высокую дань уважения Конфуцию и китайской цивилизации, у их английских современников было уже несколько иное мнение.

Безусловно, картина европейского восприятия Китая в XVIII в., нарисованная Райхвайном, не выглядит столь радужной, как это было раньше. Он и сам отмечает реакцию против чрезмерных похвал Китаю со стороны Вольтера, безразличие Фридриха Великого, глубокий скептицизм, презрение и критику со стороны Руссо, Монтескье, Фредерика-Мельхиора Грима, Франсуа де Фенелона и многих других; но Райхвайн отбрасывает всех этих хулителей Китая как «ограниченных условностями системы» [CE, p. 94] и представляет восторженные высказывания Гёте о китайцах как своего рода апофеоз своей книги. Он расценивает «Chinesisch-deutsche Jahresund Tageszeiten» как труд, который свидетельствует о дружественном восприятии Гёте китайского мира в последние годы его жизни. «Все, принадлежащее этому миру, – говорит Райхвайн, – казалось ему легким, тонким, почти эфирным, отношения вещей чистыми и ясно определенными, внутренняя и внешняя жизнь безмятежной и свободной от потрясений, чем-то вроде доведенной до совершенства игры в волан без единого неуклюжего движения» [CE, p. 145]. Но после Гёте концепция Китая в Европе XIX в. претерпела радикальные изменения, поскольку влияние иезуитов начало падать и верх одержал практический коммерческий взгляд. В результате Китай потерял свое духовное значение для Запада, и «в общественном мнении утверждается идея Китая лишь как первоклассного мирового рынка» [CE, p. 150]³⁴. Тогда и было порождено много неверных представлений философами и историками, особенно теми, кто видел Китай в состоянии вечной неподвижности и бездействия; эта идея, основательно развитая и обоснованная в работах Гегеля, Ле-

опольда фон Ранке и других, стала неотъемлемой частью традиционного образа Китая в глазах Запада.

В Америке мы находим позиции и концепции, во многом следующие европейским образцам. Гарольд Айзекс, опросив многих людей, сыгравших большую роль в формировании общественного мнения о Китае и Индии, убедился, что в Америке относительно Китая присутствуют фактически «все разновидности заблуждений, имеющих место в отношении Азии вообще». То есть большинство образов и концептов «обладают качеством удаленности, экзотичности, причудливости, странности, неизвестности и – вплоть до недавнего времени – не связаны с самыми существенными сторонами китайской жизни»³⁵. В 1942 г., через четыре месяца после Пёрл-Харбора, национальный опрос показал, что 60% американцев не знают, где на карте мира находятся Китай или Индия, правда, к концу войны знание о Китае у американцев несколько выросло благодаря тому, что китайцы были союзниками в войне с Японией. Очевидно, в сознании американцев присутствуют два набора образов, приоритет которых зависит от социально-политической атмосферы эпохи. Китай видится американцам то статичным, то хаотичным и беспокойным, то мудрым, то погруженным во мрак невежества, то сильным, то слабым, то честным, то хитрым и т.д. и т.п. В популярных голливудских фильмах есть, с одной стороны, известный злодей Фу Мань-чу, а с другой – умный сыщик-псевдоконфуцианец Чарли Чань. Конечно, актеры, игравшие Фу Мань-чу и Чарли Чаня, не были китайцами, и этот факт говорит сам за себя. Как полагает Айзекс, «исследуя образы, в которых мы представляем китайцев и индийцев и говорим о них, мы можем много узнать о китайцах и индийцах, но больше всего узнаем о себе»³⁶.

Речь действительно идет об отражении собственного Я в зеркале, которое мы называем Другим, и в отношении китайцев этот тезис ничуть не менее справедлив, чем в отношении европейцев к американцам. Но все же здесь существует одно серьезное различие: если западные люди склонны рассматривать китайцев как фундаментально Другого, то китайцы думают, что западные люди должны стремиться стать подобными китайцам, если они хотят быть цивилизованными людьми. В 52-й главе «Мечты о красной комнате», известной также как «История камня», – самого знаменитого романа классической китайской литературы – мы встречаем западную девушку «из страны Эбенаш», которая не только «прекрасно понимает» китайскую литературу, но и «может истолковать *Пятикнижие** и пишет стихи по-китайски»³⁷. Стихи, которые она написала, были настолько замечательны, что получили высокую оценку от главных героев этого романа. Для классически образованного китайца литературное творчество является показателем культурного уровня, и сочинение стихов может стать символическим актом инициации, посредством ко-

* Пятикнижие (У-Цзин) – собрание пяти конфуцианских канонических книг. В него входят И-Цзин (Книга перемен), Ши-Цзин (Книга гимнов и песен), Шу-Цзин (Книга записанных преданий), Ли-Цзи (Записки о совершенном порядке вещей, правления и обрядов) и Чунь-Цю (Летопись княжества Лу). – *Прим. пер.*

того иностранец получал право доступа в общество культуры, где главной ценностью является китайский язык (и где Другой, как культурная проблема, не существует).

Такая эгоцентрическая позиция имела серьезные негативные последствия, когда пришлось реально иметь дело с Другим. Вступая в контакт с Западом, китайский император и его министры не представляли, что могут быть иные отношения, нежели те, когда китайский император, Сын Неба и повелитель Среднего Царства, любезно принимает почтение и дань, которую иностранные короли должны заплатить, если желают дружить или торговать с Поднебесной. Китай был единственным центром цивилизации, в то время как все остальные страны считались варварскими. В этой неадекватной картине Другого, разумеется, невозможно найти ничего, кроме невероятного невежества и высокомерия китайских правителей. Эту ситуацию выразительно демонстрирует письмо императора Цянь-лун королю Георгу III от 1793 г. В нем император говорил королю Англии, что «достоинство и престиж Поднебесной распространились далеко и широко, короли бесчисленных народов приходят сюда по земле и по морю со всевозможными ценными товарами. Следовательно, нет ничего такого, чего бы мы не имели, и это могли видеть и ваш посланник, и другие чужестранцы. Нам не нужны странные и вычурные товары, мы никогда не нуждались в вашей мануфактуре»³⁸. Неудивительно, что внешняя политика, основанная на таком невежестве и высокомерии, позже обернулась бедствием для Китая; болезненный опыт модерной истории привел китайцев – в том числе китайских интеллектуалов – к признанию значимости Запада. Возможно, не будет преувеличением сказать, что вся история современного Китая была длинной цепью столкновений между Востоком и Западом, между традицией и модерностью и будущее Китая зависит от их гармоничного сосуществования. Однако, чтобы достичь этого, необходимо понять Другого. Это объясняет, почему стремление познать Запад было основной задачей китайской интеллигенции в течение всего современного периода.

Однако на Западе знание о Китае и китайской цивилизации, похоже, остается привилегией небольшого количества специалистов-китаеведов. В 1963 г., когда Реймонд Досон составлял сборник эссе о Китае в качестве следующего тома после широко известного «Наследия Греции», у него было ощущение, что «еще поколение назад невозможно было бы составить что-либо достойное занять место на одной полке с прославленным первым томом этой серии»³⁹. Поэтому он считал необходимым сохранять «здоровый скептицизм», знакомясь с материалами о Китае. «Старые ошибочные представления об этой цивилизации живут долго и умирают трудно, – говорит Досон, – поскольку в наших исторических верованиях есть определенная инерция, из-за чего они имеют тенденцию сохраняться до тех пор, пока не будут подвергнуты безжалостному пересмотру оригинальными умами, возможно, через столетия после того, как перестанут быть верными»⁴⁰.

Действительно, старые ошибочные идеи имеют тенденцию выживать, несмотря ни на какое совершенствование методов познания, и пример тому – ошибочная

идея о китайском языке как о пиктографическом. Мы встречали эту идею у Бэкона, Вико и совсем недавно у Фуко, когда он говорил о различии культур Востока и Запада в категориях различных систем письма. Фуко утверждал, что в западной культуре письмо «относится не к вещи, а к речи»: поэтому «присутствие речи в письменной форме бесспорно придает тому, что мы называем работой языка, онтологический статус, неизвестный в тех культурах, где акт письма соотносится непосредственно с вещью в ее истинном и видимом теле, упрямо недоступном времени»⁴¹. Речь, очевидно, идет о нефонетических системах письма типа египетских иероглифов или китайских знаков, которые якобы являются очевидными знаками вещей: письмо, которое существует не в себе и не для себя, иначе говоря, – не онтологически. Но когда Фуко, описывая онтологический статус письма в XIX в., отмечает его «полное превосходство» и говорит об «основополагающем значении Письменности на Западе», он вспоминает, вслед за Блезом де Виженером и Клодом Дюре, время, когда письменное слово не было преобладающим, а устное было «лишено своих возможностей воздействия», но при этом подчеркивает, что «еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность» [ОТ, р. 38, 39, 38]. Это напоминает, прежде всего, мысль Уэбба о том, что китайский язык – изначальный допотопный язык, но еще больше – разумное и точное наблюдение приехавшего в Китай миссионера XVI в. отца Матфея Риччи, записавшего в своем дневнике, что «с незапамятных времен [китайцы] уделяли основное внимание развитию письменного языка и не обращали серьезного внимания на язык устный. Даже сейчас все их красноречие можно найти в письменных сочинениях, а не в устном слове»⁴². Если, как считает Фуко, онтологический статус подразумевает «превосходство» и «основополагающее значение», китайский язык несомненно может быть назван онтологическим языком в его собственном культурном контексте. Поскольку китайский шрифт представляет из себя нефонетические знаки, то китайское письмо действительно онтологично в том смысле, что оно отделено от устного языка. Правда, здесь следует учесть, что вопреки распространенным ошибочным представлениям, китайское письмо – не пиктографическое письмо, поскольку знаки здесь – это знаки понятий и идей вещей, а не самих вещей. Когда Анри Кордье, французский китаевед XIX в., попытался определить китайскую систему письма, он обоснованно заметил, что «поскольку графическая система не является ни иероглифической, ни символической, ни силлабической, ни алфавитной, ни лексикографической, а идеофонографической, мы, во избежание неправильных представлений и для краткости, назовем ее знаки *синограммами*»⁴³. Этот неологизм очевидно пытается отличить китайский шрифт от фонетического, и от иероглифического письма; ключевое слово, использованное здесь, чтобы описать китайские знаки, – «идеофонографические». Много позже Джордж Стайнер пронизательно использует в разговоре о китайском языке понятие «логографический»⁴⁴. Видеть в китайских знаках мини-картины вещей – это очень старое западное заблуждение, которое никак не удастся преодолеть. В современные времена

оно лишь сильнее укрепилось благодаря поэтическим инъекциям Эрнесто Феноллозы и Эзры Паунда, сформулировавших одну из самых влиятельных современных теорий поэзии, основанную на впечатляющем и творческом, но ошибочном прочтении китайских идеограмм. А Жак Деррида, используя идеи Феноллозы и Паунда, полагал, будто нефонетический китайский язык «показывает, что мощный поток цивилизации развивался вне какого-либо логоцентризма»⁴⁵. Китайский язык вновь становится знаком тотально отличной культуры, которая противостоит, что бы ни происходило, тому, что понимается под западной культурой. Однако сегодня настало время подвергнуть сомнению эти ошибочные представления и признать Другого истинным Другим, то есть Другим в его собственной *друговости*, который не только является незападным, но, возможно, обладает и тем, о чем Запад думает как об исключительно своем; Другим, который не только служит фоном или контрастом для Запада, но и для самого себя⁴⁶.

5

Вопрос, таким образом, состоит в том, можем ли мы вообще знать Другого как истинного Другого. Когда мы полемизировали с Фуко и другими авторами, поддерживающими искаженные образы Китая как Другого, мы, не без иронии, полемизировали не против Фуко, а за него. Мы всего лишь подтверждали справедливость его мнения, что чрезвычайно трудно выйти за рамки исторических а priori *эпистем* или фундаментальных кодов определенной культуры. Очевидно, неверные представления о Китае, которые мы находим сегодня, являются частью традиционного набора культурных понятий Запада; они глубоко внедрены в его историю и идеологию. Образ Китая в западных глазах, как показывает наш анализ, прежде всего формировался, чтобы представить ценности, отличные от западных. Китай, Индия, Африка, исламский Восток в разные исторические периоды служили или экзотическим фоном для Запада, или сказочным местом идеализированных утопий (а в противоположность последнему – землями вечного застоя, духовной слепоты и невежества). Независимо от характера изменений и прогресса, которых мы можем достигнуть в понимании Другого, это понимание может быть установлено только через язык, который сам является продуктом истории и не может стоять вне всех исторических процессов. Как полагает Досон, «полярность Европы и Азии, Запада и Востока – это одна из важных категорий, посредством которых мы мыслим мир и обустроиваем свое знание о нем, поэтому не подлежит сомнению, что она влияет даже на мышление тех, кто специально занимается востоковедением»⁴⁷. Поскольку нет никакого другого языка или другого пути мышления, доступного нам, кроме нашего собственного, то «объективное» и «правильное» понимание, не затронутое историческими и идеологическими процессами, действительно трудно найти. Однако означает ли это, что наше мышление и язык – своего рода тюрьма, из которой нет никакого выхода? Когда Досон говорит о распространяющемся влиянии попу-

лярных ошибочных представлений, он говорит не только как китаевед, понимающий Китай лучше, чем те, кому еще предстоит войти в горизонт его знания, но и как ученый и редактор, чья книга принесет читателям знание, чтобы рассеять туманные фантазии и помочь лучше понять богатое культурное наследие Китая. Иными словами, он полагает, что не только необходимо, но и возможно разоблачить и исправить ошибочные культурные представления.

Вместе с тем верно и то, что наше мышление и наше знание определены историческими данностями культуры, в которой мы рождены, что мы можем называть, говорить и мыслить только в пределах границ нашего языка. Понимание этого начинается с конфигурации исторических данностей – Мартин Хайдеггер описывает это как предструктуру понимания, – где процесс знания способен двигаться только в пределах герменевтического круга. Что-либо понять, говорит Хайдеггер, – значит концептуализировать посредством толкования, которое «основано всегда на *предвзятости*»⁴⁸. Однако предструктура понимания – необходимое, но лишь предварительное условие, это не фиксация предположений, которые никогда не могут быть изменены или заменены. «Его [толкования] первой, постоянной и последней задачей, – говорит Хайдеггер, – остается не позволять всякий раз догадкам и расхожим понятиям диктовать себе предвзятие, предусмотрение и предрешение, но в их разработке из самих вещей обеспечить научность темы»⁴⁹. Поэтому в герменевтической теории Хайдеггера предструктуры понимания не устраняются, но, скорее, привлекаются, изменяются и модифицируются на основании требований «самих вещей». И это, как указывает Ганс-Георг Гадамер в прекрасном комментарии, именно та задача, которую решает здесь Хайдеггер. «Суть хайдеггеровской герменевтической рефлексии, – полагает Гадамер, – сводится не к тому, что мы сталкиваемся здесь с логическим кругом, а скорее к тому, что этот круг имеет онтологически позитивный смысл»⁵⁰. Знание Другого начинается, безусловно, с интерпретирующих данностей, эпистем или фундаментальных кодов культуры, но по мере развития процесса интерпретации эти данности будут оспариваться и пересматриваться. Как замечает Гадамер, в хайдеггерианском герменевтическом процессе «истолкование приступает к делу, вооруженное предварительными понятиями, которые заменяются понятиями более уместными», а «понимание, осуществляемое с методологической осознанностью, должно стремиться к тому, чтобы не просто разворачивать свои антиципации, но делать их осознанными, дабы иметь возможность их контролировать и тем самым добиваться правильного понимания исходя из самих фактов» [ТМ, р. 236, 239]. Если помнить, что наш язык в значительной степени определяет способ, которым мы можем говорить о Другом, было бы неправильным забывать, что Другой тоже имеет собственный голос и может утверждать собственную истину против всякого рода ошибочных представлений. Важно при этом оставаться открытым к требованиям Другого и слушать его голос, который поможет нам отдать себе отчет как в наших собственных предвзятых мнениях, так и в том, что Восток и Запад как поляризованные культурные сущности являются культурными конструк-

тами, очень сильно отличающимися от физических сущностей, которые они призваны репрезентировать.

Образы национальных характеров, этих карикатурных обобщений, часто производятся репрезентативными системами. Еще в 1889 г. Оскар Уайльд остроумно показал, что несоответствие между реальностью и представлением может быть огромным. Возьмем, к примеру, Японию, говорит Уайльд. «Настоящие жители Японии не так уж не похожи на типичных англичан, а именно: они исключительно банальны, и в них нет ничего странного или из ряда вон выходящего. По сути своей Япония – чистая выдумка»⁵¹. Провозглашая, что Япония, представленная в искусстве и литературе, есть миф и фикция, Уайльд, как утверждает Эудженио Донато, ниспровергает иллюзию реализма и показывает «то, что мы узнали много позже, после Деррида», а именно «игру репрезентации»⁵². Как типичный эстет, Уайльд, разумеется, предпочитает реальности художественный миф, но его понимание «игры репрезентации» удачно подчеркивает ложный характер культурных мифов. Возможно, именно поэтому Уайльд, хотя он и прибегал, как считается, к преднамеренным преувеличениям, кажется более здравомыслящим, нежели многие современные ученые, которые, несмотря на все доступное сегодня знание о языках и культурах Китая и Японии, предпочитают миф реальности или попросту отказываются признавать различие мифа и реальности.

Интересную современную рефлексию о Японии как «несуществующем народе» и сознательно «вымышленном имени» представляет «Империя знаков» Ролана Барта. Как и Уайльд, Барт прекрасно осознает, что Япония, которая возникает в его книге, – не реальная страна: «Я не созерцаю влюбленным взором восточную сущность, Восток мне безразличен, он просто поставляет набор черт, которые в этой придуманной игре позволяют мне “лелеять” идею невероятной символической системы, полностью отличной от нашей»⁵³. Он очень хорошо понимает, что желание использовать язык Другого, чтобы показать «невозможности нашего языка», желание, разделявшееся и Фуко, – это просто «мечта»⁵⁴. Предупредив читателя, что его книга – чистое мифотворчество, Барт позволяет себе *лелеять мечту* о тотально отличном Другом и создавать множество очаровательных мифов о Японии, когда утверждает, например, что «палочки [для еды] противоположны нашему ножу, а также вилке – их хищническому заместителю». Иначе говоря, он вновь размещает Запад и Восток в рамках фундаментальной полярности⁵⁵. Интересно, какое символическое значение наши нынешние мечтатели припишут, скажем, *печенью фортуны*, столь популярному в любом китайском ресторане Соединенных Штатов, но совершенно неизвестному в самом Китае? И на какие размышления их может подвигнуть смесь фантазии и реальности в красочных мифологиях Китайского квартала?

Когда Китай или Япония будут признаны действительно отличными, то есть не воображаемым Другим с историей его воображения в западной традиции, а странами с собственной историей, и когда желание знать Другого станет действительно подлинным, будучи частью желания расширить горизонт знания на Западе, тогда и

появится необходимость реальной демифологизации Другого. Однако и тогда сделать это будет совсем не просто, поскольку в мифологизированных образах Другого всегда есть аура таинственности, экзотическая прелесть, которую Виктор Сегален назвал «эстетикой Иного». Поэт и синофил Сегален развивает теорию Другого как отстоящего далеко от нас в пространстве или времени, которую он называет термином *l'Exotisme*. Для него Китай – это не столько реальная страна, сколько миф, вдохновляющий его «*Stèles, Equipée*» и другие произведения; демифологизация Другого кажется ему угрозой поэтическому очарованию, так как экзотика, согласно Сегалену, есть не что иное, как «власть *представлять себе Другого*»⁵⁶. В растущих контактах Востока и Запада он видит тягостную потерю экзотики. «Экзотическая напряженность мира теряется. Экзотика, источник ментальной, эстетической и физической энергии (хотя я не люблю путать уровни), снижается, – сетует поэт. – Где тайна? Где удаленность?»⁵⁷

Однако тайна может нести не только очарование, но и опасность, а удаленность способна размывать истинную красоту. Демифологизация Другого не означает избавление от его удаленности, инаковой природы или поэтического очарования, но лишь предполагает восстановление реальных, а не воображаемых различий. Красота реального различия и эстетика Другого не могут быть действительно оценены, пока не разоблачены всякого рода ошибочные представления и не устранена ложная полярность Востока и Запада. Демифологизировать Другого – не значит стать отчужденным от самого себя в принятии чужих ценностей, наоборот – это означает вернуться к себе с обогащенным опытом. Здесь может оказаться полезным другое важное понятие, которое развивает в своей книге Гадамер, а именно – понятие образования (*Bildung*).

В концепции теоретического образования Гегеля оно есть первый шаг к самоотчуждению: «теоретическое образование выводит за пределы того, что человек непосредственно знает и постигает. Оно состоит в том, чтобы научиться придавать значение и другому и находить обобщенные точки зрения, чтобы “воспринимать объективное в его свободе” и без своекорыстных интересов» [*ТМ*, р. 14]. Но основное движение духа – тенденция возвращения к Себе через Другого; таким образом, «сущность образования составляет не отчуждение как таковое, а возвращение к себе, предпосылкой которого, однако, и служит отчуждение» [*ТМ*, р. 15]. Однако, настаивает Гегель, образование не приводит к универсальному, совершенному, абсолютному знанию. Гадамер, в отличие от Гегеля, подчеркивает открытость образовательного процесса: «открытость всему иному, другим, более обобщенным точкам зрения»; для Гадамера обобщенные точки зрения не абсолютны, они «не становятся для человека жестким масштабом, который всегда доминирует; скорее они свойственны ему только как возможные точки зрения других людей» [*ТМ*, р. 17–18]. То есть познавать Другого – это процесс образования, обучения и самовоспитания, который не проецирует Себя на Другого и не стирает Себя в пользу того, что принадлежит Другому. Это, скорее, ситуация, когда Я и Другой встречаются и соединя-

ются вместе, когда они одновременно и изменяются и обогащаются, момент, о котором Гадамер пишет как о «слиянии горизонтов» [ТМ, р. 273]. Это слияние устранило бы изолированные горизонты Себя или Другого, Востока или Запада и выдвинуло бы на первый план их позитивные динамические отношения. В слиянии горизонтов мы способны преодолеть границы языка и культуры так, чтобы не было больше изоляции Востока или Запада, чтобы не было больше экзотического мистифицированного, необъяснимого Другого, но было бы нечто, что должно быть освоено и ассимилировано до тех границ, когда оно станет частью нашего знания и опыта мира. Таким образом, при демифологизации Китая как мифа Другого исчезает миф, но не красота, так как реальные различия между Китаем и Западом будут ясно очерчены. И тогда истинная *друговость* Китая будет оценена как вклад в разнообразие нашего мира и всей совокупности того, что мы можем с гордостью называть наследием человеческой культуры.

Примечание

- ¹ Michel Foucault. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* / Trans, pub. (New York, 1973) p. xv; в дальнейшем обозначается *OT*.
- ² Jorge Luis Borges. *The Analytical Language of John Wilkins* // *Other Inquisitions, 1937–1952* / Trans. Ruth L. C. Simms (Austin, Tex., 1964). P. 101; в дальнейшем обозначается *AL*.
- ³ Borges. *The Congress* // *The Book of Sand* / Trans. Norman Thomas di Giovanni (New York, 1977). P. 37.
- ⁴ Borges. *Plön, Uqbar, Orbis Tertius* / Trans. James E. Irby // *Labyrinths: Selected Stories and Other Writings* / Ed. Donald A. Yates and Irby (New York, 1983). P. 3, 4.
- ⁵ Borges. *The Garden of Forking Paths* / Trans. Yates, *Labyrinths*. P. 24.
- ⁶ Borges. *Borges on Writing* / Ed. di Giovanni, Daniel Halpern, and Frank Mac-Shane (New York, 1973). P. 86.
- ⁷ Borges. *Facing the Year 1983* // *Twenty-Four Conversations with Borges, Including a Selection of Poems* / Trans. Nicomedes Suárez Araúz et al. (Housatonic, Mass., 1984), p. 12.
- ⁸ См., например, “The Other” in: *The Book of Sand*. P. 11–20; “Borges and I” in: *Labyrinths*. P. 246–47.
- ⁹ Benedict de Spinoza. *The Ethics, The Chief Works of Benedict de Spinoza* / Trans. R.H.M. Elwes, 2 vols. (New York, 1951). 2:67.
- ¹⁰ Spinoza, *Correspondence, The Chief Works of Benedict de Spinoza*, 2:370.
- ¹¹ Plato, *Parmenides*, trans. F. M. Cornford, *The Collected Dialogues of Plato, Including the Letters*, ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns (Princeton, N.J., 1961), p. 954.
- ¹² Rudyard Kipling, “The Ballad of East and West,” *Collected Verse of Rudyard Kipling* (New York, 1907), p. 136.
- ¹³ Edward W. Said, *Orientalism* (New York, 1978), pp. 4–5.
- ¹⁴ Giambattista Vico, *The New Science*, ed. and trans. Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch (Ithaca, N.Y., 1968), p. 96; в дальнейшем обозначается *NS*.
- ¹⁵ Erich Auerbach, “Vico’s Contribution to Literary Criticism,” in *Studia Philologica et Litteraria in Honorem L. Spitzer*, ed. A. G. Hatcher and K. L. Selig (Bern, 1958), p. 33.

- ¹⁶ Robert Lloyd, quoted in Qian Zhongshu [Ch'ien Chung-shu], "China in the English Literature of the Eighteenth Century (I)," *Quarterly Bulletin of Chinese Bibliography* 2 (June 1941): 31.
- ¹⁷ Adolf Reichwein, *China and Europe: Intellectual and Artistic Contacts in the Eighteenth Century*, trans. J. C. Powell (New York, 1925), pp. 25-26; в дальнейшем обозначается *CE*.
- ¹⁸ См.: Alexander Pope, *The Rape of the Lock, Selected Poetry and Prose*, 2d ed., ed. William K. Wimsatt (New York, 1972), pp. 99, 105, 110.
- ¹⁹ Michel de Montaigne, "On Experience," *Essays*, trans. J. M. Cohen (Harmondsworth, 1958), p. 352.
- ²⁰ Donald F. Lach, *Asia in the Making of Europe*, 2 vols. (Chicago, 1965-77), 2:297.
- ²¹ François Marie Arouet de Voltaire, *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII*, ed. René Pomeau, 2 vols. (Paris, 1963), 1:224; в дальнейшем обозначается *E*.
- ²² См.: Qian Zhongshu [Ch'ien Chung-shu], "China in the English Literature of the Seventeenth Century," *Quarterly Bulletin of Chinese Bibliography* 1 (Dec. 1940): 351-84. См. также: Qian, "China in the English Literature of the Eighteenth Century (I)," pp. 7-48; "China in the English Literature of the Eighteenth Century (II)," *Quarterly Bulletin of Chinese Bibliography* 2 (Dec. 1941): 113-52. Я чрезвычайно признателен г. Цяню за исследование этой темы.
- ²³ Francis Bacon, *Of the Proficiency and Advancement of Learning, Human and Divine, The Works of Francis Bacon*, 10 vols. (London, 1824), 1:147.
- ²⁴ *Ibid.*, 1:146.
- ²⁵ Thomas Browne, "Of Languages, and Particularly of the Saxon Tongue," *The Prose of Sir Thomas Browne*, ed. Norman Endicott (Garden City, N.Y., 1967), p. 427.
- ²⁶ John Webb, *An Historical Essay Endeavoring a Probability That the Language Of the Empire of China is the Primitive Language* (London, 1669), [p. n]; в дальнейшем обозначается *HE*.
- ²⁷ См.: *HE*, pp. 191-212.
- ²⁸ Qian, "China in the English Literature of the Seventeenth Century", p. 371.
- ²⁹ Daniel Defoe, *The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe, The Works of Daniel Defoe*, 8 vols., 16 pts. (Boston, 1903-4), 1:2:256-57.
- ³⁰ *Ibid.*, 1:2:257, 258.
- ³¹ Defoe, *Serious Reflections during The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe With his vision of The Angelic World, The Works of Daniel Defoe*, 2:3:123, 127.
- ³² James Boswell, *Life of Johnson*, ed. R. W. Chapman (Oxford, 1980), pp. 929, 984-85.
- ³³ *Ibid.*, p. 1211 n.2.
- ³⁴ Для полного ознакомления с различными концепциями Китая в XIX веке см.: Mary Gertrude Mason, *Western Concepts of China and the Chinese, 1840-1876* (New York, 1939).
- ³⁵ Harold R. Isaacs, *Scratches on Our Minds: American Views of China and India* (New York, 1980), p. 40.
- ³⁶ *Ibid.*, p. 381.
- ³⁷ Cao Xueqin, *The Story of the Stone*, trans. David Hawkes and John Minford, 5 vols. (Harmondsworth, 1973-86), 2:539, 540.
- ³⁸ Цит. по: *China's Response to the West: A Documentary Survey, 1839-1923*, ed. Ssuyü Teng and John K. Fairbank (Cambridge, Mass., 1961), p. 19.

- ³⁹ Raymond Dawson, "Introduction," *The Legacy of China*, ed. Dawson (Oxford, 1964), p. xiii.
- ⁴⁰ Dawson, "Western Conceptions of Chinese Civilization," *The Legacy of China*, p. 4.
- ⁴¹ Foucault, "Language to Infinity," *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, ed. Donald F. Bouchard, trans. Bouchard and Sherry Simon (Ithaca, N.Y., 1977), p. 56.
- ⁴² Matthew Ricci, *China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci: 1583–1610*, trans. Louis J. Gallagher (New York, 1953), p. 28.
- ⁴³ Henri Cordier, "Chinese Language and Literature," in Alexander Wyhe, *Chinese Researches* (Shanghai, 1897), p. 195.
- ⁴⁴ С.м.: George Steiner, *After Babel: Aspects of Language and Translation* (Oxford, 1975), p. 357.
- ⁴⁵ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore, 1976), p. 90.
- ⁴⁶ Обсуждение использования Жаком Деррида китайского языка в качестве модели существования вне логоцентризма см.: Zhang Longxi, "The *Tao* and the *Logos*: Notes on Derrida's Critique of Logocentrism," *Critical Inquiry* 11 (Mar. 1985): 385–98.
- ⁴⁷ Dawson, "Western Conceptions of Chinese Civilization," p. 22.
- ⁴⁸ Martin Heidegger, *Being and Time*, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (New York, 1962), p. 191.
- ⁴⁹ Ibid., p. 195.
- ⁵⁰ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, ed. and trans. Garrett Barden and John Cumming (New York, 1975), p. 236; в дальнейшем обозначается *ТМ*.
- ⁵¹ Oscar Wilde, "The Decay of Lying: An Observation," *Intentions* (New York, 1905), pp. 46–47.
- ⁵² Eugenio Donato, "Historical Imagination and the Idioms of Criticism," *Boundary 2* 8 (Fall 1979): 52.
- ⁵³ Roland Barthes, "Faraway," *Empire of Signs*, trans. Richard Howard (New York, 1982), p. 3.
- ⁵⁴ Barthes, "The Unknown Language," *Empire of Signs*, p. 6.
- ⁵⁵ Barthes, "Chopsticks," *Empire of Signs*, p. 18.
- ⁵⁶ Victor Segalen, *Essai sur l'Exotisme: Une esthétique du divers (notes)* (Montpellier, 1978), p. 19.
- ⁵⁷ Ibid., pp. 76, 77.

МИР, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ...

Рец. на: Смиловицкий Л. Евреи в Турове: История местечка Мозырского Полесья. Иерусалим, 2008. 799, [48] с., ил., карты.

Уже два поколения нынешних исследователей – родившиеся в конце 1940–1960-х гг. и в 1970-х – начале 1980-х гг. – сталкиваются с тем, что пытаются восстановить традиционную жизнь белорусского местечка, опираясь не на собственный опыт, а исключительно на элементы коллективной памяти: архивные документы, воспоминания ровесников их отцов и дедов, периодику, фотографии, письма, свидетельские показания, – создавая таким образом интерпретацию еврейского прошлого. Одной из подобных интерпретаций и является рецензируемая книга Л. Смиловицкого «Евреи в Турове: История местечка Мозырского Полесья».

Книга весьма объемна – 799 страниц и 149 иллюстраций дополнительно к уже имеющимся в тексте. Четыре части сочинения – «Наши корни», «Между двумя мировыми войнами», «Советско-германская война», а также «Возврат к мирной жизни и восстановление города» – описывают еврейскую жизнь в одном из местечек белорусского Полесья. К повествованию приложены списки – туровчан, участвовавших в выборах в Государственную Думу в 1907 г. (с. 700–702), учащихся еврейской начальной школы Турова на 1 сентября 1920 г. (с. 703), жителей, пострадавших от погромов отрядов генерала Булак-Булаховича в 1921 г. (с. 704–706), туровчан – участников Великой Отечественной войны (с. 711–724), жителей местечка, погибших от рук карателей в 1941–1942 гг. (с. 725–732) и др. Имеется внушительный библиографический список, большое количество фотографий, которые взяты из собственной коллекции автора и его корреспондентов.

И по объему, и по структуре рецензируемое издание напоминает мемориальную книгу еврейской общины Турова. Такие

памятные книги выходили после Второй мировой войны и издавались выходцами из еврейских общин Центральной и Восточной Европы – общин, уничтоженных фашистами в годы Холокоста. Это делает Л. Смиловицкому честь, поскольку сам автор книги – уроженец Речицы, а не Турова, да и, насколько известно пишущему эти строки, памятной книги еврейской общины Турова до сих пор издано не было¹.

О мемориальной книге напоминает также и то, что автор пытается уделить внимание людям: приводятся свидетельства, имена, случаи из жизни, почерпнутые из воспоминаний современников, периодики, архивных материалов; повествование изобилует деталями быта. Эту феноменологическую установку на показ жизни «маленького человека», на чем настаивает сам автор (с. 11), следует считать значительным положительным моментом «памятной книги» Турова.

Понятно, что описание судеб людей требует большой работы по поиску свидетелей и свидетельств. Фактами и именами насыщен раздел, посвященный эмиграции из России в первой четверти XX в. – нелегальной эмиграции, поселению выходцев из Турова в США и землячествам, действовавшим там, эмиграции в Палестину, Южную Африку, а также повествование о вернувшихся в родной Туров (с. 220–253). Эта часть книги построена на архивных документах и сведениях, которые Л. Смиловицкий получил от корреспондентов – непосредственных участников описываемых событий (с. 220–253). Так, представляются интересными сведения о том, что через основной пункт приема въезжавших в США – остров Эллис в Гудзонском заливе – с 1892 по 1924 г. прошли 529 уроженцев Турова (с. 225). Автор книги приводит те города, где поселились бывшие туровчане. По сведениям Л. Смиловицкого, основная масса прибывших стали жить в Нью-Йорке (248 чел.) и Бруклине (158 чел.). Уроженцы Турова создали в Соединенных Штатах два общества взаимопомощи: в Нью-Йорке – «Туровское еврейское общество» в 1903 г. и в Детройте – «Туровское общество взаимопомощи» в 1909 г. (с. 237–241). При этом бывшие туровчане открыли в 1916 г. синагогу «Аншей Туров» в Бруклине и в 1919 г. синагогу в Детройте (с. 241–242).

На архивных же документах, как можно понять из ссылок, основывается рассказ о деятельности сионистов на территории Белоруссии в 1920–1930-х гг. (с. 284–307), содержащий значительное количество имен активистов движения на Полесье и фактов из их деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что многие места в рецензируемой книге написаны интересно и легко читаются.

То, что было в Турове, едва ли отличалось от тех процессов, что и во всех остальных белорусских местечках², поэтому для автора книги Туров стал зеркалом, отражающим все те изменения, что вообще происходили с белорусским еврейством.

При всех положительных моментах рецензируемая книга не лишена недостатков. Текст, казалось бы, переполнен отсылками к архивным документам и исследованиям других авторов, однако, кое-где – там, где эти ссылки должны, по идее, быть – они отсутствуют. Автор книги, к сожалению, нередко относится довольно

небрежно к цитатам, что, безусловно, снижает положительное впечатление от работы.

Так, говоря об эмиграции, Л. Смиловицкий приводит без ссылки на источник слова Н.П. Игнатьева, русского посла в Константинополе, а затем министра иностранных дел России: «Палестинские евреи сослужат еще большую службу.. Они явятся там нашим форпостом и помогут добыть ключи от Гроба Господня». Но кто такой граф Игнатьев, читатель мог забыть, а из повествования в книге это остается не понятным, как и то, почему его слова имели значение в определении позиции российского двора по отношению к сионизму. То же происходит и с фразой, брошенной обер-прокурором Священного Синода К.П. Победоносцевым: «...Одна треть [российских евреев] вымрет, одна выселится, одна бесследно растворится в окружающем населении» (с. 219). Остается не выясненным, по какому поводу это все было сказано.

Автору данной рецензии могут возразить, что эти слова российских политических деятелей якобы довольно известны, однако их хорошо знают только специалисты по истории сионизма и восточного вопроса. К тому же эти фразы больше звучат в том виде, как их приводят другие исследователи, но никак не по первоисточникам.

Переходя к деятельности сионистов на Полесье, Л. Смиловицкий цитирует известную работу И.В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос». «Евреев, “живущих на разных территориях и говорящих на разных языках”, – пишет автор, ссылаясь на Сталина, – нельзя считать нацией; евреев объединяет лишь “религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера”» (с. 285). В сноске указано: Сталин И.В., Соч., т. 2, с. 314. Увы, на с. 314 т. 2 сочинений Сталина этой цитаты нет. Можно возразить, что это – мелочь. Но у читающего книгу и хоть как-то знакомого с той работой 1913 г. сразу же появятся сомнения во всех остальных ссылках на источники. А это только один случайно обнаруженный пример.

Некоторые тезисы автора книги недоказуемы, а гипотезы других исследователей, которых цитирует Л. Смиловицкий, нуждаются в перепроверке, поскольку во многом чужие теории он трактует неправильно. Такие истолкования позволяют ставить под сомнение иные вполне справедливые утверждения автора книги. Так, видится весьма сомнительным тезис о том, что «нормы, словарный запас и фонетика белорусского языка в конце XIX в. были использованы группой энтузиастов» с целью возрождения иврита как разговорного языка еврейского народа. Л. Смиловицкий далее пишет, что «в иврит вошли белорусские слова *цукер* (сахар), *цукерка* (*сукарья*, конфета), *цацанка* (*цаацуа*, игрушка), *блины* (*блинчес*) и др.» (с. 69).

Автор рецензируемой книги здесь ссылается на израильского слависта П. Векслера и пыгается воспроизвести его теорию, в то время как сам П. Векслер пишет обо всем вышесказанном несколько сомневаясь: «Славянские языки, могли повлиять на нормы иврита либо непосредственно, либо через идиш»³. С белорусским языком как источником для словообразования в современном иврите тоже не так

все очевидно, как пытается трактовать автор рецензируемой книги (см. указанную статью П. Векслера).

Можно привести еще несколько примеров. Автор книги, описывая период первой русской революции 1905–1907 гг., утверждает, что в России «власти выделяли евреев, наряду с поляками, как основных врагов» (с. 209). Такой тезис кажется довольно громким и не совсем соответствующим действительности. Едва ли стоит отождествлять черносотенные партии, в программах которых имелись указанные положения, с государством, хотя те, естественно, выражали интересы правящих классов. Но даже в стане черносотенцев не было единства в отношении «врагов» России: евреи к оным причислялись всегда, но в некоторых случаях и на разных этапах туда определялись поляки, армяне, финны. Так, в «Основоположениях союза русского народа» установлено: «...Еврейский вопрос должен быть разрешен особо от других племенных вопросов, ввиду продолжающейся стихийной враждебности еврейства не только к христианству, но и к нееврейским народностям и ввиду стремления евреев ко всемирному владычеству» (п. 14). А в Программе Русского народного союза имени Михаила Архангела утверждалось, что «народности, русским оружием покоренные (обитатели Кавказа (армяне), Польши и др.), а главное – евреи, не желают... проникаться чувством Русской Государственности» (п. 9, прим. 1-е)⁴.

Кажется весьма странным также утверждение автора о том, что «в Турове синагогу называли молитвенной школой». И далее в книге следует совершенно непонятное предложение: «В 1852 г. в Турове существовали два еврейских молитвенных дома и одна молитвенная школа, которые фактически являлись синагогами» (с. 84). Но «Положение о евреях» 1835 г. (§79) четко выделяло два вида зданий для отправления религиозных нужд – синагогу (бейт-кнесет) и молитвенную школу (бейт-мидраш)⁵. После таких отмеченных неточностей может возникнуть вопрос: доверять ли автору книги в его утверждениях, а если доверять, то насколько?

Пишущий эти строки склонен не соглашаться и с некоторыми терминами, встречающимися в книге, которые были изобретены не так давно белорусскими «историками» или заимствованы в постсоветское время из историографии польской: например, «Вторая Речь Посполитая», или «советско-германская война». Употребление последнего термина не понятно, поскольку автор книги использует также и привычный всем – «Великая Отечественная война».

Можно еще приводить примеры нестыковок, неточностей. Хотя, в общем, подобное объемное описание истории бывшего еврейского местечка, понятно, имеет и отрицательные, и положительные стороны.

Перед читателем – своего рода мемориальная книга еврейской общины Турова – репрезентация мира, который ушел навсегда, мира, который мы потеряли: злого – где хасиды, праздная суббота, могли разбить окно соплеменнику-литваку (см. с. 82 рецензируемого сочинения), где за поездку в субботу даже к врачу «правовверные» могли запустить в подводу камень, и одновременно доброго – с веселыми субботними песнями, вкусной бабушкиной едой и смачной руганью на идише...

Примечания

- ¹ О памятных книгах белорусских еврейских общин см.: Зайка В. Габрайскія мэмарыяльныя кнігі пра гарады й мястэчкі Беларусі // Запісы / Беларускі інстытут навукі й мастацтва. Нью-Йорк, 1999. Кн. 24. С. 253–273.
- ² Следует оговориться, что термин «местечко» в «Положении о евреях» 1804 г. применяется исключительно к населенным пунктам бывшей Речи Посполитой (см.: Полн. собр. зак. Рос. имп., т. XXVIII, № 21547; Леванда В. Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев от Уложения царя Алексея Михайловича до наших времен. СПб, 1874. № 59). В научной литературе определение понятия «местечко» встречается нечасто. Л. Смиловицкий утверждает, что местечко есть «исторически сложившаяся разновидность городского поселения, насчитывавшего не менее 500 жителей, основным занятием которых являлись торговля и ремесло, приносившие доход около 50 тыс. руб. в год». Далее автор книги указывает, что «в Белоруссии насчитывалось 140 местечек, делившихся на три основные категории: сельские, частновладельческие и городские, – на которые не распространялось магдебургское право» (с. 14–15).
- ³ Векслер П. Забыты беларускі кантэкст сучаснай гебрайскай мовы // Беларусіка. Кн. 4. Мінск, 1995. С. 20. На белорусском языке имеется еще одна работа израильского лингвиста: Вэкслер П. Гістарычная фаналогія беларускае мовы / Пер. з англ. Мінск, 2004. 254 с.
- ⁴ Программы политических партий России. Конец XIX – начало XX вв. М., 1995. С. 444, 458.
- ⁵ См.: Леванда В. Ук. соч. № 304.

СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ И МЕТАФОРА: МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ УКРАИНЫ*

Книга Татьяны Журженко подводит промежуточные итоги процессов социальной и политической мобилизации граждан Украины для участия в национальном строительстве. Исследовательница сосредоточилась на двух больших группах, из членства в которых далеко не всегда с очевидностью вытекают какие-то конкретные обязательства индивидов, а именно на нации и поле. Для своего сплочения эти группы нуждаются в постоянных усилиях активистов. Политики, лидеры национальных движений, интеллектуалы находятся в поиске эффективных риторических средств убеждения людей в том, что их общность по тому или иному признаку превосходит различия между ними. Так, нация, – это, по сути, абстракция, так как со всеми ее членами мы не знакомы, а принадлежность к ней нами, скорее, переживается или воображается, поэтому нам нужно периодически напоминать о нашем гражданском долге или иных основаниях принадлежности к национальному целому. То или иное понимание и дискурсивное обрамление идеи нации предопределяет преобладающее видение связи государств со своими гражданами. Акцент на *общности* судьбы, культуры и традиций предполагает этническую солидарность. Понимание нации как *контракта*, как *политического образования*, созданного по воле индивидов и основанного на следовании общим правилам в движении к общему будущему, предполагает значимость политического участия. Классический риторический ход, использующийся националистами, «регионалистами» и многими другими, в чьи политические и практические задачи входит проведение и охрана границ между своими и чужими, состоит в распро-

* Журженко Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономика национального строительства. Вильнюс: ЕГУ, 2008. 256 с.

странении на масштабные политические процессы идеализированного паттерна отношений в *семье*. От урока истории с плакатом «Родина-Мать зовет!» до предвыборной кампании, в центре которой находится образ политика как надежного и заботливого отца нации, – варианты апроприации идеализированных отношений между старшими и младшими, братьями и сестрами, мужьями и женами столь многочисленны, сколь и предсказуемы. Хотя именно такая дискурсивная рамка, включающая коннотации кровной связи и зависимости между членами нации, активно использовалась при социализме (Кэтрин Вердери называет ее социалистическим патернализмом), продолжают ли ее использовать лидеры новых государств после крушения социализма, и если да, то как именно? Автор книги не ограничивается деконструкцией подобных вариантов националистической риторики (к примеру, неудачной попытки политтехнологов навязать гражданам устаревшую модель постсоветской доминантной маскулинности, позиционируя Виктора Януковича как «настоящего мужика» (с. 197–200)). Семья, по мысли автора, выступает в период перемен не только ключевой метафорой, но и ведущим социальным институтом. В книге проанализированы и противоречивые тенденции в жизни украинских семей, сопряженные с новыми экономическими вызовами, и специфические смыслы, которые приобрела «семья» в политических баталиях, предшествовавших и сопровождавших «оранжевую» революцию, и асимметричное возложение на женщин ответственности за будущее украинской семьи, и сложности воображаемого и реального включения/возвращения Украины в большую европейскую семью.

Журженко подробно рассматривает разнообразные результаты активного дискурсивного производства нации ее интеллектуальной элитой и политиками: от обличения советского строя, прервавшего европейскую линию национального и культурного развития, до озабоченности судьбой и количеством «заробитчанок» – трудовых мигранток. Ее взгляд на два десятилетия жизни украинцев после перестройки и распада СССР – ретроспективный: исследовательница стремится воссоздать внутреннюю динамику этих лет. Эмоциональная составляющая этой динамики – от иллюзий, надежд и энтузиазма к отрезвлению и скепсису. Последние неизбежно проявляются и при попытке прогноза: трудно сказать, каким образом и в какой временной перспективе будут разрешены препятствующие консолидации нации противоречия между группами элит, регионами, культурными ориентациями и языками.

Одно из ключевых противоречий национализма, которое положено в основу книги, – противоречие между нацеленностью на модернизацию нации и традиционализмом. Первое проявляется в воспроизводстве классического нарратива модернизации, увязавшего воедино формирование европейских наций и индустриализацию, секуляризацию, демократию, технологии и инструментальные ценности. Второе следует из акцента на общих языке, культуре и культурной идентичности: постулирование национальных характера и миссии неразрывно связано с далеким прошлым прочных традиций. В книге подробно проанализирована вытекающая от-

сюда принципиальная двусмысленность конструирования новой украинской женщины различными группами, претендующими на создание и обновление националистического дискурса: в то время, как демократически-либеральные группы ожидают от нее активного политического участия, консервативно-традиционалистские настроения (от которых не свободны и демократы) проявляются в воспроизводстве широкого спектра патриархатных ожиданий и представлений. Последние включают в себя прежде всего пронатализм – политический, идеологический и религиозный проект по поощрению рождаемости членов общества. Озабоченность биологическим воспроизводством нации ведет к сведению многообразия возможных женских ролей к тем, что обусловлены природой. Необходимость повышения рождаемости обсуждается во многих постсоциалистических странах, но редко предпринимаются попытки сравнить, какие именно политические силы и с какой целью призывают противостоять депопуляции. Поэтому сравнительный анализ российского и украинского демографического дискурсов, предпринятый в главе «Старая идеология новой семьи: постсоветский демографический национализм», представляется особенно интересным. Автор приходит к правомерному выводу, что если главным фактором, определяющим семейную и гендерную политику в России, является этатизм, то в Украине высокая рождаемость мыслится как традиционно присущая народу. Эта традиция оказалась прерванной в советское и постсоветское время, но ее необходимо восстановить, дабы прекратить эрозию украинского этноса, его растворение среди соседствующих. Этот анализ мог бы стать еще более объемным в случае дополнения его западноевропейским материалом, ведь не секрет, что политизация осмысления снижения роста населения происходит в большинстве европейских стран. За какие-то несколько десятилетий радикально поменялась тональность освещения в прессе и анализа интеллектуалами проблем рождаемости. Еще в 1980-е можно было найти немало текстов, одобряющих рационализм малодетных женщин и осуждающих отсталость многодетных женщин. Сегодня же отражением тревог европейцев, связанных с нарастанием миграции и размыванием патриархатных традиций, являются не лишняя морализаторства критика безответственности не имеющих детей людей и позиционирование снижения рождаемости не только как угрозы экономике, но и стабильности семьи и нации. Воспроизводство же почти нигде не мыслится лишь как физическое, так что неудивительно, что в Украине к ответственности женщин за численность нации добавляется необходимость заботы о качестве ее членов: осознанное материнство предполагает качественную трансляцию национальной культуры ее новым членам. Деторождение и материнство мыслятся и как символические репрезентации национальной гордости, а женщины представляют достоинство нации. Мобильным и трансформирующимся в этом порядке предстает мужское начало, а фигуре женщины уготовано олицетворять неизменность, устойчивость, неподвластность драмам перемен. Но как бы активно ни использовались женские образы для легитимации деятельности тех или иных политических групп, интересы реальных участников и участниц со-

временной истории Украины чаще всего лежат в иной плоскости – самоутверждения, создания и сохранения семьи, стабильного заработка.

Не случайно большая половина книги посвящена анализу того, как связаны рыночные реформы и гендерный порядок. Журженко начинает этот анализ с подробного разговора в первой главе («Дискурс рынка и проблема гендера в экономической науке») о том, что доминирующие понятия и теории далеко не всегда способны охватить противоречивую динамику современности. Так, стереотипное представление о сути феминистского движения обязательно включает «равенство полов», то есть требования изменений в женском трудовом участии, идеологии равных возможностей, увеличения количества женщин, работающих на руководящих постах, и т.д. До какой степени, задается вопросом автор, этот эгалитаристский феминизм пригоден как основание анализа положения женщин в переходной экономике? Не слишком ли тесно он связан с либеральным дискурсом? Не случайно его применение в переходных странах предполагает лишь адаптацию женщин к условиям рынка: раньше их доступ к благам рыночной экономики был ограничен, теперь, поощряя индивидуализм и конкуренцию, можно этот доступ существенно расширить. Автор доказывает, что в такого рода рассуждениях беспроblemно воспроизводится главный постулат экономической теории: любой человек нацелен на максимизацию собственной выгоды, тогда как особенности женского опыта, как и специфика переходной экономической ситуации, остаются неучтенными. Более того, «разновременность» (термин Э. Блоха) ситуаций переходных экономик и экономик стран первого мира проявляется в том, что если в последних заметны тенденции постэкономического развития, т.е. расширяются те сферы жизни, где возможна реализация неутилитарной логики, то постсоциалистические страны с трудом справляются с последствиями причудливого симбиоза неолиберализма и национализма. Одно из его проявлений – использование националистической риторики в качестве романтической завесы апроприации и реапроприации государственных и общественных ресурсов группами элиты в сочетании с проповедью «эффективности», рисующей граждан разобщенными индивидами, каждый из которых нацелен на увеличение своего благосостояния. Журженко признает утопизм альтернативного эгалитаристскому «феминизма различия», призывающего присмотреться к некоммерческим субъектам рынка, забота и помощь которых никогда адекватно не оплачивается и не получает должного общественного признания, но справедливо настаивает на необходимости совместного противостояния неолиберальному утилитаризму.

Выдвинутый автором тезис о необходимости критического переосмысления того, как именно в истории постсоциалистических стран соединились дискурсы неолиберализма и национализма, к каким последствиям это привело и какие текущие тенденции обусловило (с. 8, 10), представляется мне одним из наиболее значимых и заслуживающих дальнейшего обсуждения. В литературе крайне немногочисленны попытки проанализировать интригующую способность неолиберализма вступать в продуктивные альянсы с самыми неожиданными дискурсивными форма-

циями. Так, американский политический философ Уэнди Браун рассмотрела соединение неолиберализма и неоконсерватизма в политике администрации Д. Буша, показав парадоксы пересечения неолиберального «проекта, который лишает мир смысла, удешевляет и обесценивает жизнь, открыто эксплуатирует желание», с неоконсервативным, который «центрирован на закреплении и усилении смысла, консервации определенных стилей жизни и подавлении и регулировании желания»¹. Достоинства многих работ тесно сплетены с их недостатками, вот и в данной книге брошенный автором призыв рассмотреть неолиберализм в связи с национализмом оборачивается тем, что националистический дискурс рассмотрен неизмеримо подробнее, а неизбежный вопрос о том, как именно неолиберальный проект продвигался в Украине, остается не всегда проработанным. В то же время несомненным достоинством работы является радикально проведенная и подробно аргументированная идея о тесной связи неолиберализма и социально-экономической маргинализации женщин в Украине.

В заключение отмечу, что книга Татьяны Журженко – прекрасное воплощение общей идеи, что доминирующие политические и культурные дискурсы формулируются в специфических контекстах. То воздействие, которое они оказывают на гендерные отношения, права человека и идентичности индивидов, в сочетании с попытками субъектов эти дискурсы проблематизировать, всегда «местоположено» и происходит в конкретных временных рамках. Демонстрация автором конкретных украинских вариантов национализма и феминизма особенно ценна проблематизацией пределов парадигм, претендующих на универсальность и приложимость в самых разных культурных контекстах. Но важно и другое: эта книга – существенный вклад в новую историю новой Украины, создаваемую не только политиками и дипломатами, но и повседневными усилиями многих украинцев жить достойно.

Примечания

¹ Brown, Wendy. American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization // Political Theory. 2006. № 34. P. 692.

НАШИ АВТОРЫ

Бреская Ольга – кандидат социологических наук, доцент кафедры истории культуры и религии Брестского государственного университета, стипендиат проекта «Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова» (CASE, Европейский гуманитарный университет).

Даниленко Оксана – Кандидат социологических наук, доцент, докторант социологического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Стипендиат проекта «Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова» (CASE, Европейский гуманитарный университет). Стипендиат Немецкой службы академических обменов и Института открытого общества (исследовательская стажировка в Свободном университете Берлина и в Эрланген-Нюрберг университете в 2006 и в 2007 гг.).

Николко Милана – кандидат философских наук. В 1998 г. закончила философское отделение исторического факультета Симферопольского государственного университета. С 2002 г. работает в университетах Украины, США (университет Валдосты, 2008 г.), Канады (университет Оттавы, 2009 г.). Стипендиат проекта «Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова» (CASE, Европейский гуманитарный университет). Доцент кафедры политических наук и социологии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, руководит научной общественной организацией «Проект ИСА».

Грицай Елена – кандидат философских наук. Закончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Преподавала в вузах Украины, в том числе на кафедре прикладной социологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, работала в Киеве помощником народного депутата Верховной Рады Украины, а также экспертом в проекте Программы развития ООН в Украине. Стипендиат проекта «Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова» (CASE, Европейский гуманитарный университет). В настоящее время живет и работает в США.

Адвилонене Живиле – доктор социальных наук (социология), преподаватель Коллегии г. Мариямполье, также коллегии Стасиса Шалкаускаса и университета Vytautas Magnus (Каунас, Литва). Научные интересы – социология религии и культуры, социология организаций, социальные исследования.

Кись Оксана – сотрудник Института этнологии (Львов, Украина), сопредседатель Львовского исследовательского центра «Женщина и общество», редактор специального выпуска «Устная история» журнала «Украина модерна», автор работ в области истории и социологии гендера.

Злобина Тамара – аспирантка Национального института стратегических исследований, Киев, Украина. Научные интересы: философия, культурные студии, гендерные студии, визуальная антропология, урбанистика, современное искусство.

Макарова Алёна – аспирантка Ивановского государственного университета (Россия), научные интересы – социология гендера.

Журженко Татьяна – кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической и практической философии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. В настоящее время работает над проектом «Политика памяти в постсоветском пограничье: Украина – Россия и Украина – Польша» в Институте политических исследований Университета Вены.

Нетбаева Татьяна – магистр политических наук. Закончила магистратуру ЕГУ (2008), в настоящее время пишет диссертацию (PhD) в Люблине в Университете Мари Кюри-Склодовской (UMCS). Перевела на белорусский язык книгу Эвы Томпсон «Имперское знание: русская литература и колониализм», которая в настоящее время готовится к изданию.

Паньковский Анатолий – философ и политолог, независимый исследователь.

Шамрай Виктория – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины. Автор книги «Преобразование общества: пределы возможного» (Киев, 1994).

Пролеев Сергей – доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины, профессор кафедры философии и религиоведения Национального университета «Киево-Могилянская академия», президент Украинского философского фонда, главный редактор журнала «Філософська думка».

Кириченко Виталий – аспирант Национального университета «Киево-Могилянская академия» по специальности «Теория и история политической науки». Исследовательские интересы: политический дискурс-анализ, методология политической науки и политическое познание.

Чжан Лун-си – китайский историк идей, литературный критик. Преподает на факультете компаративного литературоведения и перевода в Городском Университете Гонконга (Китай). Автор сравнительного исследования «Дао и логос» (1992).

Шевелёв Дмитрий – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Артеменко Андрей – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии Харьковского национального университета внутренних дел. Сфера научных интересов: социальная философия и философия истории, история права, проблемы региональной идентичности и межнационального взаимодействия в Украине и Восточной Европе.

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (CASE) ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Центр перспективных научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук (CASE) при Европейском гуманитарном университете создан в 2003 г. при финансовой поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке и административном содействии Американских Советов по международному образованию ASTR/ACCELS и Американского центра по образованию и исследованиям.

Основной целью деятельности CASE является содействие обновлению системы научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук, развитию профессионального сообщества, а также мобилизации интеллектуальных и профессиональных ресурсов для изучения процессов социальных трансформаций в Пограничье Центрально-Восточной Европы (Беларусь, Украина, Молдова).

Задачами центра являются:

- Интенсификация научных исследований в области социальных трансформаций в регионе Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Накопление и распространение информации о научных исследованиях и учебно-методических разработках в области социальных трансформаций в регионе Пограничья;
- Координация научных исследований по важнейшим проблемам и направлениям, соответствующим профилю центра;

- Организация продуктивного научного диалога между исследователями и преподавателями региона по проблемам социальных трансформаций в регионе Пограничья;
- Создание сети партнерских образовательных и исследовательских учреждений в Беларуси, Украине, Молдове;
- Создание и развитие информационной базы для проведения исследований по проблематике центра;
- Содействие мобильности региональных и зарубежных исследователей, вовлеченных в работу центра.

Основные виды работ CASE:

- Проведение конкурсов для аспирантов и докторантов на получение стипендий для проведения исследований по проблематике CASE;
- Осуществление образовательных программ для стипендиатов CASE;
- Проведение региональных исследовательских семинаров и международных конференций;
- Издание научного ежеквартальника «Перекрестки»;
- Издание сборника работ стипендиатов CASE;
- Издание монографий по проблематике CASE;
- Создание и апробация учебных, учебно-методических материалов, а также инновационных технологий обучения стипендиатами центра;
- Создание библиотеки CASE.

Тематические приоритеты CASE:

- Теории и модели Пограничья в современных гуманитарных науках;
- Исторические и этнокультурные контексты формирования Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Трансграничная, межрегиональная и транснациональная кооперация в Пограничье;
- Политические и правовые трансформации в условиях Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Беларусь, Украина, Молдова в контексте европейской интеграции: противоречия и преимущества Пограничья;
- Пограничье и проблемы европейской безопасности;
- Национальная идентичность в условиях Пограничья;
- Социальная роль образования и культуры в условиях трансформации (Беларусь, Украина, Молдова);
- Регионы Пограничья в условиях глобализации.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВИЛЬНЮСЕ

*предлагает широкие возможности получения
образования европейского уровня в сфере
социальных и гуманитарных наук*

Бакалаврские программы – высшее четырехлетнее образование очной и заочной форм обучения (на базе среднего или незаконченного/законченного высшего образования) по направлениям:

- визуальные и культурные исследования;
- визуальный дизайн и медиа;
- история Беларуси и культурная антропология;
- культурное наследие и туризм;
- массовые коммуникации и журналистика;
- международное право;
- политология и европейские исследования;
- социальная и политическая философия;
- теория и практики современного искусства.

Магистерские программы – высшее двухлетнее образование второго уровня (на базе высшего образования) по направлениям:

- визуальные и культурные исследования;
- гендерные исследования;
- европейские исследования;
- международное право и европейское право;
- охрана и интерпретация культурного наследия;
- публичная политика;
- социальная теория и политическая философия;
- сравнительная история стран Северо-Восточной Европы.

Дистанционные программы – дополнительное образование для взрослых через Интернет. Широкий спектр курсов дистанционного обучения различной длительности в таких областях, как:

- дизайн;
- туризм и рекреация;
- современное искусство;
- право;
- коммуникация и информация;
- политология;
- философия;
- история.

Все о программах ЕГУ:

www.ehu.lt